

Дария Беляева

Нортланд

Добро пожаловать в Нортланд, государство, имеющее безграничную власть над жизнью и смертью своих подданных. С помощью женщин, обладающих особенными способностями, Нортланд производит силу, идеальных солдат с невероятными для человека возможностями. Эрика Байер одна из тех, кто занят в этом производстве, и ее положение в Нортланде кажется надежным, однако, когда ее подопечный становится солдатом, для Эрики меняется слишком многое. Власть, кровь, страх, секс, подчинение, сопротивление, страсть, ненасыщаемый голод — вот что скрывается за нежным ароматом цветущих лип на аллеях Нортланда.

Глава 1. Органическая интеллигенция

Он сидел передо мной, рассуждая о том, что шницель подали довольно сочный, и нас не объединяло ничего, кроме набора генов, передать которые было нашей государственной обязанностью.

Я посмотрела на мясо, распадающееся на волокна под его ножом, оно выпускало влагу, елозило по тарелке. Я бы сказала, что шницель даже слишком сочный, однако язык похолодел.

Я закрыла глаза, потом решила, что это слишком радикальный уход от реальности и чуть спустила на нос очки. Черты его лица немного расплылись, тогда я попыталась припомнить, как его зовут.

И он, казалось, нервничал, в голове у меня настойчиво, как запутавшаяся в ветвях птица, билась мысль: этот человек тоже не помнит, как меня зовут. Свидания после работы, вся эта рутина. Никто из нас не хотел оказаться здесь сегодня, но мы учимся радоваться по крайней мере возможности поужинать в приятном месте.

Как же его все-таки зовут, думала я. Если бы я была Карлом, то могла бы прочесть это в его мыслях.

Однако если бы я была Карлом, то прежде всего пустила бы себе пулю в лоб, так что до сегодняшнего дня дело бы не дошло.

Покуда я оставалась Эрикой, неловкая ситуация продолжалась. Оказалось, что шницель можно хвалить не вечно, и время покидало меня. Я попыталась припомнить карточку, которую обнаружила в почтовом ящике позавчера. Вытащить ее из сумочки было бы не слишком прилично. Я сделала вид, что ищу зеркальце, однако карточка ускользала от меня все дальше и дальше, сумка показалась мне бесконечно глубокой.

Тряпичное, бурное море, где всюду натыкаешься на ключи.

Я вздохнула. Карточка была нежно-лавандовой, как и всегда. Попытки Нортланда настроить меня на романтический лад таким образом казались мне даже трогательными. Таким образом получался посыл: Уважаемая Эрика Байер, присмотришься к этому мужчине, так как вы оба генетически приоритетны для нашего великого Нортланда. Специально для тебя мы измерили его рост, вес и объем черепа, а так же поделились информацией о его расцветке. Его любимые книги, фильмы, а также любит ли он животных — это вторичные факты, которые тебя интересовать не должны, потому как никоим образом не влияют на потомство. Присмотришься к нему хорошенько, Эрика Байер, потому как время твое идет, и если ты цены себе сложить не можешь или слишком медленно соображаешь, мы сами выберем тебе партнера для совместного ведения быта и размножения. Так же оцени, какую красоту мы навели ради тебя в этой карточке, лавандовый цвет, согласно нашим исследованиям, успокаивает. В ожидании, когда ты, наконец, принесешь пользу стране, твой единственный Нортланд.

Я вдруг улыбнулась, и человек этот, которому я тоже не была интересна, принял мою улыбку за симпатию. Он сразу же ступевался, ему стало неловко, я увидела это, даже не возвращая очки в функциональную точку пребывания.

Пауль! Его ведь зовут Пауль!

И в отличии от мужчины, который оказывался на свидании с женщиной по своей воле, а

не по воле своей страны, он стремился не к тому, чтобы понравиться мне, а к тому, чтобы я понравилась ему. Мне стоило брать с него пример.

Я поправила очки, сказала:

— Очень приятное место, действительно. Да и музыка такая волнующая.

Самым волнующим фактором оставался пояс для чулок, который натер мне кожу. Я мечтала отлучиться в уборную, чтобы его поправить, но в первые десять минут встречи это было бы совершенно невежливо.

Человек как человек, со всем необходимым в ситуации: усталые глаза, недовольное движение узких губ, часы на цепочке в кармане пиджака, чтобы показать, как он спешит.

Мое оружие так же было при мне: записная книжка, торчавшая из сумочки, нервные движения пальцев, частые вздохи. Я играла в эту игру не с одним мужчиной: кто первый сдастся?

Одна моя знакомая говорила, что обычно у этой игры несколько другое направление. Мужчина и женщина, замороженные друг другом, играют в заинтересованность и симпатию, желая оказаться в одной постели или нечто вроде того.

Бедняжка Эрика, добавляла она, ты что ни разу не испытывала ничего подобного?

Я не знала, что ей ответить. Бедняжка Эрика незаметно превратилась в мужененавистницу где-то между отобраным плюшевым кроликом в семь и одиноким выпускным в семнадцать. У меня не было иллюзий насчет себя: фригидная тридцатипятилетняя девственница с мелочными обидами на весь мир. Не было у меня иллюзий и насчет мужчин. Мужчины любят уничтожать и контролировать, они даже создают, чтобы контролировать или уничтожать. Я не хотела, чтобы меня контролировали и не хотела быть уничтоженной, так что оттягивала этот момент до последнего.

В конце концов, зачем выбирать, если каждый из них вызывает у меня страх? Через полгода Нортланд назначит мне кого-нибудь, кто думает так же. У нас будет по крайней мере одна общая черта — нам обоим плевать.

Этот Пауль был лет на пять моложе меня. На этой неделе Нортланд оказался щедр. Я представила, как работники генетического бюро подбирают людей, раз за разом натываясь на мое имя среди кандидатов. Наверное, они решили подшутить.

Пауль носил тонкие, чуть взвивающиеся кверху усики. Как узкая улыбочка над верхней губой, надо же. Он был аккуратный, хорошо и недавно постриженный, с серьезным лицом. Я не могла определить красив он или нет, я не понимала этого про большинство мужчин.

— Да, — повторила я. — Отличная песня.

В первый раз ее слышала, но надо же было хоть что-то сказать. Темнота сгустилась окончательно, быть может Пауль выбрал это время для того, чтобы погрузиться в интимный полумрак и там раствориться без следа, если что-то пойдет не так. Но кафе действительно было приятным с этими его белыми скатерками, волнующимися от легкого июньского ветерка, плетеными стульями, издающими протестующее поскрипывание при резких движениях, и лучшим потолком на свете — небом. Летняя площадка распустилась на заднем дворе, поэтому даже город чуть притих, прикрылся, и было почти спокойно. Я закурила сигарету, чтобы не говорить ничего.

Я помнила времена, когда курение находилось под полным запретом, но в последние пару лет Нортланд решил вернуть нам маленькие радости. Пауль вздохнул, наблюдая за кончиком моей сигареты, красным, раздраженным, как он сам.

— Если бы вы описали себя в двух словах, — начал он.

Дисфоричная девственница.

— Люблю сладкое, — ответила я. — А вы?

— Люблю ли я сладкое, или как бы я описал себя в двух словах?

— На ваш выбор.

Стратегия моя была проста. Я всегда казалась им скучной до зубного скрежета. Такой я и была, даже врать особенно не приходилось. Пауль задумался, на лице его отразилась острота, подобная той, которую я так и не произнесла. Мне показалось, сейчас он скажет что-то вроде: описать себя в двух словах? Хочу домой.

Были среди мои потенциальных кавалеров и те, что вежливостью себя не утруждали, так что я привыкла к колкостям. Сама их, однако, никогда не отпускала. У меня был страх, непонятно откуда взявшийся, что один из них меня ударит.

Сушая глупость, но он донимал меня. Это называется проекция. К примеру, мысль о том, чтобы втолкнуть вилку Паулю в шею и посмотреть, как толчками будет вырываться кровь, не покидала меня. Не то чтобы Пауль был виноват, мысли о том, чтобы причинить кому-то вред, донимали меня с детства. Порой они казались приятными, а порой отвратительными. Нортланд знал и это, потому выделил для меня врача.

Нортланд знал все. И пока я была полезна, Нортланд почти все мне прощал.

Я хорошо помнила, как это началось. Я была совсем ребенком и смотрела на маму, мою любимую маму, которая готовила маковый пирог. Я подумала, как будет чудовищно, если я возьму нож и всажу его ей в спину. Это же моя мама, подумала я, и в груди зазвенело пронзительное чувство, нота настолько высокая, что отвращение от желания в ней было уже не отличить.

Нельзя так думать, сказала я про себя, и с тех пор не переставала так думать.

Нортланд, впрочем, не присваивал мне никаких опасных статусов: ни асоциального, ни нестабильного. Опасных статусов было много, при желании найдется для каждого. Этот недостаточно лоялен, тот слишком ленив, у этого череп непозволительной формы, а тот обладает взрывным характером.

Нортланду не нравился никто из нас. Почти. Тех, кто нравился Нортланду, делала я. Вернее, мне предстояло создавать их. За это, и за наличие репродуктивной функции Нортланд готов был дать мне представлять, что я хочу, и что я не хочу, в любой, кроме того, последовательности.

— Так ты тоже...

— Парасихолог, — закончил он, и я осознала, что вопрос был глупый, затянулась до головокружения, но ветер вовремя принес мне освежающий, сладкий, нежный, как мамины руки, аромат лип.

Нужно позвонить маме, подумала я, она совершенно точно волнуется, я не связывалась с ней два дня. Когда пауза стала неловкой, я сказала:

— Да, жаль мы не можем поговорить о работе?

— Жаль?

— Я имею в виду, все мы трудимся на благо Нортланда, разве не так?

Мы оба улыбнулись одновременно, понимая друг друга совершенно правильно. Никто не ненавидит Нортланд так же сильно, как органическая интеллигенция. Мало кого он принуждает так сильно и вознаграждает так богато, словно щедрый, но жестокий хозяин.

Это неожиданно понимание, разделенное на двоих знание, которое должно оставаться тайным, невысказанным, заставило меня поднять взгляд. Наши глаза встретились. Пауль,

судя по всему, посчитал, что вечер может быть не так уж плох — хорошая, человеческая реакция. Он ведь и в целом, наверное, неплохой.

А меня бросило в дрожь. У меня закружилось голова, руки похолодели, и я судорожно затушила сигарету.

— Прощу меня простить, — сказала я. — Голова что-то разболелась.

Легкая улыбка понимания угасла, первая искорка приязни была настолько невесомой, что без труда сменилась облегчением.

— Видимо, сегодня не лучший день для свиданий, фройляйн Байер.

Надо же, он от радости вспомнил мое имя. Я сделала большой глоток воды, поставила бокал на стол так резко, что лед в нем попытался вырваться наружу.

— Вас подвезти?

— Нет, благодарю. Я живу не так уж далеко.

Я положила деньги на стол, руки у меня тряслись, так что вытащить купюру из кошелька получилось не сразу. Я ненавидела встречаться с ними взглядом, однако паника охватывала меня не всегда. Я встала, шатаюсь, мир показался мне определенно более ярким, но и почти тошнотворным.

Пауль остался сидеть за столиком, изрядно шокированный и, наверное, хоть чуть-чуть обрадованный. По крайней мере, я надеялась, что оба мы с облегчением посмотрим в остаток вечера минут через пятнадцать. Колени у меня подгибались, и я старалась контролировать это ровно пока находилась в поле зрения Пауля. Войдя в душное помещение кафе, наполненное сигаретным дымом и пятничными разговорами, я на секунду ощутила себя лучше, однако ватная тишина в голове почти тут же сменилась звоном в ушах. Я вышла на шумный проспект, зажала уши руками и попыталась не позволить Хильдесхайму раздавить меня. Поток машин, неон рекламы, вылетающие из пастей рупорных громкоговорителей на столбах новости, все едва не смело меня с ног.

Я вдохнула и выдохнула, все на четыре счета, как меня учили. Не сказать, чтобы мне стало легче, но я все равно направилась вниз по улице, подальше от этого кафе с его шницелями и Паулями. Неоновое чудовище Хильдесхайма ползло за мной. Нет-нет, десять лет назад здесь было темнее, монументальную архитектуру еще не украсили блестящими рекламными щитами, машин было меньше, да и разросся город изрядно.

Десять лет назад многоэтажные, празднично внушительные дома белели как кость, соединенные друг с другом воздушными коридорами, по которым всегда спешили люди, как эритроциты по сосудам. Хильдесхайм был организмом, костью, плотью Нортланда. Теперь это гордое, суровое создание раскрасили.

Рекламные щиты отовсюду сообщали об антидепрессантах, обещавших сделать мир настолько же цветным, как ночной Хильдесхайм, марках одежды, способных изменить тебя изнутри, кинофильмах, прославляющих силу и славу Нортланда и о газированной воде сладкой настолько, чтобы можно было позабыть обо всем (кроме долга перед своим народом, конечно).

Ярче всех на каждом небоскребе пылал дагаз. Десять лет назад в Нортланде сменили всю прежнюю символику, и теперь красные, как кровь, флаги, неоновые щиты, сердца всех домов, носили руну дагаз. День. Думаю, имелось в виду возрождение Нортланда. Думать, однако, в Нортланде было вовсе не обязательно. Особенно бесполезно было размышлять, откуда взялись деньги на все это великолепие.

Несмотря на разукрашенные высотки, изобилие торговых центров, экзотическую

технику, вошедшую в нашу жизнь столь быстро, что к ней едва можно было привыкнуть, приветливее Нортланд не стал.

Но ему, в конце концов, не нужно было быть приветливым. Ведь ничего другого у нас не было.

Мама говорила, что моя прабабушка рассказывала ей, как ее бабушка говорила о войне. Что она говорила прабабушка маме рассказывала путано, а мама уже едва помнила. Нортланд, как говорили, выиграл и ничего, кроме Нортланда, не стало.

Все остальные были наказаны забвением. Им отказали в символическом бессмертии и оставили на обочине истории. На самом деле в школе всегда говорили о периоде до воцарения Нортланда на всей земле крайне смутные вещи. Ни то все стало Нортландом, ни то ничего, кроме Нортланда не стало.

В сущности по прошествии многих поколений это уже не было важным. Выходил странного рода парадокс — мы были в курсе истории нортландской философии и были знакомы с индустриальной эпохой и средними веками. Все это населило музеи. А вот война была скрыта под мутной водой одинаковых, помпезных и бессмысленных фраз, наборов одноразовых лозунгов, отчего-то переживших множество поколений. Для единственной страны на земле Нортланд был невелик. Остальная земля, говорили, была вспорота войной, вспахана битвами. Потихоньку она населялась, поэтому Нортланд всегда был голоден до новых людей.

Не думаю, что кто-то любил Нортланд. Наш всеобщий отец, Нортланд, выделял одних и карал других, так что всякий считал свои привилегии, считал чужие и жил в страхе, что привилегии имеют свойство мигрировать от одной группы к другой.

Одни жили слишком хорошо, другие недостаточно плохо, кому-то было постановлено вовсе прекратить существование для блага всего народа.

Если бы меня попросили рассказать историю о Нортланде, я бы рассказала ее так: жил-был отец, у которого имелось в его богатом доме много дочерей. Он не любил ни одну, всех мучил. Вот только каким-то дарил подарки, каким-то позволял наказывать других, каких-то насиловал, каких-то ласкал. Но ни одна не была с ним счастлива. Еще у Нортланда были сыновья. И сыновей своих Нортланд любил до безумия. Он их просто обожал.

Такая история с сексуальным подтекстом, но ведь государство всегда несет в себе сексуальный подтекст. Но, в конце концов, в войне сгорело все: человек, закон, память, а Нортланд остался. Ему, видимо, и стоять здесь до конца всего. Так что самое важное это найти хорошо обеспеченную иллюзию безопасности и делать вещи, за которые стыдно меньше, чем за все, что творится вокруг.

Эта шаткая политическая позиция привела меня к провалу. Стало душно, в глазах потемнело, последние вспышки красного, желтого и фиолетового ударились мне в зрачки и погасли, воздух затих, заглох, и мне стало так приятно, а потом не стало никак.

Я очнулась от запах лип.

— Мамочка, — сказала я. Мне вдруг показалось, что мы с мамой гуляем по бульвару, и я хочу орешков в глазури, а в руке у меня ленточка с красным шариком, на котором раздулся еще старый, уродливый знак.

— Фройляйн Байер, — сказали мне, и я, некоторое время посомневавшись, решила все-таки, что мама бы меня так не назвала, да и голос был мужской. Я открыла глаза и увидела надо мной солдата. Он был в гвардейской форме. Черный сливался с ночью, серебро выхватывало свет. Гвардейцев в Хильдесхайме, особенно в центре, всегда было много. С тех

пор, как их производство, как и промышленность в целом, переживало подъем, преступность ударила в рецессию, а затем пришла к стагнации.

Я не встречалась с ним взглядом, поэтому он был для меня набором картинок, кусочков пазла, которые я собрала уже в уме. Красивый, как и все они. Высокий, сильный блондин с правильными чертами. Гвардия это не только армия, это произведение искусства. Человеческие картины. Человеческие статуи.

А я в таком случае художница по людям. Начинаящая.

Он поднял меня на ноги. С этим делом справиться не так уж сложно, однако у него получилось сделать это с какой-то особенной незначительностью, словно я весила не больше пачки сигарет.

Они сильнее людей. Я не ухватила за него, мне не хотелось к нему прикасаться. Интересно, подумала я, если он знает мое имя, значит заглянул в мои документы и прочитал, наверняка, кем я работаю. Как он ко мне относится?

Однажды женщина (скорее всего), такая же как я, создала его, сделала его тем, кто он есть. Считают ли они нас своими матерями? Или мы для них не больше, чем машина, производящая оружие?

Он смотрел на меня спокойно, ожидая моей реакции. Только повторил:

— Фройляйн Байер.

Даже без вопросительной интонации. По некоторым из них очень хорошо видно, что они искусственные. Таких и отправляют на улицы. На самом деле это брак, однако народу об этом знать не надо. Если бы я, к примеру, заговорила об этом, меня бы отправили на воспитательную беседу к одному из таких, что получились правильными. И кто знает, какой бы я вернулась.

Этот не слишком хорош, но его механические повадки устрашают и внушают уважение. Своего рода рекламный ход. Нортланд в последнее время дивно в этом хорош.

Ближайший громкоговоритель передавал новости Хильдесхайма, и я узнала, на каких шоссе пробки и какие районы оцеплены из-за "ночных работ". Ночные работы — это обыски. Все говорят, что они никогда не происходят просто так, но на самом деле у них нет никаких причин. Район выбирают, ткнув пальцем в карту, во всяком случае так говорил Карл.

Никто ни в чем не виноват, просто Нортланду принадлежат ваши квартиры, ваши вещи, ваши мысли, ваши задатки, ваши матки.

Я думала, что "ночные работы" — это тактика запугивания, но если что и находят, так оно вдвойне приятнее. Но обычно все хорошо кончается.

Я хотела зажать уши, но не решилась двинуться. О гвардии много чего говорят, есть и то, что кажется слухом, а на самом деле правда.

Они реагируют на резкие движения, как хищники.

— Мне стало дурно, — сказала я, взглянув на клочок неба между его плечом и подбородком.

— Я провожу вас до дома.

— Благодарю.

Дагаз на его фуражке блеснул красным, когда он обернулся — глотнул неона.

— Вы в силах идти?

— Да, спасибо вам за помощь.

Я шла за ним, не сомневаясь, что он приведет меня домой. У них хорошая память. Они

мне не нравились. Для того, чтобы назвать их людьми, нужно было переопределить понятие «человек». Но мужчинами они были. Достойными сыновьями Нортланда.

Он вел меня под руку, в прикосновении его был нажим, и меня трясло, но я старалась не упасть в обморок снова. Я смотрела на алую повязку у него на руке, наблюдая за своим состоянием по расплывающимся и сходящимся контурам дагаза.

Он не разговаривал со мной. Ему не было неловко оттого, что мы идем в тишине. Он не считал нужным заводить разговор, чтобы скрасить пятнадцать минут пути. Мне стало интересно, о чем он думает. Он вел меня так, словно я могла попытаться сбежать. И, честно признаться, я была к этому близка. Меня тошнило от страха, даже запах его (две ноты — тонкая, металлическая, словно брошенная в воду монетка, и горьковатая — мыло) был для меня оглушающим.

Мы проходили бульвару, населенному липами. В детстве я любила это место и никогда не думала, что однажды буду жить с ним рядом. Липы — мои дефолтные деревья, если бы мне сказали (по какой-то странной причине) представить дерево, в голове у меня засияла бы ослепительно зеленым пушистая липа с высокой кроной.

И хотя липы и фонари производили романтически-старомодное впечатление, асфальт под ногами был расцвечен бьющей нам в спины рекламой. Я подумала: до чего забавно, мы похожи на парочку, когда идем вот так по бульвару.

Если представить, что ноги подгибаются от любви, можно успешно преодолеть большее расстояние из стыда. Странное дело, мне не хотелось сделать ему больно, как другим людям. Они не чувствовали боли, поэтому и мысль об этом была пуста, ничем не наполнена.

Что будет, подумала я, если стянуть с него фуражку. После обморока, как и всегда, на меня нахлынула легкая эйфория. Я засмеялась, но он не обратил на это внимания.

Он проводил меня до самой двери. Только когда ключ в замке щелкнул, он сказал:

— Приятного вечера, фройляйн.

— Благодарю вас за помощь.

Как будто задачи у доски порешали. Всем пять, все молодцы, а теперь, наконец, перемена. Я ввалилась в квартиру и, на удивление, сразу почувствовала себя лучше. Я закрыла дверь ключом, задвинула засов и водрузила на место цепочку. Техника безопасности предписывала мне следить за тем, чтобы дверь всегда была заперта, однако цепочка и засов это уже моя инициатива.

Безопасность я любила еще больше, чем от меня того требовали. Я тяжело задышала. Так заканчивались не каждые мои свидания по карточкам. Если честно, обмороков было четыре за последний год, а свиданий где-то пятнадцать. Ни одно не повторилось, но ни одно не закончилось и моей смертью. Страх мой не имел никаких рациональных причин. Мой отец, человек жесткий, грубый, но он никогда не поднимал на меня руку. Мой мама не пугала меня рассказами о своем замужестве с мужчиной, который достался ей по лавандовой карточке. В жизни мне вообще скорее повезло.

Я принялась считать свои привилегии: полная семья, в которой я — единственный ребенок, родители оба представители органической интеллигенции, престижное место работы, возможность отсрочить замужество до тридцати пяти лет, доступ к информации государственной важности, отсутствие отрицательных статусов.

Если все это сложить, в результате должно было получиться счастье. Даже квартира моя выгодно отличалась ото всех прочих. Две просторные комнаты, ремонт по моему вкусу, бытовая техника и телевидение с большим количеством каналов, чем я когда-либо включала.

Все чисто, все аккуратно, если бы не решетки на окнах, идиллия стала бы полной. Но решетки были не для меня. Это несколько утешало.

— Рейнхард! — крикнула я. — Угадай, кто дома?

Он никогда даже не пытался. Да и кричать ему было бессмысленно, но за день я успевала соскучиться, и мне хотелось обозначить, что я здесь. Он жил со мной уже год. Роми, моя лучшая подруга, говорила: все равно, что кот.

Это было не совсем так. Очень чувствовалось, что со мной живет не животное, однако я не знала, человек ли. Я должна была думать, что человек, по крайней мере назло Нортланду. Но мне никогда не предоставлялось шанса узнать.

Я выудила из сумочки очередную связку ключей. Ключ от кухни, ключ от его комнаты, ключ от моей комнаты — все, что можно запереть, нужно запереть. Порой я пренебрегала техникой безопасности, по крайней мере до того, как нашла Рейнхарда на кухне, жующим сырое мясо. Он любил есть красные вещи. Вкус ему не был важен.

Тогда я стала запирасть кухню, но оставлять его в закрытой комнате, как животное, не решалась. Благодетельство с моей стороны, надо сказать, сомнительное — Рейнхард был чисто плотным, неагрессивным и тихим. Иногда я думала, если бы он родился обычным человеком, то обладал бы таким же темпераментом с поправками на здоровье или был бы кем-то совершенно иным?

Я открыла кухню, налила себе в чашку воды и залпом выпила ее. Стало окончательно легко, по-ночному тихо и очень спокойно. Так бывает после приступов паники — мир глохнет вместе с чувствами, и остается безразличие, способное победить даже смерть.

Я тихо прошла в его комнату. Он сидел на полу, как и всегда. Перед ним была перевернутая машинка — старая-старая, с облезшей краской и отвалившейся задней дверью. Мерседес времен войны, выполненный очень точно и бывший когда-то роскошной копией роскошной машины, однако за выслугой лет он потерял оба статуса.

Рейнхард не расставался с ним, забрал его из Дом Милосердия, откуда я взяла самого Рейнхарда.

Машина лежала, похожая на перевернутого жука, и Рейнхард крутил ее колесо. Всегда одно и то же — переднее правое. Он склонился над машинкой, наблюдая за движением. Рейнхард был высокий, поджарый человек, на вид очень сильный. Когда он вставал, я едва доставала ему до груди, но за год я научилась не бояться его. Странное дело, другие мужчины вызывали у меня ужас, но он казался совершенно безобидным.

Не вполне отвечающий за свои действия, здоровый будущий солдат не пугал меня. Да я могла считать себя самым смелым человеком во всем Нортланде.

Я прищурилась. Что-то было не так, как обычно. Это вызывало тревогу.

— Рейнхард, — позвала я, зная, что он не откликнется, потому что не знает своего имени. Мне просто хотелось разбить, разобрать, раздергать напряженную тишину. Я привыкла видеть Рейнхарда, как картинку или видеоряд — неизменные зацикленные движения успокаивали и меня. Поэтому я оказалась растревоженной от незначительного, даже не осознаваемого изменения.

Мне понадобилась пара минут, чтобы понять, каким образом рухнул мой привычный мир.

Рейнхард крутил колесико в другую сторону. Я с облегчением засмеялась, все напряжение ушло.

— Да ты дикий сегодня, — сказала я. — У нас что праздник?

Рейнхард на меня не посмотрел.

— Пойду приготовлю нам с тобой поесть.

Он снова не обратил на меня внимания. Можно было подумать, что он меня не слышит. На самом деле он просто не выделял речь среди других звуков. То, что я говорила, было для него сродни стуку дождя или завыванию ветра — у этого не было смысла. Но все же я любила рассказывать Рейхарду, как прошел мой день. По крайней мере, я точно ему не надоедала.

До того, как я забрала Рейхарда, мне приходилось жить одной, и это было тоскливо, хотя ветер и доносил запах лип с бульвара по вечерам, а моя лучшая подруга изредка составляла мне компанию, разговаривая со мной по телефону. Я бы с радостью жила с мамой, в одном из спальных районов Хильдесхайма, не примечательных ничем и никоим образом не удобных. Однако теперь мне полагалась хорошая квартира в хорошем районе и зарплата такая, чтобы я могла заглушить тоску по прошлому.

До «великой патриотической акции», которая должна была с помощью научных достижений, величайших в истории Нортланда, выявить всех обладателей ценных способностей, я работала в музее. О своих умениях я не подозревала, как и многие в стране. Говорили, что именно «великая патриотическая акция» позволила Нортланду от выживания рвануть к процветанию в самые краткие сроки. Среди нашего великого народа (хотя у многих его представителей и были сомнения, что мы хоть чем-то отличаемся от других народов, ныне нами забытых) всегда встречались те, кого Нортланд назвал "органической интеллигенцией". Почти всю мою жизнь Нортланд был одержим как можно более быстрым выявлением парапсихологических способностей. В конце концов, если бы они обнаружили во мне потенциал, когда я была еще школьницей, быть может они сумели бы выбить из моей головы дурь вроде желания вернуть себе свое человеческое достоинство и право выбора жизненного пути. Как знать, мои учителя могли быть более мотивированными, а наказания более жестокими.

Сладчайшая мечта Нортланда заключалась в возможности отсеивать органическую интеллигенцию сразу же и больше никогда не позволять нам пересекаться с обычными людьми. Каждый в нашем муравейнике должен делать свое дело.

Обычные люди называли нас парапсихологами, потому как наши способности традиционно связывали с мыслительной сферой. Я не знала, так ли это на самом деле и слабо себе представляла, какая правда может скрываться за тем, чему меня учили. Мое образование было построено так, чтобы я не понимала вовсе ничего, однако достижение мое заключалось в том, что я понимала мало. Органическая интеллигенция делилась на два типа: способные воздействовать на внутренний пейзаж людей и способные его узнавать. К первым принадлежала я, ко вторым мой начальник Карл, и мы были неразлучны. Он читал мои мысли, чтобы я делала все, что нужно, и лишними вопросами не задавалась даже в уме. С ним все было просто — он умел проникать в тайный сад, в то личное, безумно личное человеческое пространство, где мы не согласны с Нортландом или представляем когонибудь без белья. Со мной все было сложно, Рейнхард должен был стать моим первым творением, так что я рассчитала узнать о себе больше через завершение моего титульного проекта. Те, кто работал над гвардией, говорили, что первый раз — самый сложный, тебя три года готовят, еще год ты проводишь со своим подопечным и только затем все разрешается. Потом их можно штамповать хоть по одному в месяц, если хватит сил. В первый раз установить связь сложно, сложно и понять, что делать. Многие выпускают брак,

который даже на улицы не выпустишь. Таких уничтожают.

Если уж суммировать все, что я о себе знала в вопросах моей государственной пользы — я умела разделять психический аппарат человека надвое. Первая часть получалась предельно рациональной, отвечала за познание и расчет, точные действия, приказы, планы. Вторая часть располагала силой и бесконечным голодом. Их называли берсерками, потому что была в Нортланде и такая славная традиция — массовые убийства в состоянии аффекта с притуплением чувства боли. Мы разделяли их надвое, получалось две сущности в одном человеке — учитель математики и безумный монстр. В то же время они были послушны, так как статичны. В них было только то, что мы вкладывали при создании. И, уж в этом сомневаться не приходится, мы были щедры на любовь к Нортланду. За этим следил Карл.

Солдат получалось создавать только из людей, чья психика фактически распалась или никогда не пребывала в естественном состоянии. Здоровые люди сходили с ума, их чудовищная часть всегда побеждала.

Вот такая у меня была работа. Довольно эксцентрично по сравнению со смотрительницей музея дегенеративного искусства. Прежде я рассказывала заинтересованным и жадным зрителям о том, какие чудовищные вещи может измыслить человеческий разум, если государство от него отвлечется (и мы все втайне этим восхищались), сейчас я пыталась создать из дегенерата чудовище (теперь уже все вокруг скорее были напуганы). Наверное, я хотела вернуться к своей старой жизни, когда никто не замечал меня, и в музее побежденных культур, которые были наказаны уже тем, что безымянны, я рассматривала картины с женщинами в похожих на молочные коктейли платьях, цветными пятнами, рассыпанными по холстам или нежными золотыми цветами. С другой стороны, если бы великая патриотическая акция (заклучавшаяся в том, что к голове моей присоединили проводки, а на экране линии взлетели вверх особенно высоко, как у эпилептика во время припадка. Вот оно — новое определение патриотизма) не состоялась, мне пришлось бы выйти замуж и завести к этому времени двоих милых карапузов, которым я пела бы о том, как ненавижу их папашу. Что ни делается, все к лучшему, как-то так ведь говорят?

Иногда я боялась, что эти высокие, острые пики на экране были всего лишь технологическим сбоем. Ничего-то я на самом деле не умела, и в час икс не справлюсь. Тогда-то я, зная слишком много, буду утилизирована. Так что я надеялась, что определенные способности к созданию человеческих машин у меня все же есть.

Забавно, что процентов девяносто моих коллег были женщинами. Тогда как склонность к чтению мыслей проявлялась в аналогичной пропорции у мужчин. Наверное, это что-то значило.

Мы создаем мужчин, мы создаем и солдат. Они — контролируют нас. Я не была сильной или смелой, не способна была на поступок или даже на отсутствие поступка (что, возможно, в моем случае было даже ценнее). У меня были маленькие радости вроде мысли о том, что идеального гражданина Нортланда можно создать только из слабоумного. Я прятала эти мысли в самой глубине своей души, как девочки запирают свои маленькие сокровища в шкатулки, всякий раз закрывая их на ключ. Я так горячо ненавидела Нортланд, что это чувство было почти эротическим. Я скрывала его от Карла, как отсутствие нижнего белья.

Дома у меня была спрятана записная книжка, в которую я иногда записывала фразы, которые однажды, когда жизнь мне совершенно опостылеет, я превращу в роман. Я даже

придумала ему название. "Нет ничего правдивого, но вам разрешается верить".

На шкале лжи и истины Нортланд находится вовсе не там, где многие думают. Нортланд существует после правды, во времена, когда она уже никому не интересна. Правда и ложь стали одинаковой бессмыслицей, все рассыпалось. Я вдруг засмеялась. Таковы мысли женщины, пытающейся оторваться от авторитетов за приготовлением картофельного салата. Я бросила взгляд на черный, тоскливый экран телевизора, но за пультом не потянулась. Тишина освобождает разум. Надо же, из меня сделали законную интеллектуалку, но только для того, чтобы я передала свои знания Рейнхарду и тем, кто будет у меня вслед за ним.

Готовить было не слишком удобно — все ножи были цепочками прикреплены к крючкам на стене. И хотя кое-какую свободу действий длина цепочек обеспечивала, приноровиться было довольно сложно. Нортланд держал в уме, что Рейнхард был непредсказуем. Пока. В его неразумной силе была опасность, но я привыкла к ней, так что она растворилась среди других сложностей в ведении хозяйства с ним. Пауля я боялась, безо всякой на то причины, больше, чем живущего в моем доме слабоумного. Я приготовила картофельный салат, затем пожарила ветчину. Теперь порцию Рейнхарда полагалось залить томатным соусом, в противном случае он просто откажется есть.

— Если бы ты только знал, какова на вкус еда без томатов, — сказала я. — Неужели тебе никогда не хотелось разнообразия?

Ему никогда не хотелось даже съесть нечетное количество кусочков, так что вопрос был избыточным. Любой вопрос в этом доме был избыточным, но я любила их задавать.

Некоторые стремились к ним не привязываться. Приносили им еду в мисках, как собакам, запирали. Мне не казалось, что подобное обращение с беззащитными кого-либо красит. И хотя, брея Рейнхарда, я частенько думала о том, чтобы перерезать ему горло — лишь из-за его близости и беспомощности, я старалась не стать кем-то, кого не смогла бы уважать. Власть над беззащитным существом развращает прежде, чем успеешь сказать "справедливость". Так что я боролась со всяким искушением от нехватки времени или из раздражения унижить Рейнхарда или обделить, даже если он никогда этого не поймет.

Он достался мне странным образом. Около года назад меня повезли в Дом Милосердия, где содержались слабоумные, подходящие для гвардии (стоит ли упоминать, что неподходящих никто и нигде не содержал, Нортланд исправно вычесывал блох). Я, в сопровождении директора Дома, восторженного, маленького человечка с круглых очках и с портсигаром, торчавшим из нагрудного кармана неаккуратным образом, ходила по идеально белым, чистым, безвидным палатам.

От меня требовалась связь.

— Вам не обязательно выбирать сегодня, — повторял директор, поправляя очки. Его нос в каких-то белесых пятнышках то и дело морщился словно бы сам по себе, вне зависимости от выражения его лица.

— Вполне можно посмотреть на них, так сказать, в динамике. Ваша работа, фройляйн Байер, требует установления тесной связи. Если хотите, один из них должен вам понравиться.

Я тогда понятия не имела, как один из них должен мне понравиться. Все они казались мне пугающими — мужчины с бессмысленными глазами, отсутствующими улыбками, раскачивающиеся не в такт, расхаживающие по комнате, странно и остро пахнущие.

Меня тошнило, но один из них должен был мне понравиться. Я расплакалась и

потребовала воды, директор услужливо обмахивал меня газетой, на первой полосе которой были заверения, что есть лишь одна сила, которая может избавить Нортланд от опасности внутреннего разложения — справедливая любовь к собственному народу, сильнейшему из всех бывших когда-то на земле.

Что ж, я находилась среди его будущих сливок, грядущей военной аристократии. Как раз в тот момент один из вероятных генералов мастурбировал.

— Я понимаю, для слабой женщины это сомнительное удовольствие, но вы должны быть смелой ради нашей страны.

Я кивнула. Я решила, что согласна быть какой угодно, лишь бы уйти отсюда поскорее.

— Знаете, пожалуй мы с вами пройдемся до конца коридора, и я приеду завтра.

— Вы присмотрели кого-нибудь?

Словно в зоомагазине. Мне хотелось сказать, что я хочу увидеть их причесанными и с золотистыми бантиками прежде, чем решать.

Он был в последней палате. В отличие от других, сидел почти неподвижно, только крутил колесико у машинки, туда и обратно. Это был красивый человек с острыми, но правильными чертами, худощавым, скуластым лицом и очень светлыми волосами. Они все были красивыми, Нортланд могли представлять только привлекательные слабоумные. В этом был жутковатый контраст физического совершенства и бессмысленности, беспощадной дезадаптации, внушающей страх.

Но в нем было нечто особенное, отстраненность его была не пустой безынициативностью, но чем-то другим. Он словно бы не отличал живое от неживого, даже не заметил нас с директором. Он не смотрел в глаза, и это меня порадовало. Я подошла ближе, тогда, услышав шум, он скользнул по мне взглядом. Это не был взгляд человека, увидевшего человека. Он не знал, что надо смотреть в глаза, потому как не отличал их на лице. Он смотрел на мир совершенно по-другому, как через плотную пелену, за которой все мы превратились в тени.

— Кто это? — спросила я.

— Рейнхард Герц, — бросил директор. — Инвалид детства. Лет с четырех живет здесь. Его брали два раза, но с ним у ваших предшественниц ничего не получилось. Месяц назад в последний раз вернули. Ему остался год. После тридцати пяти их мозги уже не в той кондиции.

Они избавятся от него. Убьют. Я посмотрела на этого красивого человека, который не боялся смерти, потому что не знал, что такое смерть. Он не понимал, что ему остается всего год.

Мне тоже оставался всего год. Его утилизируют, он станет вдруг неоправданно дорог в содержании. А я буду чьей-то женой, меня тоже утилизируют, как личность, потому что мой выбор ничего не будет значить. Мы с ним были в сходной ситуации.

Я смотрела на него минут пятнадцать. Может, это и была та самая связь. Но брать его было опасно, если и у меня, в самый первый раз, ничего не получится, проблемы будут у нас обоих. Причем довольно радикальные.

Я уже вышла из Дома Милосердия, когда оно нахлынуло на меня. Я шла по унылой асфальтированной дорожке, удаляясь от дома с решетками на окнах, от взглядов слабоумных, от тоски, огороженной бетонным забором, и множества этажей тошнотворно белых коридоров. Даже Дом Милосердия должен был отражать величие Нортланда, и невероятная его печаль сочеталась с монолитной величественностью, стремившейся меня

раздавить.

Я шла к блестящей, черной машине Карла, уже видела, как он махает мне рукой, и вдруг остановилась, взглянула на пасмурное небо, раздутое от собирающегося дождя. Меня поразила мысль: сейчас я уйду, и этот человек умрет из-за меня. Эта мысль показалась мне приятной, уничтожающе-сладкой, как всякий запредельный ужас. Я почувствовала радость от самой возможности быть причастной к человеческой смерти.

А потом я развернулась и пошла обратно, я так теребила жемчужную нить на шее, что она разорвалась, и я едва не поскользнулась на рассыпавшемся по асфальту жемчуге. Я забрала Рейнхарда домой, надеясь, что сумею установить с ним ту самую, слабо понятную мне связь.

Я поставила тарелки на стол, посмотрела на часы. Секундная стрелка приближала десять вечера. Я знала, что сейчас он придет. Рейнхард зашел на кухню ровно в десять и сел за стол. Он принялся есть, делал он это аккуратно, хотя здесь дело было уже не только в его природной интеллигентности, но и в моей заслуге.

Он не отличал людей от предметов, и я долгое время думала, что Эрика Байер для него не больше, чем поилка для попугайчика. Он не смотрел на меня, не обращал на меня внимания, никогда ничего не просил, даже когда болел, и я выхаживала его.

А потом Рейнхард однажды положил на кухонный стол рисунок. Это была не слишком хорошо, но старательно и даже узнаваемо нарисованная антропоморфная мышь в моем платье.

— Так вот кем ты меня считаешь? — спросила я. Рейнхард ушел. Я поняла, что он видит, что я — живая. И даже способен сравнить меня с каким-то животным. Рисунок был наивный, словно бы нарисованный рукой шестилетнего мальчика, но удивительно подробный — даже пятно на рукаве платья Рейнхард запомнил.

И я подумала, в его мире мы, наверное, одни во Вселенной.

А может быть он просто много смышленее, чем все о нем думают. Сейчас Рейнхард сидел передо мной, и я рассказывала ему, как упала в обморок.

Рейнхард смотрел в тарелку. Я ему даже немного завидовала. Он не учитывал свойства предметов, не представлял себе постоянных пространств и не умел говорить, но он был свободен внутреннее, наполнен ничем.

Я должна была это исправить. Превратить его в винтик системы, из которой ему, ценой собственного разума, удалось вырваться.

— Знаешь, — сказала я. — Какого рода пафос исторгает из себя мой разум относительно тебя?

Рейнхард принялся облизывать ложку.

— Это не поможет, мне все равно придется ее мыть.

Взгляд его ни на чем не задерживался, его не интересовало даже собственное отражение. Ничего, кроме машинки, старой-старой игрушки. Рейнхард Герц, кем ты станешь, когда я разрежу твой разум на части?

— Словом, твой будущий коллега довел меня сюда. Так я и оказалась дома. И вот мы встретились. Ты меня не слушаешь, правда?

Я засмеялась, сняла очки и начала их протирать. А потом вдруг остановилась и сказала:

— Я не хочу, чтобы ты стал, как они. Ты уже человек, что бы там ни говорили. Я не хочу, чтобы ты знал только как приказывать и выполнять приказы. Ты уже есть, и ты, наверное, по-своему счастлив.

Я осмотрела нашу просторную, чистую кухню, поблескивающие столешницы, полки над плитой с крупами, солью и сахаром в баночках, украшенных цветами, внутри венка из которых притаился дагаз, наш великий символ.

— Может нам завести цветок? — спросила я.

А потом сказала:

— В мире есть что-то большее, чем власть.

Я закурила, и он ушел, так всегда бывало. Я смотрела в летнюю ночь, щедро снабженную звездами. Запах лип затих вместе с ветром. Я не поняла, отчего заплакала. Наверное, прошедшее свидание все еще являлось для меня стрессом.

Конечно, Эрика, а теперь затуши сигарету своими горькими слезами и отправляйся спать.

Так я и сделала. Приняла душ, переоделась и легла почитать перед сном. Книга, которую я хранила под подушкой, сама по себе была преступлением. Но все мы нарушали закон, потому как иначе не оставалось ничего, кроме Нортланда, а с Нортландом никто не хотел оставаться наедине.

Профессор Ашенбах в своей монографии пытался переопределить социальную норму и расширить ее границы. Основная его ошибка заключалась в том, что он не посчитал свои привилегии.

Я читала долго, раз за разом возвращаясь к одним и тем же фразам, перечитывая их снова и снова, оттого продвигалась медленно.

"Что есть нормальный человек, нормальное поведение, нормальная семья, нормальная работа?"

Профессор Ашенбах так и не ответил на этот вопрос. Его теория заключалась в том, что ответа вовсе нет.

Я заснула с книгой в руках, устав переопределять нормы самостоятельно, это оказалось непосильной задачей, в которой инициатива и вина полностью лежат на мне. Я даже увидела сон, в котором я не то жертва, не то палач. Проснулась я оттого, что Рейнхард лег рядом.

— Ты испугался? — спросила я, а потом поняла, что за окном идет дождь. — Или тебе холодно?

Он не ответил, залез под мое одеяло и пододвинул ко мне подушку — она ему не нравилась.

Я вздохнула и перевернулась на другой бок, подумав вдруг, что Карл зря называет меня ханжой. В моей постели спит настоящий, живой мужчина, а меня все еще не хватил удар.

— Спокойной ночи, Рейнхард.

Глава 2. Биополитическое производство

Меня не разбудили ни солнце, ни будильник, ни долг перед страной, ни лай собак во дворе — все тонуло в лужице беспокойного, утреннего сна. В конце концов, я проснулась не благодаря какому-то из этих факторов, а благодаря их неопределенной сумме, ансамблю, где фронтмена было выделить крайне сложно.

Когда я открыла глаза, Рейнхард расхаживал по комнате. Он был одет, мокрые пятна тут и там проступали на его белом костюме.

— Ты прекрасно справился, — пробормотала я. — Разве что не вытерся. Помыться, вытереться, затем одеться. Закон для всех один, Рейнхард.

Он продолжал ходить по комнате, нервничал, и через это его расстройство в меня ворвалось знание о том, что мы опаздываем. С утра я обычно выкуривала в постели сигарету и выпивала стакан воды со льдом, маленькие радости с долгой историей. Сегодня на них не было времени.

— Если бы ты мог приготовить нам завтрак, пока я принимаю душ, все стало бы намного проще.

Рейнхард подошел к окну, склонил голову набок, а потом метнулся в другой конец комнаты.

— Буду считать, что ты хотел сказать "в следующий раз".

В моей чудесной, почти по-дегенеративному нежной ванной комнате с розовой плиткой на стенах, овальным глазом зеркала в золоте и аккуратным кафелем, было полно воды. Я прошлепала к глубокой ванной и минут пятнадцать лихорадочно смывала с себя остатки ночи. На столике лежали сигареты, и я все же выкурила одну прежде, чем почистить зубы. Я добавила к мокрым пятнам их новых друзей, времени вытирать пол не было. В конце концов, ремонт и мне, и моим соседям оплачивает Нортланд. Так пусть он отвечает за мои ошибки, раз имеет на меня права.

Я оделась, ткань рубашки неприятно скользила про коже. На работу мы одевались как мужчины, в строгие костюмы. Никаких исключений, даже в праздники. Меня это расстраивало, я всегда любила платья. У нас были форменные черные костюмы с не приталенными пиджаками, традиционные белые рубашки с накрахмаленными воротниками и бардовыми галстуками, брюки со стрелками и исключительно белые носки. Даже ботинки были мужские. Мы выглядели бы самыми скучными финансовыми работницами, если бы не медные пуговицы, каждую из которых украшал дагаз. Даже когда мы ничем не отличались друг от друга, мы должны были в тонкостях, в деталях отличать себя ото всех остальных.

Посчитай свои привилегии.

Очки у меня запотели, и я протерла их, затем принялась расчесывать волосы. Они были длинные и прямые, приятно послушные. Всю мою жизнь из моды не выходили стрижки чуть ниже подбородка, поэтому я никогда не обрезала волосы. Это был мой маленький протест. И я никогда не заплетала их, потому что в уставе не было написано, каким образом полагается обратиться с прической. Это было просто потрясающе неудобно, зато раздражало Карла. Волосы у меня были черные, и это не добавляло мне привлекательности. Брюнетки обычно красились, темный цвет волос считался признаком вырождения, но мне нравилось хоть чему-нибудь в Нортланде не соответствовать. Можно было сказать так: я здесь посчитала

свои привилегии, оказалось, природа отметила меня веснушками, то есть дефектом кожи, наделила вырожденческим цветом волос и зелеными, не соответствующего цвета, глазами, роста я маленького, а кроме того еще и бледность у меня не того оттенка. Где можно забрать страдания, причитающиеся женщине, не вписывающейся в стандарты красоты, сконструированные обществом?

Нет, ответит мне общество, грудь у тебя большая, а лицо относительно миловидное, никаких страданий, вписывайся в общество как умеешь и больше не ной.

Что бы я на это ответила придумать не получилось, потому что последняя пуговица неожиданно для меня оказалась застегнутой. Я взяла фен и вышла из комнаты.

— Иди ко мне, Рейнхард.

Кого я обманывала? Эта фраза ни разу мне не помогла. Он сидел в комнате, проявляя признаки беспокойства. Я включила в розетку фен и принялась сушить его костюм. Наши подопечные ходили в белом (что было совершенно непрактично ввиду их очевидных проблем с координацией и интеллектом), ирония мне нравилась. Белый — цвет невинности, мы все ожидали, пока он сменится на черный с серебром. Но сейчас эти мужчины принадлежали нам.

Рейнхард реагировал на фен с философским принятием, и когда костюм его приобрел более или менее аккуратный вид, я сказала:

— Но бриться мы все равно будем.

Бритвы он боялся. Я и сама ее боялась — иногда мне казалось, что я надавлю слишком сильно, что выступит кровь или даже хлынет, а может брызнет фонтаном, я точно не знала, что с ней такое должно произойти. Я сходила к туалетному столику и взяла духи, брызнула на запястья. Рейнхард привык к этому запаху, потому что впервые я удачно побрила его перед походом в театр, так мы оказались в ситуации, где я вынуждена была постоянно расходовать свои лучшие духи. Запахло персиками и горьковатым, холодным шипром.

Когда я принесла бритву, Рейнхард принюхался ко мне, обнаружив, что ничего не изменилось, он успокоился, и я сделала свое важное дело. Прикасаться к нему не было ни странно, ни страшно, ни противно. Он был живой, чистый, теплый и очень приятный. Я брила Рейнхарда старательно. В конце концов, его внешний вид был важнее, чем время, которое я затратила на то, чтобы привести его в порядок.

К тому моменту, как я закончила, мы уже опоздали на двадцать минут.

— Так, время поджидает, Рейнхард. Бери свою машинку и пойдем. Позавтракаем в столовой.

Он, разумеется, не понял, что именно я сказала, поэтому мне пришлось некоторое время катать перед ним машинку с помощью зонта, потому как прикасаться к ней я права не имела. Наконец, он взял ее, и мы были готовы к началу трудного, долгого дня.

Рейнхард шел за мной самостоятельно и никогда не отходил далеко. Некоторых приходилось водить на поводке, а у иных были еще и намордники, к примеру у подопечного фрау Шлоссер, имевшего привычку кусаться. Она жила этажом ниже, и это ее квартиру я вполне могла залить сегодня утром. К счастью, фрау Шлоссер была сосредоточена на битве с замком. Я пробормотала:

— Добрый день.

Мои надежды оправдались, она меня не заметила. Подопечного своего фрау Шлоссер дернула за поводок, когда тот ударился головой о дверь, мешая ей вертеть ключом в замке.

Фрау Шлоссер жила вместе с мужем и тремя очаровательными, словно фарфоровыми,

детишками. Ее подопечный, надо думать, доставлял им всем хлопот. Я даже не знала, как его зовут, фрау Шлоссер никогда не называла имени.

Мы с Рейнхардом вышли во двор. Людей вокруг почти не было. Обычно, если я все успевала, мне оставалось только влиться в черно-белую реку, которая принесет меня к месту исполнения общественного долга. Сегодня я была фактически предоставлена сама себе.

Территория проекта «Зигфрид» скорее напоминала элитный район, чем полигон для экспериментов. Одинаковые многоквартирные дома с массивными балконами и высокими окнами, одинаковые ряды ровно посаженных деревьев, одинаковые дорожки. Рейнхард был, вероятно, в восторге. Ничто здесь ни от чего не отличалось, так что я и спустя год могла запутаться. Ровное число детских площадок, с одинаковым количеством лесенок, на которых четное число перекладин — все подсчитано и сделано в лучшем виде. В квадратах газонов ни одна травинка не высовывается за невидимую границу — боится. Правильно, травинки, много лучше быть как все, в этом есть свобода невидимости, которую бунтарям не познать.

Тоскливая получилась мысль, я отринула ее за ненужностью, когда увидела Лили и Маркуса. Мы с Лили Бреннер принадлежали к одной группе, мы были коллегами из коллег, и времени друг с другом мы проводили больше, чем лучшие на свете друзья. Нас с Лили трудно было назвать подругами, однако мы друг другу не надоели, в сложившейся ситуации это было более чем достижение.

Лили была самой младшей из нас, эту жемчужину Нортланд тоже нашел в ходе «великой патриотической акции». Лили тогда едва исполнилось семнадцать. И вот на прошлой неделе ей стал вдруг двадцать один год, но я совершенно не замечала перемен. Она была миниатюрная натуральная блондинка, миловидная, с большими, блестящими голубыми глазами и пухлыми губами. Лили не столько гордилась своей внешностью, сколько считала ее проектом. Она вечно норовила ее немножко подшлифовать. Макияж был запрещен, однако Лили так ловко управлялась с тушью и румянами, что Карл никогда не замечал, что она накрашена. Когда я впервые увидела ее, то посчитала, с присущей мне надменностью, глупышкой-школьницей, однако Лили Бреннер оказалась многократной победительницей Нортландских математических конкурсов. Лили Бреннер была практически гением, просто потрясающей умницей. И крошка Эрика Байер (давно переставшая быть крошкой во всех смыслах, кроме непосредственно роста) с ее интересом к философии и крепким гуманитарным самообразованием, проигрывала ей по всем фронтам. Я, конечно, сперва позавидовала Лили, а она, помимо всего прочего, оказалась раздражительной моралисткой, с какими отношения у меня никогда не сталкивалась.

Чуть позже я осознала, что она боится быть самой маленькой в группе, боится того, что ей предстоит и переживает о том, чего не смогла и теперь никогда не сможет сделать. Мы начали иногда болтать, и она цеплялась за эти разговоры, потому что ей было ужасно одиноко. Со временем я поняла, что Лили не столько математический гений и не столько вертихвостка, сколько маленькая, взволнованная девочка.

Впрочем, спустя три года, раздражения в ней накопилось почти столько же, сколько хрупкости.

— Маркус! — крикнула она, а потом издала звук, похожий на рычание. — Ты идешь или нет?

Ее подопечный ловил тополиный пух. Это был молодой мужчина, лет на пять младше Рейнхарда. У него было красивое, располагающее лицо. Бывают такие лица, на которые взглянешь, и сердце сожмется от доброты и доверия. Вот и у Маркуса было именно такое

лицо, а сияющие, синие глаза придавали ему особой, светлой красоты. Черты эти выдавали ум, изящество мысли, однако обманываться больше не стоило.

Мне было очень больно смотреть на Маркуса.

— Сейчас, Лили! Подожди секунду, Лили! — голос у него был веселый. Он первым заметил нас.

— Мы опаздываем, черт тебя возьми!

— Смотри, Лили. Там фройляйн Байер и Рейнхард. Они тоже опаздывают. Здравствуйте, фройляйн Байер!

Я кивнула ему. Маркус подошел к нам, принялся рассматривать. Рейнхард отвернулся от него, ему были неприятны долгие взгляды.

— Привет, — сказала Лили. — Пойдем, может мой пойдет за твоим.

Она достала из кармана портсигар и быстро закурила.

— Он все утро такой. Впервые видит тополиный пух.

— Не впервые, — сказала я, и Лили скривилась, словно бы туфли ее вмиг стали неудобными.

— Рейнхард, подожди, — слушала я. — Рейнхард, ты куда? Смотри, тут белые хлопья, как снег. Рейнхард!

— Твой моего терпеть не может, правда? — усмехнулась Лили. Я пожала плечами.

— Когда мы заговорили о них, как о собаках?

Мы обе замолчали. Маркус выяснял что-то новое о тополином пухе позади, а мы шли по дорожке, тенистой от склонившихся по обе стороны деревьев. Лили спешила, и я вынуждена была прибавить шаг.

— Однажды, Эрика, они будут управлять нами. Решать наши судьбы. Думаю, вовсе не страшно, если мы будем презирать их прежде, чем они будут презирать нас.

Я не ответила. Я не то чтобы любила вступать в этические споры. Это была опасная защитная позиция. Пока мы все оставались слабыми, искушение считать кого-то хуже было велико. Все здесь исполняли свои характерные роли, радуясь, что им не досталось других.

На площади, ровном квадрате асфальта с трибуной на возвышающейся сцене, собралось множество людей. Мы с Лили переглянулись. Никакого шума не было, казалось, люди даже не дышали. Мужчины в белом, женщины в черном, все молчаливые и торжественные, стоящие парами в несколько длинных рядов.

Не то свадьба, не то война.

Лили тихонько выругалась, затем прошептала:

— Ну почему именно сегодня?

Маркус громко спросил:

— Лили, что случилось? Мы что идем на войну? А с кем у нас война, если никого нет?

И в этот момент я поняла, почему так притихли все. Кто-то выстрелил в воздух. Я услышала голос Карла, многократно усиленный микрофоном, разнесшийся по площади, как волна, разбивающая берег. Мне захотелось зажать уши.

— О, вот и вы, девочки! Добро пожаловать! Займите свои места, пока не получили какое-нибудь хитроумное наказание!

Даже Маркус замолчал. Голос Карла действовал на всех одинаково. Мы заняли места в конце строя и одновременно с этим Карл поднялся на сцену. На нем был кожаный плащ, который этим летним утром должен был доставлять ему изрядное неудобство. Это было первое обстоятельство, которое порадовало меня сегодня. Все остальное вызывало смутное

беспокойство. Я закашлялась от волнения, и Карл, стоя на сцене, размахивал руками, словно бы дирижировал, а затем раскланялся, когда я закончила.

Никто не засмеялся. Шутки Карла нужны были не для того, чтобы над ними кто-либо смеялся. Думаю, если бы не бесконечная клоунада, Карл бы стрелял в людей, пока не кончились бы патроны. Он был взрывной психопат или кто-то вроде, если только диагноз с номером и списком рекомендуемых мероприятий мог вместить все зло, которое носил в себе Карл Вольф. Он был садист во всех известных коннотациях и смыслах этого слова. Как ни старалась я быть послушной и исполнительницей, даже у меня остался от него сувенир на долгую память — шрам на подбородке. Он ударил меня тростью по лицу, когда я, еще не разобравшись ни в здании института, ни в Рейнхарде, потеряла его среди бесконечных коридоров и помпезных залов.

Карл был злобный шут, добившийся всего благодаря жестокости и умению никого, никогда не жалеть. Меня вряд ли можно было назвать объективной, однако Карла ненавидели все, кто его когда-либо знал. Он говорил об этом не раз и с гордостью. Стоило бы признать его несчастным, несостоявшимся человеком, однако радость, с которой Карл потреблял ненависть и страх, заставляла меня сомневаться в вечной, неодолимой истине о том, что добрым быть радостно, а злым печально.

Карл подкинул в руке микрофон, и раздался визг. Карл с удовлетворением посмотрел на нас с Лили, когда мы побороли желание зажать уши. Дрессировщик сук, так он себя называл.

Карл был чуть старше меня. Он был белоснежный, породистый, что заменяло ему красоту, с чертами слишком резкими, чтобы быть приятными. Голос у него был хриплый, но громкий, этот голос иногда будил меня посреди ночи, и я радовалась его иллюзорности, как ничему в жизни.

Вслед за Карлом на сцену вышли солдаты, уже готовые. Они вывели кого-то, видимо женщину. Она стояла к нам спиной, и я не могла отличить ее от десятков знакомых мне тусклых блондинок. Сердце мое встрепенулось и больше не давало о себе забыть. В тишине, воцарившейся после Карла, пели птицы, длилось лето. Пахло скошенной травой и нагревающимся асфальтом. Мы все смотрели на женщину, стоявшую к нам спиной.

Карл был лишь одним из кураторов (и, к сожалению, он достался нам), однако слава о нем ходила такая, что частенько он, как самый внушительный, говорил за всех. Он стоял перед нами в своем кожаном плаще и фуражке с блестящим на ней дагазом. Форма его пародировала отчасти форму гвардии. Карл был похож не то на палача, не то на конферансье.

— Дамы, немногочисленные господа и их овощи! Мне жаль отрывать вас от повседневных занятий, важных для нашего дражайшего Нортланда, но ситуация сложилась такая, что всем нам придется постоять здесь некоторое время и послушать мою мораль.

Он криво улыбнулся, оскал его заставил меня отвести взгляд.

Я перевела взгляд на солдат гвардии. Они смотрели на этих мужчин в белом, трясущихся, раскачивающихся, грызущих рукава своих пиджаков, старающихся сохранять тишину, совершающих циклические, раз за разом все более жуткие движения.

Интересно, думала я, эти идеальные, безупречно красивые, умные и сильные люди понимают, что были такими же? А как им злобное определение от Карла?

Овощи и те, кто был ими когда-то, стоило ему добавить, раз уж он хотел охватить всю аудиторию.

— На вас, дамы и немногочисленные господа, лежит ответственности за будущее

Нортланда. Вы создаете сливки этого общества. Вы создаете идеальных людей, а идеальный человек в Нортланде кто? Правильно, солдат. Вы даете жизнь солдатам-финансистам, солдатам-ученым, солдатам-директорам, солдатам-инженерам и, конечно, солдатам-солдатам.

Он засмеялся, и Маркус тоже. Два человека здесь считали, что слово, повторенное много раз, может стать смешнее. И только у одного была уважительная причина на это.

— Ответственность, лежащая на вас, больше, чем на женщинах, в крови и муках рождающих для Нортланда детей. Вы создаете тех, кто никогда не предаст нас. Стоит ли говорить, что вы должны быть чисты, как весенние цветы?

Мы с Лили переглянулись. Карл указал на нас микрофоном:

— Думайте погромче, девочки, вы что-то тихо меня ненавидите!

Я покраснела. Мне казалось, в такой толпе Карл не различит моих мыслей. Я посмотрела на Рейнхарда. Он глядел в небо чуть приоткрыв рот, как будто ожидал дождя.

— Но не будем отклоняться от темы. Вы, пожалуй, считаете себя величайшим сокровищем нации. Разве что один стереотипный садист постоянно вас достает, а так все хорошо! Все прекрасно! Квартирки в центре нашего цветущего Хильдесхайма, медицинское обслуживание по высшему классу, льготы на все, от культурных мероприятий до морских круизов. Просто за ваши красивые глаза и особую тональность мозговых волн!

Он вдруг заорал:

— Вы — инструмент для создания тех, кто вправду важен! Вы что-то из себя представляете только пока у вас есть эти слабоумные! Что такое торговка овощами без овощей, а? Вопрос риторический. Запомните: ваша ценность определяется вашими солдатами.

Я зажмурилась. Он слишком громко кричал. Открыв глаза, я попыталась сосредоточиться на алюминиевом дагазе, украшавшем трибуну, за которой Карл стоял.

— А сейчас вы увидите, что станет с теми, кто об этом забывает.

Он развернул женщину лицом к нам, и мы с Лили отшатнулись. Это была Хельга Мюллер, одна из нашей группы. Меня так удивило, что она была одна, без своего подопечного. Почти до ужаса. Мы могли выходить за пределы территории проекта «Зигфрид» одни, однако внутри, на этой почти священной территории, мы никогда не ходили без мужчин.

Забавно прозвучало, словно это мужчины контролировали нас, а не мы их.

Хельге Мюллер было хорошо за сорок, она была тощая, неаккуратная, вечно издерганная женщина с редкими, тонкими волосами. Она грызла ногти и смотрела на всех усталыми, несчастными глазами. Мы знали ее историю, все знали — она рассказывала охотно, потому что ей всегда было больно.

У нее был мальчик вроде моего Рейнхарда. Его забрали у нее, и она отчаянно искала, добивалась, стремилась к нему, пока не прозвучала на всю страну «великая патриотическая акция». Тогда все на свете узнали, что делают с такими мальчиками.

Хельга никогда не хотела заниматься тем, чем занимались мы, но надеялась, что покорность даст ей увидеть сына еще раз. С каждым месяцем она становилась все более нервной. Ей достался парень по имени Генрих, молодой и агрессивный, говорили, он кидался на нее. По крайней мере, я старалась обходить Генриха стороной и Рейнхарда к нему не пускать. У него были пустые, злые, водянистые глаза, все время неподвижные, как у змеи. И я подумала вдруг: она убила его. Мысль пришла ко мне мгновенно, думаю, в тот же

момент эта мысль посетила всех женщин здесь.

Она убила его, потому что он пугал ее, потому что он бил ее, потому что она с ним не справлялась.

— Все правильно девочки, — Карл поклонился куда-то в сторону. — И немногочисленные мальчики. Хельга Мюллер зарезала лепесток от цвета нашей нации. Мы все скорбим, правда?

Неправда. Я не чувствовала никакой жалости. Только хотелось, чтобы день скорее вошел в привычную колею.

— Я так думаю, девочки, за три года вы не совсем поняли всю серьезность возложенной на вас миссии. Так что я вам сейчас объясню.

Солдаты поставили Хельгу на колени, к голове ее были приставлены два пистолета. Одного достаточно, подумала я, но даже смерть здесь превратилась в эротизированный спектакль. Все на свете стали просто зрителями, не осталось больше боли и смерти, которые нельзя было бы разукрасить в цвета Нортланда и преподнести в фаллической символике.

— Хельга, дорогая, есть ли тебе что сказать?

Карл зверствовал, так как он был куратором Хельги. Однако ему каким-то невероятным трудом удавалось к ней не приближаться, не трогать ее.

А я думала: надо же, мы ведь были знакомы. Виделись каждый день. А сейчас этого человека не станет. Не станет навсегда. Где твоя жалость, Эрика, где боль? В груди зазвенело пронзительно, болезненно, но я не знала, что это за чувство, у него не было имени.

Смерть, превращенная в спектакль, имеет одно неоспоримое преимущество — опускается занавес и актеры идут на перекур. По крайней мере, за этот спасительный образ возможно ухватиться. Я ожидала выстрела, но Хельга вдруг вправду заговорила:

— Я...

— Нет-нет, подожди, позволь мне тебе помочь.

Карл подошел к ней, прошептал что-то на ухо, и мне показалось (с такого расстояния сложно было сказать наверняка), что я увидела слезы, чистые бриллианты, круглые, блестящие сгустки боли. Он ведь даже не ударил ее. Но Хельга собралась, в ее тощем теле вдруг нашлось столько силы, чтобы выпрямиться и говорить громко, так что мы слышали ее без микрофона:

— Я убила его не потому, что он делал мне больно. Такого никогда не было. Я убила его потому, что это...это неправильно. Мы не спасаем их. Мы выскабливаем их и помещаем внутрь...

Она запнулась, она не могла найти верного слова. Быстро проектировать речи умел в нашей реальности исключительно Карл.

— Нортланд, — подсказал он.

Она не кивнула и не покачала головой.

— Мы превращаем людей, а они люди, в чудовищ. Мы...

А потом раздался выстрел. Она повалилась назад, словно бы ей неожиданно стало дурно, а затем, в секунду смертной тоски, она открыла в себе танцовщицу, с грацией склонившуюся почти до самого пола.

Карл держал пистолет.

— Я просто хотел, чтобы вы все смотрели. Знаете, если бы я объявил, когда наступит этот торжественный момент, все зажмурились бы, нежные цветочки.

Солдаты унесли то, что осталось от Хельги Мюллер. Вернее, не совсем так. Она

разделилась на вещь, которой стало ее тело, и недолговечное, рубиново-блестящее пятно крови на сцене. Последняя драгоценность.

Ты испытываешь жалость, Эрика Байер? Или ты видишь в этом красоту?

Никаких ответов и смотри только вниз.

— Что стоим? Мы почтили память Генриха и его незадавшейся волшебницы. А теперь, органические интеллигенты и органические идиоты, расходимся по своим повседневным делам.

Лили прошептала:

— Меня сейчас стошнит.

Маркус спросил:

— А фрау Мюллер что стало плохо? Она заболела? А надолго?

Лили ответила ему с неожиданной нежностью:

— Она заболела навсегда, Маркус.

Мы ждали команды Карла, потому как кроме его слов были еще его приказы, и они всегда оказывались важнее. Наконец, Карл крикнул, что мы свободны, и строй начал расползаться, расходиться, как ветхая ткань.

Наш корпус был за сценой, и мы с Лили медлили, нам не хотелось идти мимо места, где все еще блестела кровь. Мама маленького мальчика, за которым никто и никогда не придет. Она показалась мне такой сильной, а теперь все это не имело смысла.

Когда мы с Лили проходили мимо, Карл спрыгнул со сцены. Он приобнял меня:

— Ты плачешь, Эрика?

Я этого не замечала. Мне казалось, я испытываю лишь некоторое восхищение спектаклем, в который превратились боль и страдание.

Карл говорил сочувственно. Я задрожала от его прикосновения и попыталась вырваться, когда он, словно бы случайно, коснулся моей груди. Я знала, что не нравлюсь ему, но его забавляли мои слабости. Карл легко меня удержал.

— Знаешь, что я ей сказал? Я хотел ее обнадежить, Эрика. Ты думаешь, я совсем плохой человек?

Я покачала головой, перед глазами все стало сначала очень четким, а затем поплыло.

— Только послушай меня: я сказал, что найду ее сына.

Карл шмыгнул носом.

— Не оставлю же я мальчонку совершеннейшим сиротой. Может быть, одна из вас сделает его сильным и умным? Какой эгоизм со стороны мамыши, а?

Я молчала. Я думала, чувствовала ли Хельга что-нибудь, успела ли она осознать, что умирает? Надо же, сегодня я проведу день так же, как и всегда, но зная, что для кого-то все дни кончились.

Если не реагировать на Карла, он отстанет, я это знала, поэтому не позволила себе издать ни звука. Карл не был искусственным человеком, он был настоящим, реальным продуктом Нортланда. Он, хоть и завидовал солдатам гвардии, мог собой гордиться. Карл бы сиротой, его воспитывала система, чьей жестокости я даже не представляла. Нортланд давал сиротам дом, как щенкам, и взамен требовал только верности. Карл с юности своей, когда старые эмблемы еще не сменились символом нового дня, ходил с повязкой на плече, демонстрируя свое большое будущее и непоколебимое настоящее.

Я ненавидела Карла всем сердцем, и он питался этим.

— Вы ведь опоздали, девочки? Небось не завтракали, а? Так спешили выполнять свой

долг! Разрешаю вам зайти в столовую и немного подкрепиться.

Теперь он отстранился от меня и обнял Лили, ее он всегда оставлял на сладкое. Лили скривилась от отвращения, затем с трудом выдала гримасу за улыбку. К ней Карл всегда проявлял особенный интерес, ее незащищенный вид, ее большие глаза, аккуратный пучок ее светлых волос и нервный голос словно вызывали у него аппетит.

— Отпусти ее, — сказал Маркус. — Ей не нравится, что ты ее обнимаешь.

— Приказывать мне будешь, когда мы вернем твой мозг на место, Маркус, дорогой.

Но Карл его не тронул. Он, насвистывая гимн Нортланда, прошел мимо, размахивая пистолетом, из которого только что убил человека.

Мы с Лили остановились, глядя ему вслед. Черно-белый поток огибал нас, все спешили по своим делам, радуясь благоразумию, которое у них оставалось. Казни вызывают радость не только той глубинной, темной природы, что спит в каждом из нас под тонким льдом цивилизации. Казнь — это праздник, изумительный катарсис того, что умираешь не ты.

Не сегодня.

Я убеждала себя в том, что никогда не оказалась бы на месте Хельги. Я смотрела на Рейнхарда и думала, что мне с ним повезло. Он смотрел себе под ноги, потирая носком белого ботинка редкие, отполированные миллионами шагов камушки, впаянные в асфальт.

Мы с Лили молчали. Не то чтобы нам нечего было обсудить. Наоборот, мы кипели от негодования, страха, радости, боли. Но нам было очень неловко говорить об этом друг с другом.

В столовой было не пусто, но близко к тому. Шаги наши отдавались гулко, с той торжественной неловкостью, которая хороша только в фильмах, и голоса стали гуще, глубже.

— Карл сегодня добряк, — сказала Лили.

— Может ему стоило бы почаще убивать людей?

Я засмеялась, затем меня прошил укоризненный взгляд Лили. Смех мой еще отдавался от стен, а я уже устыдилась. Столовая была исполнена с тем же пафосом последней империи, что и все в Нортланде, даже парки аттракционов. Мраморные полы, алые полотна на стенах, колонны, поддерживавшие потолок, расписанный изображениями благородных солдат с оружием наизготове — все говорило о силе.

Теперь эти солдаты никуда не могли уйти — закончились страны, не являющиеся Нортландом. Однако оставался свой народ. Машина не могла остановиться, но перешла с экстенсивного потребления на интенсивное. Экспорт красивых солдат прекратился, но внутренняя потребность в них лишь росла.

Тихо играла музыка, я с трудом различила кульминацию «Гибели богов». В таком незаметном, почти интимном исполнении, она казалось очень скромной, ученически-смущенной.

За длинными столами сидели женщины вроде нас и мужчины вроде наших подопечных, но я внезапно почувствовала себя такой отчужденной ото всех вокруг. Единственным экземпляром крошки Эрики, наполненным четырьмя литрами крови и сорока литрами потенциальных слез. Что ж, искусство хорошо страдать никогда не выходило из моды.

Девушки за стойкой с завитыми волосами и яркими, полными губами, словно бы их только по этим признакам отбирали, выдавали завтрак. Выбор был огромный от сдобы и колбасы до диковинок вроде замороженного йогурта. Он нам и был нужен, это кисло-сладкое мороженое никогда никому не надоедало, к нему можно было выбрать сироп или посыпку.

— Йогурт не закончился? — спросила я беспокоенно. В мире еще оставались поводы для волнений.

— На вас хватит, — ответила одна из девушек приветливым, усталым тоном. Нежность его вплелась в поток тихой музыки.

— Интересно, кто его изобрел? — спросила Лили.

— Я бы обняла его, даже если бы это был мужчина.

Мы засмеялись. Еды мы взяли много, столько, сколько ни за что бы не съели. Просто хотелось подольше задержаться в столовой. Окна были открыты, и ветер покачивал знамена. Я намазала тост для Рейнхарда клубничным джемом так густо, чтобы ему приятно было смотреть.

— Как думаешь? — спросила Лили. — Кто теперь будет вместо Хельги?

Потом она зашипела, словно бы сама на себя раздражилась за нетактичность. Выглядело так, будто ее закоротило. Маркус засмеялся.

— Можно твой бутерброд? — спросил он. — Лили, можно его съесть?

— Забирай, — сказала Лили быстро. Я отдала тост Рейнхарду и принялась разглаживать горку замороженного йогурта ложкой.

— Понятия не имею. Не слышала, чтобы кто-то был свободен. С другой стороны, теперь выполнение проекта, — я посмотрела на Рейнхарда. — Отложат. У нас ведь нет четвертого.

Бедняжка Хельга, а как же Генрих?

Нас всегда делили по четверо. Вернее, в команде нас было восемь, но наши подопечные не считались ее активными членами. А после мы менялись местами.

Четверо. Уж не знаю, почему было выбрано именно это число, но определенная функция в разбивке солдат на группы имелась. Карл устанавливал между нами связь. Иногда это было похоже на головную боль, иногда на влечение. Он сцеплял нас, парапсихологов, друг с другом, а через нас и мужчин, которых мы должны были создавать. И если для нас никаких последствий, кроме чувства легкой неловкости, не наступало, то солдаты, получив свой разум обратно, забирали и нашу нерушимую связь.

Мы не могли пользоваться ничем, что отдавали им. Что ж, здесь Нортланд, пожалуй, не был виноват.

Их разумы оказывались крепко сцеплены, наподобие разумов насекомых. Они могли считывать намерения, узнавать местонахождение и даже передавать друг другу образы на расстоянии. Разумеется, связывать их всех было не слишком хорошей идеей, если один выйдет из строя, есть шанс, что он повлияет на остальных. Четверо, однако, отличное число — уже связанная, умеющая конструктивно взаимодействовать группа и еще не отряд, способный натворить бед.

Почти фантастическая способность солдат гвардии преследовать преступников (или тех, кого таковыми объявил Нортланд) крылась в этой маленькой особенности. О ней широкой общественности не было известно, так как ее можно было использовать как во благо (Нортланда), так и во вред (для Нортланда).

Говорили, разум их работает в особенном режиме, как разделенный на четыре части экран, или что они, как пчелы, воспринимают мир в единстве и одновременно.

В этом было, может, истинное счастье. Разве не так люди ищут любви? Посмотреть на мир одинаково, ощутить одно и то же, полностью друг друга понять — романтический миф воплощенный в мире власти и подчинения.

— Эрика!

— Да?

— Ты уже закончила есть.

— Правда? Я задумалась. Ты когда-нибудь думала, умирают ли садовые слизни в песке?

— Я об этом думал! — сказал Маркус.

— Какое тонкое оскорбление.

Мы оставили подносы с едой и вышли из столовой. Нас окружили стройные кипарисы, высаженные здесь благодаря типично Нортландскому вниманию к деталям — запах их, считалось, возбуждает аппетит. Мы прошли сквозь их строй, свернули на дорожку, ведущую к нашему корпусу. Вокруг высыпали розовые кусты. Ни у одной из роз здесь не было шипов — беззубые красотики, только такие здесь и выживают.

Наш корпус ничем от других не отличался — похожее на университет здание с вывеской, гласившей "Сила одного — сила всех".

Над каждым корпусом было свое глубокомысленное изречение, так мы их и различали. Мы с Лили поднялись на второй этаж и только на этом этапе сделали вид, что спешим. Словно бы запыхавшись мы вбежали в аудиторию под номером двести двадцать один, где преподавали нам идеологическую подготовку.

На самом деле не нам, а нашим подопечным. Эти знания перейдут к ним, когда мы сделаем их идеальными. Идеологическая подготовка была общим курсом, остальные были разделены в зависимости от специализации солдат.

Их специализации, не нашей. Мы были практически единственными женщинами в стране, способными получить высшее образование. Хотя, конечно, девушке вроде Лили с ее многочисленными достижениями никто бы не отказал, но она была исключением. Правилom была я. Неглупая, эрудированная, жадная до информации, но не исключительная, а потому вынужденная клацать зубами от познавательного голода.

И хотя из смотрительницы музея, я стала вдруг студенткой престижного университета с индивидуальной программой, все это полагалось не мне. Я была лишь медиумом, проводником для знаний, которые никогда не использую.

Впрочем, когда Нортланд смахивает крошки хлеба со своего стола, лучше раскрыть рот пошире и ловить их, чем рассуждать о социальной справедливости. Маркус тому пример.

По содержанию курсов можно было понять, к чему готовят наших подопечных. Наше расписание было забито экономикой и политологией, другие девушки жаловались, что их мучают химией или проектированием инженерных систем, третьи штудировали баллистику и юриспруденцию. Все наши слабоумные станут идеальными солдатами, но помимо прочего займут свое место в управляющем аппарате Нортланда. Как соблазнительно укомплектовать государство идеально рациональными людьми, подготовленными на ключевые посты, чтобы не допустить к ним таких непредсказуемых настоящих людей. А кроме того способными в любой момент превратиться в оружие против несогласных. Не мальчики, а перочинные ножи. Я едва не засмеялась, но вовремя ощутила взгляд Лили. Иногда мы тоже ловили отголоски чувств или настроений друг друга. Это пройдет, так обещал Карл.

Вместо герра Мейера, старенького и занудного преподавателя, то и дело стучавшего по столу кулаком, чтобы мы не засыпали, нас встретил Карл. Он сидел на преподавательском столе, обзоревая аудиторию.

— Девушки, — он склонил голову. — Герр Мейер сегодня уступил мне право провести для вас урок. Раз уж день выдался такой особый. Поприветствуем фройляйн Бреннер и фройляйн Байер! Две буквы "б", два беспардонных опоздания, две безнадежные глупышки.

Садитесь.

Здесь меня постигла неудача. Рейнхард никак не хотел сесть. Все утро он следовал за мной, как за флажком, думая о чем-то своем, а тут вдруг заупрявился. Я уговаривала его:

— Рейнхард, пожалуйста, мы не можем никого задерживать.

— Да ударь ты его, — сказала Ивонн. — Легонько.

Ивонн Лихте была третьей девушкой в нашей команде. То есть, еще утром четвертой. Она пришла последней. «Великая патриотическая акция» пропустила ее сквозь свои сети, она рыбкой выскользнула из них и скрылась на социальном дне. Ивонн была третьесортной певичкой в грязном варьете. Она обладала острой, какой-то даже слишком броской красотой, красила волосы в платиновый блонд и пела хриплым, сексуальным голосом. В характере ее тоже отпечаталась навсегда жестокость нравов дешевого кабака. Она рассказывала свою историю с плохо скрываемым удовольствием, почти мурлыкая.

Был у нее, значит, любовник. Не то директор, не то агент, это было не так уж важно. Изящный мужчина в полосатом костюме, ему даже шел бриолин. Так вот, он курил сигарету за сигаретой и любил ее избивать. Ивонн, конечно, терпела, но исключительно из-за денег. В этой позиции была ее особая гордость. Она бы и сама заработала, но без него у нее бы все отобрали. Зал она умела очаровать всегда. Так было и в тот вечер. Она пела легкомысленную песню о девушке, готовой крутить любовь под фонарем, и люди в прокуренном зальнике внимательно слушали ее, отодвинув от себя коктейли.

Она закончила первый куплет, когда Фрицци, так она его называла, начал вдруг стрелять. Ивонн знала, что у него был пистолет, однако Фрицци хранил эту тайну ревностно. А тут вдруг вытащил его из кармана и начал палить по ее драгоценным зрителям. Ее блестящие туфли забрызгало кровью, на этом месте в рассказе она всегда кривила нежные губы.

Его скрутили, но он сопротивлялся, как лев. Одному парню, знатному силачу, просто выбил глаз. А Ивонн стояла на сцене и смеялась, ей отчего-то так хорошо стало.

Словом, пришлось вызывать гвардию. Алкоголь и ревность фигурировали в деле только первые пять минут, затем, когда Фрицци продемонстрировал нечувствительность к боли и нечеловеческую силу, все стало ясно. Принялись устанавливать его контакты, первым делом вышли на Ивонн, с ней и угадали. Фрицци, конечно, все равно казнили. Контролировать его никто не мог. А Ивонн забрали из варьете, так что петь ей больше не было нужно.

Но она это дело все равно любила. Почти так же сильно, как трахаться. В этом смысле Фрицци ей даже было жаль.

Так что формально Ивонн свою способность уже применяла, да только человек тот был здоров (не считая букета венерических заболеваний и начинающегося алкоголизма), оттого разум его не выдержал. Мы все выпрашивали ее, как это было, но Ивонн, обычно разговорчивая, могла вспомнить только сияние, да и то она приняла тогда на свой счет.

— Так хорошо я там пела, просто чудо, — говорила она.

Мне Ивонн нравилась, в ней было нечто развязное, чего я никогда не могла себе позволить.

— Я не буду бить Рейнхарда, — прошептала я. — Просто ему нужно немного времени. Рейнхард, сядь, пожалуйста. Таковы правила. Рейнхард, ты ведь устал?

Ивонн постучала пальцем по виску.

— Да не понимает он тебя.

И тогда я подумала, может если я встану, он сядет. Так и получилось. Карл тут же

воспользовался ситуацией:

— Отлично. Вот ты и стой.

Он болтал ногами, сидя на столе, наблюдал за всеми, читал нас. Девушек здесь было двадцать и столько же было мужчин. Весь курс, кроме Хельги Мюллер и ее Генриха.

— Я решил, раз уж вы сегодня пережили такой стресс, то будем смотреть кино, а? Хорошо же.

Кто-то из мужчин выразил свое одобрение, кто-то засмеялся. Девушки молчали.

— Кино будет на тему, которую так любит герр Мейер. Про врагов нашей великой нации. Про червячков, которые внедрились в сочное яблоко нашей славной страны. Кто как не вы должны разбираться во врагах.

Он остановил свой взгляд на Лили, облизнулся, а затем вдруг резко потянулся в пульту и включил широкий, плоский телевизор. Такие появились у нас в последнее время наряду с другими техническими новинками. Может, на секретных полигонах их создавали бывшие имбецилы. Телевизоры ассоциировались у меня с каким-то фантастическим будущим. Вещь, которая может расширить зрение, позволить взгляду проникнуть в любой уголок мира.

Это было много лучше, чем радио. Радио обещало будущее, телевидение им было. Но Нортланд использовал его по-своему усмотрению. Перед нами была красно-черная агитка с закадровым голосом, ведущим драматическое повествование об угрозах, с которыми столкнулся Нортланд из-за своего милосердия и желания облагодетельствовать всех своих жителей. Неблагодарные, не могущие смириться с мудрейшим патернализмом партии и народа, индивиды стремились к тому, что однажды уничтожило все нации, кроме одной. К свободе, грозившей разрушить наш уютный мир.

— Не отвлекаться, Байер! — крикнул Карл в моей голове, никто другой его не слышал. — И без вольных пересказов мне тут.

Я выпрямилась и некоторое время терпеливо слушала диктора. Затем краем глаза я заметила, как Рейнхард строит пирамидку из коробочек с джемом и медом. Я прикрыла глаза, затем покачала головой.

— Красть не хорошо, — чуть слышно прошептала я. — Из-за тебя нам может достаться.

Рейнхард не обращал на меня внимания. Он снабжал свое строение все новыми и новыми кирпичиками из кармана. Зрелище было много более осмысленное, чем пропагандистский фильм.

А потом случилось нечто, что отвлекло меня от башенки, создаваемой Рейнхардом и грозившей мне наказанием за его асоциальное поведение.

— Лили, это я? — спросил Маркус. — Там, на экране!

Я взглянула на экран и увидела профессора Маркуса Ашенбаха, автора "Переопределения общества", моей настольной книги, и самого молодого доктора наук Хильдесхаймского университета.

— Да, Маркус, это ты, — ответила Лили. Голос ее стал печальным. Он был политолог, и все, что мы здесь учили, прежде было ему известно, а вместе с этим и много больше. Маркус Ашенбах был одним из умнейших людей своего времени. И одним из самых безрассудных.

Он открыто высказывался против устройства Нортланда, называл его несправедливым и нежизнеспособным.

Таким молодым людям не стоит становиться профессорами, из них еще не выветрилась вся пассионарность, стремление изменять. Чтобы жить до старости надо предпринимать что-либо лишь во второй половине жизни, говорила моя мама, уже смирившись с тем, как

все есть на свете.

Маркус Ашенбах мог знать множество вещей, а вот мудрость моей мамы прошла мимо него. Я видела его на экране, у него было умное, интеллигентное лицо, ему удивительно шли очки в золотистой оправе. Он был спокойным и голос его излучал уверенность. Это было интервью тех времен, когда он еще занимал место за университетской кафедрой.

— Безусловно, экономическое развитие Нортланда — это фантастика. Я бы предположил, что мы экспортируем товары. Хотя это физически невозможно. Я не хочу показаться городским сумасшедшим, но мне хотелось бы разрешить эту загадку.

Маркус на экране улыбнулся, не так открыто, как он улыбался теперь, но намного более радостно.

— В любом случае, суть моей теории в том, что создавшиеся условия не требуют государства как такового, не требуют репрессивного аппарата. Для того, чтобы развиваться дальше, нам необходимо освободить наши производственные силы. Я хорошо представляю себе смерть государства. Но для того, чтобы это состоялось, нам нужно добиться появления нового человека — свободного настолько, чтобы не быть способным привыкнуть к порядку насилия. Не думаю, что это возможно в нашем поколении. Думаю, это возможно после нас. Если мы будем хорошими родителями и учителями.

— Так как вы видите мир будущего? — спросил голос, чей обладатель оставался вне поля зрения. Маркус снял очки и протер их, затем, надев снова, сказал:

— Как кооперацию равных. Профессиональные союзы способны к самоуправлению, университеты способны к самоуправлению, на частную основу можно перевести даже здравоохранение. Общество регулирует себя намного лучше, чем нам кажется. В государстве нас удерживает репрессивный страх, идущий из начала времен. Своего рода невроз. Мы желаем контроля. У государства садомазохистская природа. Фактически, мы — посткатастрофическое общество. Я бы пошел еще дальше — любое общество после неолитической революции травмировано. Нам нужно проработать эту травму и переопределить основы взаимодействия друг с другом. Теперь мы на это способны. Люди изрядно выросли.

— Вы ищете корни проблемы в истории?

— К сожалению, мы больше знаем о древних цивилизациях, чем об ушедших недавно. Но я считаю, что история дает ответы не только на вопросы о прошлом.

Он снова снял очки, спокойно улыбнувшись. Его интеллигентное лицо выражало интерес, видимо он слушал следующий вопрос, кадр, однако, замер. Маркус Ашенбах был видной фигурой в научном сообществе. Лили отзывалась о нем с восторгом, Ивонн даже шутила, что она влюблена в Маркуса. А Хельга сказала, что они были бы отличной парочкой юных гениев.

Я посмотрела на пустое место Хельги, в груди тоже образовалась яма.

— А почему я на экране, Лили? — спросил Маркус. Он засмеялся, совсем не так, как засмеялся бы человек на видео. Но он им и был.

Мы не знали, что случилось с профессором Ашенбахом на самом деле. Он то ли связался с какой-то полумифической подпольной группировкой, то ли сказал нечто опасное о Нортланде прямо, без смягчающих абстракций. Это был красивый, молодой и здоровый мужчина, и Нортланду стало жалко это хорошее тело, сосуд для его воли.

Тех, кого схватили с ним повесили. Маркусу же сохранили жизнь, однако при условии фронтальной лоботомии. Не все доли мозга Маркуса Ашенбаха пережили это приключение,

и иногда мне хотелось плакать, смотря на него. От беспомощности.

Жил-был человек, умный, интеллигентный, талантливый, и вот он живет, дышит, даже говорит, но от него ничего не осталось.

То, что было когда-то профессором Маркусом Ашенбахом, исчезло навсегда. Карл потрудился, чтобы он достался Лили не потому, что Лили об этом просила. Наоборот, она была в ужасе, она и сейчас не привыкла. Ее кумир достался ей, но вот в каком виде.

Карл добивался со свойственной ему зверской злостью двух вещей. Во-первых он намекнул Лили, что знает о ее пагубных пристрастиях к радикальным философам. Во-вторых, он ревновал ее, даже мысли ее (и особенно мысли) к Маркусу.

Впрочем, все мы любили Маркуса. Судьба человека, осуждавшего право государства иметь в собственности людей, стать, в конце концов, вещью в руках Нортланда. Это хорошая прививка против последующих рассуждений на эту тему. Что до Маркуса — я предпочитала думать, что это какой-то другой, очень похожий на него человек, да еще и тезка. Герои должны жить или умирать, но никоим образом не подвергаться символической кастрации.

Когда фильм закончился, мы не сразу разошлись. Сидели и молчали, словно занятие еще продолжалось, пока Карл не скомандовал:

— Вон!

Он снова сел на стол и принялся болтать ногами.

Нам предстояло сдвоенное занятие по экономике, которая никогда не давалась мне легко. Я быстро сгребла и распахала по карманам коробочки с джемом. Рейнхард нахмурился, недоумевая, куда они исчезли.

Первое время я думала, зачем нам водить их за собой всюду? Неужели кураторы надеются, что в головах наших подопечных осядут остаточные знания, если большинство из них и на бытовом уровне не слишком хорошо владеет речью.

А потом я поняла — это не для них, это для нас. Чтобы мы больше не мыслили себя без них, стали практически единым целым. Я представила, что рядом со мной нет Рейнхарда, и мне тут же стало одиноко. Я посмотрела на него, и меня утешила мысль о том, что рядом со мной будет сидеть человек, который по-настоящему ничего не понимает в экономике.

Легкое чувство превосходства, как лекарство ото всех проблем. Посчитай свои привилегии.

В обед пришла фрау Бергер. Она, как всегда, проявила похвальную пунктуальность. Мы вдвоем (теперь вдвоем, как же, оказывается, не хватало Хельги) выходили из столовой и обнаружили на скамейке под кипарисами, как и всегда крайней справа, фрау Бергер. Она отличалась постоянством, всякий раз приходила в одно и то же время и ждала в одном и том же месте. Ивонн послала нам воздушный поцелуй:

— Подождите здесь, девочки.

Фраза ее не содержала вопроса, и мы, со свойственной нам с Лили вежливостью, замерли. Ивонн схватила за руку Ханса, своего подопечного, и потащила его к скамейке.

— Здравствуйте! — она широко улыбнулась. — Ханс, поздоровайся с мамой!

Ханс сказал:

— Три. Два. Один. Старт. Финиш. Поворачивай.

Он выдавал этот набор слов всякий раз, когда его просили что-либо сказать. Иногда в обратном порядке. Тоже своего рода стабильность. Ханс Бергер был отпрыском одного из самых богатых семейств в Нортланде, прославленных промышленников, которых не спешили заменять идеальными директорами из проекта «Зигфрид». Собственно,

исключительно благодаря богатству его родителей Ханс и оказался здесь так быстро. Ему было девятнадцать, для проекта он был еще слишком молод. Кое-что в Нортланде, однако, можно было решить деньгами. Это успокаивало, хотя я и была далека от богатства, способного совратить закон.

Оказывается, государственная машина могла пойти по-твоему, если вовремя впихнуть в нее монетку. Ивонн выбрала Ханса случайно, но ни капельки не пожалела. Она делала вид, что заботится о Хансе, как о собственном младшем братишке, и за свою любовь просила совсем немного дополнительного содержания, для Бергеров — сущее ничего.

Я ее не осуждала. Каждый живет как умеет, а Ивонн знакома с бедностью достаточно хорошо, чтобы пригласить меня посчитать привилегии прежде, чем читать ей мораль.

Ханс был любимым и единственным отпрыском четы Бергеров. В нем было нечто аристократичное, он был изящный принц с картин, которые выставлялись в моем музее. На лице Ханса словно была оставлена навсегда печать избалованности, он даже в своем нынешнем состоянии умудрялся выглядеть надменно.

А иногда, когда ему что-то не нравилось, он вскидывал брови, словно мы все были его слугами, комичный и грустный одновременно.

Ханс попал в автокатастрофу. Парень, с которым он столкнулся погиб сразу, и от него осталось лишь нечто отдаленное похожее на человека, так, по крайней мере, эту трагедию живописала фрау Бергер.

Ханс отделался травмой головы, которая и привела его к проект «Зигфрид». Он почти не говорил, а шум машин вызывал у него желание сжаться в жалкий, крохотный комочек. В такие моменты он был похож на маленького мальчика, который не знал, что уже проснулся от кошмара.

Прежде Ханс был типичным представителем золотой молодежи со всеми ее атрибутами, которым все презирающие в тайне завидуют — статусными вещами, хорошими вечеринками и номерами люкс в отелях, а так же особой свободой, которую дают только деньги и ничто другое.

Ханс и сейчас сохранил некоторую избалованность, накормить его в столовой, к примеру, было целым событием, в котором участвовали все окружающие, даже Маркус и его более или менее сохранные знакомые.

Фрау Бергер навещала его каждый день, но отчего-то никогда не оставалась с сыном наедине. Он был у нее один, и в то же время сам по себе, словно бы не слишком ее интересовал. Она могла долго расспрашивать Ивонн о нем, но не пыталась побыть с Хансом наедине.

Фрау Бергер была красивая женщина в годах, из тех, которым неизъяснимо идут бриллианты и предрассудки. Она разговаривала с особенным выговором, так что всегда казалось, что она тренируется перед тем, как выступить на радио. Фрау Бергер носила высокую прическу с драгоценными заколками, скрывающимися в ее горделивой седине и даже жарким летом не оставляла свои сладостно-удушливые духи без дела.

Она была довольно приметной дамой, но Ханс ее не узнавал. Он прижимал ладони к вискам, показывая, что у него болит голова, пока фрау Бергер курила сигарету за сигаретой, сетуя на наши порядки.

— Так невыносимо долго, — жаловалась она. — Я бы хотела видеть его к моему дню рождения. Без Ханса будет вовсе не то.

Мы стояли чуть в стороне, так что слышали не все. Ивонн нам, вероятно, завидовала.

— Мы делаем, что можем, — говорила она привычным, мягким тоном. — Надеюсь, все наладится к вашему дню рождения. К этому или следующему.

Срока мы не знали, приказ еще не пришел. Фрау Бергер вздыхала:

— Я попробую выяснить, почему они медлят. Могли бы уже вернуть моего мальчика мне.

Выбросив сигарету в урну (она никогда их не тушила, это казалось фрау Бергер неприличным), она вдруг сказала:

— И, знаешь, деточка, Ивонн, попробуй выбить у него из головы эту дурь. Гонки это так вычурно и грубо. И, кстати говоря, надеюсь он откажется от современной музыки. Такая безвкусица, порой бывало стыдно проходить мимо его комнаты.

— Поворачивай. Финиш. Старт. Один. Два. Три.

Ивонн надолго замолчала. Я не знала, что ответила бы в таком случае и смогла бы вообще ответить. Думаю, я выбрала бы неловкое молчание или симулировала бы обморок, я это хорошо умею.

А Ивонн спросила с улыбкой:

— Вам нравится Бетховен?

После ее разговора с фрау Бергер мы с Лили некоторое время не знали, что ей сказать. Мы шли в местный парк, чтобы израсходовать свой сорокаминутный перерыв в полной тишине.

— Тебе она нравится? — спросила, наконец, Лили.

Ивонн пожала плечами:

— Она платит деньги.

Посткатастрофическое сознание. Я не понимала ее, но я могла попытаться ее понять. Крошка Эрика, а как ты относилась бы к людям, если бы привыкла перебиваться шампанским и минетом на завтрак? А к людям, которые тратят на тебя деньги?

Ах, это благополучное сознание, где нельзя принять никакого решения, если только не побывал всеми на свете. Мы сели на скамейку, по очереди закурили. Маркус срывал листья с деревьев, Рейнхард сидел на траве и крутил колесо своей машинки, Ханс гладил себя по голове, стараясь унять боль.

А мы смотрели. Ни дать, ни взять фрау с детьми. Я вдруг снова загрустила о Хельге. А может и не загрустила, радость в этом странном дне тоже была.

— О, у вас неловкое молчание, я как раз хотел на него успеть!

Карл всегда появлялся позади, он любил находиться вне поля зрения, как хищник. Мы все вздрогнули, и наше разбившееся о контраст сущего и должного единство было восстановлено. Карл мог бы, предположительно, даже разбитую чашку соединить ненавистью осколков к нему.

— Дурацкое сравнение, Эрика.

— Прошу прощения, — сказала я. Голос мой прозвучал кротко, но в голове своей я озвучила эту фразу, как и хотела. Карл ткнул тростью мне в затылок, и я зажмурилась. Он, удовлетворенный этим, обошел нас. За ним следом, как привязанный, шел молодой паренек. Сначала я подумала, что он один из будущих солдат, однако на нем был черный костюм, как на нас. Пуговицы переливались на жарком солнце. Хорошо позолоченные, они сами почти становились светилами.

— Вы, смотрю, совсем одичали от одиночества, — начал Карл. Парень встал за ним. Он был чуть выше Карла, так что это была нелепая попытка спрятаться. Впрочем, она

соответствовала всему его образу. Он был долговязый, чем-то похожий на щенка, явно выглядящий младше, чем он есть на самом деле. Костюм на нем не сидел, хотя их шили индивидуально. У паренька были непокорные, кудрявые волосы, имеющие вероятно личные счета с расческами. Он не улыбался, но выглядел так, словно готов был сделать это в любой момент.

— Вам повезло, милые фройляйн, у нас тут как раз появился для вас кавалер.

Паренек вдруг выпалил:

— Меня зовут Отто Брандт!

Карл посмотрел на него взглядом, от которого во мне закипели все имевшиеся гуморы.

Отто тут же замолчал, и Карл засмеялся:

— Рано, идиот.

И я подумала, неужели Отто будет вместо Карла? Пусть даже практика у него такая, пусть даже сейчас он читает мои мысли, я так радовалась.

Привет, подумала я.

Пока, сказал в моей голове Карл. И добавил: он один из вас.

— Что? — спросила я вслух.

— Что слышала. А, другие же не слышали. Герр Брандт у нас представитель органической интеллигенции, но не моего направления. В ближайшее время мы подберем ему мальчика по вкусу.

Отто скривился, будто съел что-то искусственное.

— Мне не нравятся мужчины.

— Да?

— За это вообще-то убивают.

— Только поэтому?

Отто смутился, сделал шаг в сторону от Карла. Так от него еще никто не спасался. Проверку Карлом Отто явно не проходил.

— Дело в том, что вашу группу нам надо укомплектовать как можно скорее. Через месяц должны быть результаты.

— Месяц?! — спросила Ивонн. Я услышала в ее голосе отчаяние. Плодотворное сотрудничество с фрау Бергер подходило к концу. Сначала я подумала, что она и постаралась ускорить процесс добывания Ханса из органического слабоумия. А потом вспомнила, что фрау Бергер сетовала на задержки буквально только что.

— Это приказ кенига, — сказал вдруг Карл. Он криво, почти отчаянно некрасиво улыбнулся. Отто побледнел, и я подумала, сейчас он упадет в обморок.

И он упал. Ивонн засмеялась. А я посмотрела на Рейнхарда, которого последний месяц занимала эта дурацкая машинка.

Глава 3. Автоматизирующий конформизм

Месяц пролетел так быстро, что я не успела заметить, когда тревога во мне сменилась грустью. К вечеру накануне моего прощания с Рейнхардом, после ужина, мне стало вдруг удивительно тоскливо.

Я достала бутылку вина, плеснула его в бокал, но не смогла сделать второй глоток — мне никогда не нравился вкус алкоголя. Тогда я опорожнила бокал в раковину, взяла стул с плетеной спинкой и села у окна, наблюдая, как уходит солнце. Я стала думать, что же с нами со всеми станет, разучусь ли я любить и заботиться о слабых, когда через мои руки пройдет десять или двенадцать людей, которые станут солдатами. Так что станет с нами со всеми?

Теперь и подпись свою можно было расширить: Эрика Байер, специалист по экзистенциальным рискам человечества.

Рейнхард сегодня был совсем тихий, из комнаты его ни звука не было слышно: ни шагов, ни шума предметов, которые он иногда передвигал. Настроение у него, может быть, было плохое. Или хорошее.

Мне стало смешно: так тоскую о человеке внутренний мир которого совершенно не знаю. Я достала сигареты и открыла окно, впуская летние сумерки с их душным и ароматным воздухом.

Экономика обязательно победит, ничто другое не побеждает. Живи в своей красивой квартире, Эрика Байер, и держись за иллюзию своей доброты и небезразличия.

Когда в дверь позвонили, я вздрогнула. Я никогда не жду гостей, к родителям я езжу сама, а Ивонн и Лили слишком устают от меня (как и друг от друга) за день, чтобы иметь желание сыграть в бридж или организовать книжный клуб. Я отложила тщету всего сущего на потом, упаковала эмоциональный кризис и отогнала тоску вместе с сигаретным дымом. Открывать мне не хотелось, но я направилась к двери. Рейнхард стоял на пороге своей комнаты, он склонил голову набок — звонок показался ему странным и привлекательным.

— Все в порядке, это ко мне. Ну, или нет.

Хотя я была почти уверена, что социальных контактов у меня больше, чем у глубоко дезорганизованного мужчины, прошедшего большую часть жизни в Доме Милосердия. Если нет, то что бы это обо мне говорило?

В дверь снова позвонили, и я поднялась на цыпочки, посмотрела в глазок, а затем распахнула дверь в приступе радости, который напугал даже меня саму.

— Роми!

Она приложила палец к моим губам, зашипела, как кошка проскользнула в квартиру, и закрыла дверь.

— Ты чего орешь?

Радость моя сменилась страхом.

— Что ты здесь делаешь? Тебя поймали?

Роми высунула розовый язык, затем хрипло усмехнулась.

— Никогда меня не поймают.

Роми Вайсс была моей лучшей подругой. То есть, мы расставались таковыми лет десять назад. Дальше были обрывочные звонки из телефонных будок, сумбурные впечатления, которые я не могла сложить в полную картину, редкие письма и воспоминания, которые

почти стерлись. Я была удивлена, что узнала ее лицо, более того, я была удивлена своей радости.

Роми почти не изменилась. Она была тощей, как и десять лет назад, с острыми скулами и длинными, чуть кривыми пальцами. Лицо ее сохранило неизменную привлекательность неземного, а губы будто бы еще утончились, так что в ней появилось что-то смертное, как печать долгой болезни, однако движения ее остались такими же ловкими, а редкая улыбка такой же самодовольной.

Роми обняла меня, а затем прошла на кухню, будто бывала у меня дома много-много раз.

— О, там этот твой странный? — спросила она.

— Его зовут Рейнхард. Я тебе говорила.

— Да-да, Рейнхард.

Она прошла к холодильнику и достала оттуда большой шоколадный торт, предназначавшийся мне для завтрашнего утешения. Вместо ножа Роми взяла ложку, села за стол и стала снимать глазурь. Я смотрела на это действие с пару минут, а потом спросила:

— Ты вообще помнишь, почему я с тобой дружу?

Она пожала хрупкими плечами. На ней была мешковатая одежда с мужского плеча, русый хвост волос я увидела только, когда она сняла шляпу. Со спины вполне могла сойти за тощего подростка.

— Знаешь, — сказала я. — Шестнадцатилетние не носят шляпы.

— Я маленький франт.

И я вспомнила, почему дружила с ней. Роми никогда не обращала внимания на то, что ее не интересовало. А не интересовали Роми общество, нравы, предрассудки и сплетни. Роми была сама по себе, от всего мира отдельно, и я тоже хотела быть такой, но не умела делать это с тем же изяществом и вместо истинной свободы практиковала не то мастурбацию, не то гимнастику мыслительного характера, так никогда и не решившись ни на один настоящий поступок.

Хотя, надо признать, внутри собственного разума я была еще смелее, чем Роми в реальности.

— О, винцо, — сказала она. — Налей-ка мне.

— Тебе опасно здесь быть.

— Когда я звонила в последний раз, ты плакалась мне, что тебе будет одиноко без чудика.

— Я всегда тебе плачусь.

— Ну да.

Она почерпнула ложкой большой кусок шоколадного торта, похожий на ком земли так сильно, что я ожидала увидеть в нем червей. Я налила ей вина, затем повторила действие, и после второго бокала бледные щеки Роми вдруг тронул огонь садовой розы, вид у нее стал почти смущенный — она всегда смешно напивалась, и требовалось ей для этого очень немного.

Роми скинула с себя пиджак и осталась в белой, порванной кое-где рубашке. Я нахмурилась.

— Тебе дать одежду?

— Лучше еду. Я твой маргинальный друг, тебе ведь ничего не жалко?

Мне ничего не было жалко, но я боялась за Роми.

— Как ты вообще сюда проникла?

— В мусоровозе. Ехала от самой свалки.

— Ты серьезно?

Я втянула воздух и поняла по сладковато-отвратительному запаху, что если история и приукрашена, то ненамного.

— Не переживай, свалю я так же. Самый надежный метод, надо сказать. Так можно где угодно оказаться, хоть к самому кенигу в канцелярию прокачусь. Кстати, с днем рождения его!

Она подняла бокал, а потом быстро опустошила его. Я вздохнула, наблюдая за ней, а потом принялась вытаскивать из холодильника еду. Роми посмотрела на меня с благодарностью.

Она была Крысой. Не в том аморальном смысле, который люди почему-то сохранили за этим бедным животным. Крысы — некий жанр социальной жизни в Нортланде, где закон это просто такая штука, которую нужно обыграть. Крыс всегда мало, потому как если их ловят, то наказывают жестоко. Мужчин убивают, женщинам же грозит Дом Милосердия, откуда им никогда не выбраться.

Крысы путешествуют по Нортланду, не останавливаясь нигде, на работу, по крайней мере легально, они устроиться не могут, пособничество им чревато большими проблемами. Я не боялась, потому как была уверена в собственной ценности для Нортланда, но мама Роми, к примеру, на порог ее не пускала.

Роми рассказывала иногда, и я хорошо представляла ее, сидящую в телефонной будке, поджав колени, как она питается обедками или голодает по несколько дней. Иногда было хорошо, летом можно и самой себя прокормить, говорила она. Я вспоминала мою одноклассницу, сгрызавшую заусенец за заусенцем на уроке родного языка, и мне отчего-то было грустно, что все с ней теперь вот так.

Но Роми выбрала это сама. Такова была цена свободы, я бы ее не заплатила, а Роми смогла. Еще в школе она говорила, что сбежит, и после выпускного, не дожидаясь, пока отец заберет ее на машине, она села на ночной автобус и уехала из Хильдесхайма. Она возвращалась сюда дважды: когда нам было по двадцать пять и сегодня вечером.

Словом, когда о Роми и таких, как она, говорили "крысы" не имелось в виду ничего символического, надбиологического. Они жили как крысы в самом прямом смысле этого слова. Я никогда не понимала вполне точно, почему Роми выбрала такую жизнь. В конце концов, мне тоже не нравилась перспектива всю жизнь проработать на одном и том же месте и нянчить четверых детей для такой же глупой жизни.

Но это все-таки была жизнь. Представления Роми, видимо, каким-то коренным образом расходились с моими.

Некоторое время Роми жадно закидывала в рот еду, не разбирая, наверное, вкуса, потому как смешивала друг с другом несочетаемые продукты вроде паштета и яблочного джема.

— Только не трогай томатный соус, — попросила я. — Рейнхард без него ничего не ест.

— Соуса тебе для подруги жалко, — она усмехнулась, вытерла рот рукой. У Роми на пальцах были все те же заусенцы, и она закусил ими, как в старые добрые времена.

— Я так рада, что ты приехала, — вдруг начала я, и Роми мне подмигнула.

— Ну, я ненадолго. Просто сегодня праздник, легче затеряться в толпе.

Роми была здесь не только для того, чтобы вдоволь наесться. Она знала, когда приехать.

Она знала, что мне грустно. Я обняла ее, и Роми по-обезьяньи отпихнула меня тощей рукой.

— Все, прекрати. Я тоже скучала. Я пошла мыться, а ты готовь для меня сплетни.

В ванную с собой Роми взяла сигареты и вино.

Через полтора часа, когда стемнело, мы сидели в моей комнате и ели фрукты. Роми хватала их с привычной жадностью, а потом, сытая, долго держала в руке. Она выглядела совсем девочкой, словно бы еще младше, чем десять лет назад. Я думала, что от жизни на пределе и время человека должно нестись на всех скоростях, но для Роми оно будто повернулось вспять.

Роми с восторгом рассказывала о том, как путешествует по всей стране. Она увидела море и была на островах, ничто и нигде ее не держало, были разные люди, встречи и расставания. Она была словно роман, открытый мной так вовремя. Я слушала ее, затаив дыхание.

Я, в свою очередь, делилась немногочисленными сведениями об общих знакомых. Но это Роми мало интересовало, кто где работал прежде, тот там и остался, мужья и жены тоже отличались постоянством. Роми хотела знать про проект «Зигфрид», но я только качала головой.

— Я не могу рассказать. Карл узнает о тебе.

— Но я же не скажу тебе, куда пойду и как. Пусть этот твой Карл отсосет.

— Пусть, — сказала я. — Но только если я тебе скажу что-то, чего ты знать не должна, тебя будут искать очень активно.

Роми нахмурилась, а потом махнула рукой.

— Да кому нужны твои тайны!

— Даже мне не нужны.

Мы засмеялись, и я сказала:

— Хочешь откуплюсь от тебя шоколадными конфетами?

Как только я встала, за окнами раздался салют. Я была далека от лестного предположения, что чествуют мой подвиг, но и правда пришла ко мне не сразу. Мы совсем потеряли счет времени, наступила полночь и чествовали кенига. Это будет длиться всю ночь.

— А почему ты не там? — спросила Роми. — Не то чтобы я хотела свалить от тебя раньше и все это время думала, когда ты уйдешь, но...

— Завтра важный день, — сказала я. — Я же тебе говорила.

В этом секрета не было, однако отчего-то я не имела права разглашать, что я изучаю политологию. Нортланд хранил свои тайны довольно абсурдным образом.

— Кроме того, Рейнхард не любит толпу.

— Ну да, ты же его нянька.

— Я его все.

Роми засмеялась, и я сама тоже улыбнулась.

— Ты моя королева пафоса.

Я сходила в комнату и проверила Рейнхарда. Салют интересовал его куда меньше, чем машинка. Он сидел в той же позе, что и вчера, что и каждый день. Я даже позавидовала такой определенности. Он не знал, что все заканчивается.

Я вернулась к Роми, и мы вышли на балкон. Мы стояли среди моих комнатных роз и смотрели на город. Я жила на десятом этаже, не далеко от центра, так что Площадь Народа была видна нам с Роми очень хорошо. Людей было много, целый разбитый муравейник.

Вырванные из своей повседневности и сложенные в толпу, люди вздымали руки, когда раздавался залп салюта. Океан покорности.

Мы с Роми смотрели на них, две женщины, чье единственное преимущество — неприсутствие там. Роми молчала, и я молчала. А потом я увидела огонь. Дагаз, состоявший из точек-факелов, казался мне клеймом на теле толпы. Он двигался, волновался вместе с людьми. Рекламные щиты вдруг отразили Себастьяна Зауэра, голос кенига. И хотя этот голос долетал до меня в стабильной, искусственной громкости, я вдруг осознала, что не понимаю слов. Мне стало будто бы душно, толпа освещенная огнем, освещенная неоном, огороженная небоскребами, отмеченная дагазом, стала вдруг для меня притягательной, первобытной темнотой. Мне захотелось быть там, в жаре и дыхании людей, среди рекламы, стекла и металла, среди огня, вскинутых рук и экстаза, в этой смеси первобытного и технически совершенного было сладострастие, которое настраивало мой разум на чуждую волну. Два огня — пламя и неон, и люди, которые пришли туда не потому, что любят Нортланд, а за покорностью ему.

Потому что в этом было нечто расчеловечивающее до предела, от индивида до организма, от организма до клетки в нем. Почти сексуально будоражащее ощущение страха перед наказанием, общность и обнаженность, огни цивилизации, сходящиеся друг с другом.

Я зажмурилась и потеряла виски. Роми смотрела на далекую площадь долго, дольше меня. Зрачки ее были сильно расширены даже для ночного времени. Расширенные зрачки, подумала я, признак возбуждения.

Мы вернулись в комнату, тяжело вздохнули, словно все это время давила на нас толща воды. Я включила телевизор, сама того не ожидая.

Мы сели прямо на пол и стали смотреть. Все каналы были одержимы одним и тем же. Экран глотал экраны, с которых лилось изображение. Медийная спираль, чем больше экранов, тем более опосредованное складывается впечатление, и вот уже даже не ясно, лгут тебе или нет. Какая разница, если это просто картинка?

Себастьян Зауэр был идеальным человеком. Я не знала, был ли он искусственным. Вполне возможно, что не был. Безусловно, актер он был хороший, а красота его не вызывала желание разве что в стариках и старушках. Он был человек из расколотых воспоминаний прошлого, из наших сокровищ, из того немногого, что было до Нортланда — не то святой, не то какой-то из безымянных ныне королей. У него был томный взгляд и пухлые губы. Он не был мужественным. Себастьян Зауэр был символом сексуальности и красоты, в общем-то не касавшимся вопросов пола и ориентации.

Он вызывал желание безликое и далекое, нечто подобное посещало меня, когда я впервые оказалась в музее, и мне захотелось украсть одну из картин, на которой была изображена женщина в блестящем от дождя, как от слез, саду.

Себастьян был своего рода искусством, и в его прекрасный рот вкладывал свои слова наш кениг. Иногда я сомневалась, есть ли он на свете. Мы никогда его не видели. Раньше его скрывал отец, который направлял нас прежде, затем он скрывал себя сам.

Некоторые даже считали, что Себастьян и есть кениг, но это была, конечно, глупость. Себастьян рекламировал кенига.

Роми уселась поближе к телевизору, склонилась к нему и коснулась губами изображения Себастьяна, когда камера взяла крупный план.

— Думаю, Себби Зауэр любит меня.

— Себби?

— Ага. Один раз я видела его в толпе. Он смотрел прямо на меня.

Роми мечтательно улыбнулась, потом сказала:

— Я уверена, что он запомнил меня.

И я видела — это правда, в том смысле, что Роми совершенно не сомневалась в себе. Забавно, подумала я, что Роми, выбравшая жизнь крысы, была по-девичьи влюблена в Себастьяна. Она даже говорила, что собирает с ним календарики. Учитывая ее вечное отчаянное положение, они должны были стоять для нее необычайно дорого.

— Он тогда улыбнулся мне, — продолжила Роми.

— Я помню эту историю.

— То было в Ратингене.

— Ага, я знаю.

— На параде.

— Да, помню.

— Он понял, что я девчонка.

— Непременно.

— И улыбнулся мне.

Я сделала звук погромче, а Роми еще раз припечатала поцелуем губы Себастьяна Зауэра.

— О, Себби!

Себастьян улыбался так, что даже у меня закрались подозрения, что он говорит со мной лично. В то же время сам Себастьян ни с кем не говорил. Речь принадлежала кенигу, и Себастьян передавал ее не от третьего лица, а словно бы кениг управлял им, как чревовещатель куклой.

— Мой Нортланд, когда я вижу, как ты приветствуешь меня, я чувствую гордость.

Я нахмурилась. Разве Нортланд — это мы? Но вспомнив те минуты на балконе, я поняла — да, да, мы. Станные, разобранные на части существа, составляющие Нортланд.

— С каждым годом я вижу, как меняется наша жизнь. Могли ли мы помыслить о технологической революции, которую совершили наши доблестные ученые. Могли ли мы помыслить о достатке, которого достигнем? Наш народ остался после опустошающей войны, на всей земле единственные, мы оказались достойны. Поколение за поколением терпело лишения ради нас, ради того, чтобы мы жили в комфорте и достатке. Я — лишь звено в цепи поколений, и я признаю, что могу сделать только пару шагов к будущему нашего великого народа, и дорога мне выпала намного более легкая, чем моим великим предкам. Они шли сквозь тернии, я же иду по тропе. И пусть наша с вами жизнь — лишь несколько мгновений по сравнению с тем, сколько отмерено Нортланду, мы сделаем все, чтобы оставить нашим детям и внукам лучший мир. Тропа, по которой идем мы, превратится в проторенную дорогу, а через несколько поколений станет магистралью...

Я вдруг выключила телевизор, и красную кнопку нажала с таким остервенением, словно в речи упомянули Эрику Байер, смертельно ее оскорбив.

— Эй! Себби!

— Дрянь какая, — сказала я, разозлившись. В прекрасной, блестящей обертке по имени Себастьян Зауэр, нам скормили очередную медийную сказку о жизни для Нортланда, питающегося своими детьми. От лицемерия сводило зубы, как от излишней сладости.

— Верни Себби!

— Только без слов, — сказала я. Снова включив телевизор, я вдавила кнопку отключения звука, и теперь Себастьян Зауэр представлял собой исключительно красивое

зрелище, безо всякой примеси склизкого отворачивания.

— Что думаешь? — спросила я у Роми. Она снова поцеловала экран.

— Прекрати, тебя током ударит.

Роми вдруг повернулась, ее светлые глаза чуть грязноватого, как вода в аквариуме, цвета показались мне еще более странными, чем обычно. Взгляд Роми вонзился куда-то мне в шею, и она задумчиво сказала:

— Знаешь, что? Я почти уверена, что земля полая.

— Что за глупости?

— А что бы нет? Ты лично проверяла, какая она?

На это мне было нечего ответить. Я даже не могла доказать, что она круглая. И вообще-то довольно фантастично предположение, что мы дрейфуем в бесконечном, темном пространстве на небольшом, в этих масштабах, шарике. Жаль, у нас не было астрономии. Интересно, нужны ли солдаты-астрономы? Я могла доказать только что-то, с чем была знакома, но на таких основаниях науку не построишь.

— Ладно, не проверяла.

— Твое знание о мире строится на авторитетах.

— А твое на буклетах, которые оставляют в отеле.

— Слушай, Эрика, серьезно. Я почти уверена, что мы живем во внутренней части земли. К примеру, почему мы не хотим летать на космических кораблях? Мы же великий Нортланд.

— Мобилизационное, параноидальное общество поддерживается экспансией и тотальной войной, а не великими гуманитарными достижениями.

— Точно. Ну или как-то так. Но нам больше не с кем воевать. Но почему-то мы не хотим воевать в космосе.

— Потому что это глупо, Роми. Там никого нет.

— Ну, можно было проверить.

— У тебя дурацкие аргументы.

Роми выставила указательный палец, ткнула им куда-то вверх.

— Моя теория, короче, состоит в том, что мы живем внутри земли, а не снаружи. Я думаю, что небо не настоящее. Снаружи тоже живут люди. Мы от них прячемся. Или они нами управляют. Возможно, мы просто полигон для испытаний методов контроля населения.

Я засмеялась.

— Последнее похоже на правду.

Роми еще в школе увлекалась теориями заговоров, к примеру, она верила, что правительство фторирует воду, чтобы добиться от нас покорности. Или в то, что кениг на самом деле неудавшийся продукт генетического эксперимента, поэтому и не показывается. Но теория про то, что мы живем внутри земли была, пожалуй, самой странной.

— Вот смотри, как раньше было много стран.

— Мы точно не знаем, сколько.

— И что ни человека не осталось, мы что все народы уничтожили?

— Их остатки ассимилировались с нами.

Разговор становился все более абсурдным, и в то же время моя позиция стала казаться мне шаткой, как это часто бывает при попытках отрицать что-то настолько далекое от реальности.

— Все, Роми, — сказала я. — То, что не может быть опровергнуто, это вопрос веры, а

не знания. Фальсифицируемость — признак науки.

— Ох, какие мы умные стали.

— И как ты предлагаешь проверять твою теорию?

Роми почесала бровь.

— Не знаю. Кидать камни в небо.

Мы обе засмеялись, и напряжение каким-то образом исчезло мгновенно.

Роми покинула меня после двух часов ночи, сказала это лучшее время, но для чего — умолчала. Это было мудро. Я дала ей с собой еды, мыла и сигарет, сказала возвращаться еще и не попадать в беду.

Как только дверь за ней закрылась, я подумала, что не увижу ее еще очень долго. В связи с этим нахлынули и ожидания от завтрашнего дня. Я пришла к Рейнхарду, постояла в дверях и подумала, что это был наш последний вечер вместе. Хотя мы вряд ли провели бы его каким-то отдельным от череды одинаковых вечеров образом.

Рейнхард не спал, и я сказала:

— Отдохни, пожалуйста. Тебе завтра предстоит сложный день. А потом все дни станут сложными.

Он посмотрел куда-то сквозь меня — у него был особый взгляд, даже если он касался меня, я никогда не была объектом видения. По крайней мере, так казалось. Он фокусировался на людях не больше, чем на предметах. И о чем тут жалеть? По чему скучать? И как так могло случиться, что мне защемило сердце при взгляде на него?

Я еще посидела с ним, рассматривая Рейнхарда, запоминая.

— Хорошо, не буду тебя беспокоить. Сегодня вся страна не спит. Может, тебе мешает шум?

Я прошла мимо него и закрыла ему окно, а дверь оставила открытой, чтобы Рейнхарду не было жарко.

Приняв душ и переодевшись в ночную рубашку, я легла в кровать и почувствовала, что читать мне не хочется. Завтра и Маркус Ашенбах изменится, может быть даже более радикально, чем при прощании с частью мозговых тканей.

Я выключила свет и легла спать. Рейнхард пришел через полчаса, когда я все еще не могла заснуть. Мне все время было душно, так что балкон я закрыть не могла, а люди снаружи шумели, как особенные, всемогущие и неутомимые версии себя. Завтра все они будут глотать кофе на работе и сожалеть. Но сейчас толпа бесновалась совершенно дионисийским образом.

Он лег под мое одеяло, невесомый, неслышный, как кот. Мы периодически спали вместе, но никогда не касались друг друга — одеяло было достаточно большим, а кровать просторной. А тут я вдруг нарушила правило и повернулась к нему.

— Рейнхард, мы завтра больше не увидимся.

Он лежал на спине и смотрел в потолок, безответный, как в гробу.

— Может, никогда-никогда. Наверное, ты будешь при большой власти. Если все пройдет хорошо, я не встречу тебя на улице. У тебя в руках будут капиталы, компании. А может они сделают тебя генералом? Кем ты станешь?

Он не двигался, даже глаза замерли. Но мне вдруг показалось, он слушает меня.

— Я очень привязалась к тебе. Я не думала, что смогу привязаться так к мужчине. Что, конечно, характеризует меня как психологически неразвитую, инфантильную женщину с травмой по поводу отца. Я благодарна тебе за все, что ты мне дал.

Рейнхард вдруг повернулся ко мне. Взгляд его устремился куда-то за окно, где неон и пламя сливались друг с другом, и небо становилось светло-фиолетовым.

— Завтра мы с тобой так искреннее не поговорим. Будет Карл, он все испортит. Ну, знаешь, как всегда.

Я опять не заметила, что плачу. Пора было пить успокоительное и примириться с мирозданием, но все это было мне боязно.

— Я желаю тебе удачи. Научись делать все, что хочешь, не нарушая предзаданных координат. Это кажется невозможным, но вполне реально. Думаю, ты справишься лучше меня. И можно я тебя обниму?

Он, конечно, не ответил, а я его все равно обняла. Рейнхард не отстранился. К моим прикосновениям он уже привык, но мы никогда не были так близко. Я услышала биение его сердца в груди, и дыхание его стало ощутимым. Он не обнял меня в ответ, но дал побыть рядом. От него исходило человеческое тепло, которое было мне очень нужно и дорого.

В конце концов, я перевернулась на другой бок, решив оставить его в покое. Мне стало очень спокойно, и я ненадолго заснула. Проснувшись я от непривычного ощущения его дыхания на своей шее. Еще не вполне оправившись ото сна я ощутила еще несколько вещей: нарастающие крики — финальная часть парада, шествие с огнями, поджигающее рассвет, биение сердца Рейнхарда — куда менее спокойное, чем я слышала до этого, и его возбуждение.

Я не знала, каким образом он справлялся с подобными, вполне естественными, впрочем, импульсами и бывали ли они у него прежде вообще, но все это никогда не касалось меня. О, пожалуй эта мысль претендовала на лучшую игру слов в моей голове за последнее время.

Или худшую, смотря любят ли судьи пошлую безвкусицу. Я занервничала, мне стало стыдно, и я даже не решалась посмотреть, спит ли он.

— Рейнхард, — прошептала я, хотя от этого было, как и всегда, мало толку. Удивительно, но паника меня не накрыла, хотя комфортной эту ситуацию назвать было сложно. В ней имелось нечто сверх неловкости. Какая-то не то инцестуальная, не то почти зоофилическая порочность. Я замерла, сердце мое билось так, что выплюнуть его на подушку казалось приятной перспективой.

Наверное, он почувствовал нечто такое, когда я обняла его — физиологическая реакция мужчины на близость с женщиной. Я не привыкла так о нем думать и только теперь поняла, что обнимать его, когда мы в одной постели, возможно было не лучшим решением.

Хотя откуда ему было знать о том, для чего мужчина и женщина ложатся в постель?

Рейнхард неожиданно ткнулся носом мне в затылок, в этом движении было нечто животное. Нос у него был холодный. Он не умел целоваться, но я вдруг подумала, что это могло бы быть поцелуем, инстинктивной попыткой выдумать что-то подобное заново.

Я была теплой и приятно пахла (по крайней мере, у меня были надежды на это, раз уж я соблюдала все правила гигиены), может этого ему было достаточно, чтобы найти меня привлекательной в физическом смысле. Он вдруг двинулся мне навстречу, и я сильнее почувствовала его. Непроизвольно я громко выдохнула, нарушая собственное решение сделать вид, что ничего не происходит. Он двигался, еще толком не понимая, чего хочет, просто оттого, что это было приятно. В этом было нечто особенно волнующее, словно мы с ним заново открывали секс.

Я не могла понять, хочу я оказаться далеко от него или нет. Я чувствовала его дыхание

на своей шее, прерывистое, возбужденное. За окном кричали, славили Нортланд, но кроме этого слова я не слышала ничего, все остальное слилось в первобытный рык и пламя.

Все стало вдруг первобытным. Я сама ощущала возбуждение, постыдное, вызванное не тем, кем Рейнхарду предстоит стать, а тем, кто он есть сейчас. Я чувствовала себя влажной, грязной, и все стало туманным, словно бы я опьянела. Я и сама не поняла, когда именно начала отвечать на его движения. Мне было приятно как-то за пределами меня самой, за пределами того, что я о себе знала.

Крики за окном, возбуждение, его дыхание и ощущение его в такой близости слились для меня в единое, странное, надличностное ощущение. Я не знала, было ли что-то такое у других женщин с их подопечными. Происходящее казалось мне одновременно неестественным и притягательным. Я боялась и одновременно хотела, чтобы он завершил все это тем или иным способом.

Я не думала, что он вполне осознает, что делает, и это одновременно пугало и притягивало меня. В отсутствии разума у человека остаются инстинкты, и во мне теплился почти детский интерес, я хотела узнать, как далеко он может зайти со мной.

Я не чувствовала, что мы делаем это, он делал нечто со мной, и я что-то с собой делала. В голове бился Нортланд. Нортланд делает что-то с нами, и мы с собой что-то делаем, чтобы быть готовыми для него.

Мои сравнения из дешевого политизированного порно (каким, стоило отметить, и стала в этот момент моя жизнь), прервал Рейнхард. Он вдруг перехватил меня за живот, притянул к себе ближе, задрал на мне ночную рубашку. Даже такой иллюзорной преграды как ткань между нами не осталось. Он сильнее прижался ко мне, и я почувствовала укус — не болезненный, почти приятный. Мне стало стыдно от того, что теперь он чувствовал, какая я влажная, хотя, откровенно говоря, стыд подразумевает, что у всех участников неловкой ситуации ясное сознание. Я не могла сказать это ни о ком из нас: ни о себе, ни о нем, ни о целой стране сегодня.

Он держал меня крепко, от этого внизу живота горело и тянуло, было почти больно. Я подумала, что пожалею об этом сильно-сильно. Он был готов, и я была готова, и теперь мы чувствовали друг друга слишком хорошо, даже не было страшно, как перед операцией, когда уже подали наркоз. Тоже забавное сравнение, я надеялась, что они кончатся. Я надеялась, что мне никогда не придется думать об этических нюансах подобного поступка.

Я застонала, когда он заставил меня податься к нему, и я почувствовала его член, коснувшийся меня почти у входа. Все мое тело желало его проникновения, и Рейнхард чувствовал, что именно это принесет настоящее удовольствие, мы оба достигли высшей точки возбуждения, за которой обрыв, бездна. Он был твердый и такой горячий, мне казалось, что тело мое нуждалось в нем. Но когда я ощутила, что он войдет в меня прямо сейчас, волна страха поднялась в груди. Крики за окном стали нестерпимыми, и я почувствовала запах пламени.

— Рейнхард!

От неожиданности он ослабил хватку, и я вырвалась. Я даже не посмотрела на него, рванула в ванную так, словно от этого зависела моя жизнь, закрыла дверь. Я стянула с себя рубашку и залезла в ванную. Я не знала, сколько все это длилось. Возможно, очень недолго. Время стало пружинкой, на которую я наступила, и теперь она резко разжалась, так что секунды плясали у меня в висках. Я включила воду и взяла сигареты, оставленные Роми.

Закурив, я выпустила дым к потолку. Пульсация внизу живота постепенно стихала,

словно бы поднималась к груди. И я засмеялась до невозможности громко. Весь вечер сложился для меня в сюрреалистическую картину: приезд Роми, ее теория о поллой земле и поцелуи, адресованные экрану моего телевизора, и то, что меня почти поймел слабоумный, пока мои любимые, дорогие мои соотечественники шагали с факелами сквозь Хильдесхайм, опьяненный рассветом.

Слава кенигу, с днем рожденья кенига! Слава садомазохистическому конформизму слабых, слава сильным, сбежавшим из системы.

Всем слава!

Я взяла бутылку и залпом выпила оставленное Роми вино. Вкусным оно не оказалось.

Глава 4. Одномерный человек

Так что, в конечном счете я не проспала ни минуты, как и миллионы моих соотечественников, отправившихся после постыдной политической оргии на работу. Моя ночь была проведена не менее грязным образом, чем чествование людоедского Нортланда.

Я посмотрела на себя в зеркало, оценила изменившийся тон синяков под глазами — цвет стал почти красивым, ударился в легкую, цветочную лиловость.

Сколько из них, подумала я, жалеют об этом сегодня? А сколько уверены в том, что кениг говорит правду, и все мы плывем на этом корабле под названием Нортланд в будущее, откуда все равно нет возврата.

Сколько людей идут на работу счастливыми, не думая о том, в кого мы все превратились?

Надо признать, недовольство социальными порядками и падение нравов помогли мне несколько возвысить себя над толпой и тем самым суметь выйти из ванной.

Я заглянула в комнату. Рейнхард еще спал, и я не стала ему мешать. В конце концов, это было последнее безмятежное, лишённое обычных человеческих забот утро в его жизни. При взгляде на него я познала глубины стыда, о которых прежде не подозревала. И дело здесь было не в ситуации, которая случилось со мной, а в том, как я поступила с ним. Я почувствовала себя мерзкой предательницей, словно бы в чем-то обманула его доверие.

Мне стало от себя так противно, что оставалось только готовить завтрак, чтобы в процессе соприкосновения с запахами и вкусами еды вовлечься в приятное, повседневное забытие.

Я щедро заправила омлет томатным соусом, подумав, что Рейнхарду будет приятно. Глаза щипало от недосыпа, но запах крепко заваренного кофе возвращал меня к жизни. Изредка я сверялась с круглыми часами над столом, в центре циферблата которых сверкал дагаз, разбавляя минимализм и строгость позолотой. Мы никуда не опаздывали, я даже могла позволить себе получасовой сон, однако несмотря на хрупкость утра после бессонной ночи, я не чувствовала себя способной отдохнуть.

Накрыв стол для нас с Рейнхардом, я пришла к нему.

— Рейнхард, — позвала я. Он всегда реагировал скорее на звук, чем на имя. Я смотрела на него, а он нахмурился, перевернулся на другой бок, затем, когда я позвала еще раз, открыл глаза, ища источник звука.

— Доброе утро, — сказала я. — Пойдем завтракать.

Я ушла на кухню, но он за мной не пошел. Однако через некоторое время снизошел почтить меня своим присутствием, ровно в ту минуту, когда мы начинали завтрак обычно.

— У тебя потрясающие биологические часы, — сказала я. Он сел за стол и взял вилку со странной, не то забавной, не то жутковатой неловкостью, присущей ему в обращении с предметами. Разговор у нас, конечно, не клеился, и все же я подумала, что не представляю себе, как буду без него. С Рейнхардом никогда не было одиноко, он был живым и важным.

Впрочем, через месяц мне дадут еще одного подопечного, с ним дело пойдет быстрее. Снова и снова, пока я не умру, они будут сменяться в моей жизни.

Отчего-то эта мысль, которая должна была успокоить меня своей монотонностью, принесла одно расстройство. Есть, кроме того, не хотелось. Я пила кофе и смотрела на часы.

А теперь, Эрика, сделай что-нибудь, что поможет тебе превратить свое существование в менее бессмысленную субстанцию, скомандовала я себе.

И вдруг сказала:

— Прости меня.

Рейнхард скреб вилкой по тарелке, вырывая из фарфора тоскливейший звук. Я пододвинула ему свою порцию, и он принял ее. Если бы только он мог так же легко принять мои извинения. Мне казалось, что вместо меня говорил хорошо подслащенный кофе, единственный источник жизни в моем теле.

— Я не должна была так обращаться с тобой. Ты хороший, ты человек, ты очень важный. Все это было неправильно. Прости.

Он встал из-за стола и пошел в ванную. Стоило ли воспринимать это как горделивый отказ? У меня не было никаких доказательств того, что мои извинения швырнули мне в лицо, однако я превентивно осудила себя за неверно подобранные слова. Вернее, не за слова. Карл мог сколько угодно называть Рейнхарда овощем и упрекать меня в том, что я слишком с ним ношусь. Но я знала, что он понимает больше, чем всем, даже мне самой, кажется. Каким-то невообразимым, чуждым мне образом, какими-то одному ему известными способами, но понимает.

Сегодня утром все мои сомнения развеялись, это был человек, и у него нельзя было отнять этой человечности. Последнее утверждение оказалось трагической опечаткой мышления, потому как именно этим я планировала заняться сегодня.

Крошка Эрика Байер, какие планы на день? Да так, выпить кофе, поболтать о том, о сем, а потом мимоходом лишить человека возможности выбора.

Но дать ему другие возможности, бесконечное море шансов. Может, не так уж ты и плоха, крошка Эрика Байер?

Рейнхард собрался сам и выглядел вполне аккуратно, а может я убедила себя в этом, потому что смушалась прикасаться к нему. Солнце вышло из-за туч с намерением разогнать мою тоску, и я это оценила. Мы шли непривычной дорогой, в сторону от кампусов, и я говорила Рейнхарду:

— Ничего не бойся. Все пройдет быстро, и уже через пару часов ты сможешь различать слова, они будут иметь для тебя смысл. Ты узнаешь, как «солнце», — я указала рукой на круглый, лучистый шар над нами. — Соответствует вот чему. Ты его видел каждый день, а теперь узнаешь, что это и есть — солнце. Разве не здорово?

Я не знала, сумеет ли он оценить это знание. Тут и там, сквозь каждую мою мысль, сочилось сомнение в том, что я поступаю правильно. Мне казалось, я вот-вот покалечу его.

Мы шли к Последнему Зданию. Так его все и называли, словно бы с торжествующей заглавной буквой в начале каждого слова. На самом деле это была небольшая пристройка к медицинскому корпусу, кипельно-белая и завершающая архитектурный ансамбль нашего скромного студенческого городка.

Ничего примечательного в нем не было, никого торжества разума над тьмой органических поражений. Тут был цех, вот и все. Аккуратные клумбы с пыльными цветочками придавали этому месту какой-то до нелепого обычный вид.

Лили и Ивонн со своими подопечными уже стояли у входа в здание. Мы все провели ночь без сна, и это нас вдруг сравняло, словно одинаковый тон синяков под глазами сгладил разность наших судеб и интересов. Мы неожиданно обнялись, словно бы не виделись очень долго.

— Карла еще нет, он должен был быть здесь заранее. Я так волнуюсь, — прошептала Лили. — Что будет, если у меня не получится?

— У тебя все получится, Лили, — сказал Маркус. — А что ты будешь делать?

— Я же тебе объясняла.

— А. Я забыл.

Ханс сидел на крыльце, он смотрел вверх, на солнце, и это явно доставляло ему удовольствие. Все же им будет лучше, когда они обретут разум.

— Ты придумала, как заставить его полюбить Бетховена? — спросила я.

— Я попытаюсь, — ответила Ивонн. Она выглядела такой самоуверенной, что я не сомневалась — все неправда, она боится.

— Так, — сказала Лили. — Мы хорошо учились.

— Да, — ответила я. — К примеру, я прекрасно ознакомлена со всеми стадиями трансформационного кризиса в поздних феодальных обществах. Но это вряд ли нам поможет, если только мы не ожидаем восстаний вольных городов.

— Ты все видишь в негативном свете.

— Нет, я верю, что отказ от феодализма, в конце концов, привел общество к закономерному росту национального сознания и возникновению полноценных централизованных государств.

— Эрика!

— Когда я волнуюсь, я часто говорю чушь. Прошу прощения.

— Так-то, — сказала Ивонн, но я не удержалась:

— Хотя это не чушь, а вполне правомочное рассуждение. Так как вся ответственность западной цивилизации за свой исторический путь лежит теперь только на нас, думаю...

— Никому не интересно, что ты думаешь, — сказал Карл. И хотя тон у него был вполне обычный, я вдруг поняла, что он невероятно зол. Столкнувшись с ним взглядом, я увидела, что Карл больше обычного побледнел и зубы сцепил так, что будь он персонажем мультфильма, они пошли бы трещинами.

— Забыли про своего четвертого? — спросил Карл. Я и вправду не вспомнила про Отто. Он был тихий, незаметный мальчик, больше всего, судя по его повадкам, мечтавший вовсе не существовать. Иногда он разговаривал с нами, но всякий раз реплики его оказывались удивительно неподходящими ситуации. На его фоне я даже выигрывала пару очков в обаянии. Я его не боялась, в нем не было присущей мужчинам грубой воли. Отто мне почти нравился, но в нем не хватало материального присутствия, желания как-то занять собой пространство, чтобы мы подружились.

— А мы должны были привести его сюда сами? — спросила Ивонн, она бросила эту фразу легко, как одну из безобидных колкостей, вызывавших у Карла оскал, так и не оканчивавшийся вспышкой ярости. Ивонн любила подразнить его с азартом девчонки, возящей палкой по забору, слушая, как надрывается за ним собака. И вдруг этот пес сорвался с цепи. Карл схватил Ивонн за воротник.

— Еще одно слово, Лихте, и я испорчу тебе праздничное настроение.

Ивонн моргнула, затем улыбнулась ему широко и обезоруживающе.

— Простите, пожалуйста, куратор Вольф. Я не хотела.

Он грубо оттолкнул ее, рывкнул нам:

— Ждите здесь.

У нас, в принципе, других планов не было, и мы втроем почти одновременно, как

смешные игрушки, кивнули. Карл, проходя по дорожке, сплюнул в клумбу, а затем вдруг прибавил шагу, и я поняла — проблемы у него, а не у нас.

Он не мог найти Отто. Маркус срывал завязи яблок, Рейнхард ходил туда и обратно по дорожке, а Ханс привычным образом считал. Мы слушали его голос и смотрели туда, где Карла уже не было.

— Знаете, — сказала Лили. — Это как с выпускным. Не так я представляла себе этот день.

— Да, — сказала Ивонн. — Или как с потерей девственности.

— У меня лично так получилось с жизнью в целом.

Мы не были подругами, но сейчас вдруг почувствовали, что одни друг у друга на свете. Мои самые близкие люди — мама и Роми, не поняли бы моих волнений сегодня. Нам не нужно было говорить, мы просто были друг у друга, и это было хорошее, стоящее чувство.

Мы курили сигареты под яблонями и любовались на клубы (безрадостные, надо сказать), а Карл все не приходил, и Отто тоже не было. Мы давно должны были начать, стрелки переметнулись через "стоило бы поторопиться" на "слишком поздно". Когда Карл появился один, мы втроем встали, отшатнулись к двери.

— Чего уставились? — рявкнул он. — Надеюсь, придурок повесился.

— А где Густав? — спросила Лили.

— В квартире, один, — сказал Карл задумчиво, а затем добавил:

— Но я посоветовался с начальством.

Нервы его были так напряжены, что, казалось, еще секунда, и он начнет стрелять или упадет замертво. Мне больше понравился бы второй вариант.

— Но будет первый, — сказал Карл вслух. Обычно он комментировал мои мысли в пределах моей головы.

— Значит, их будет трое. Приказ кенига, медлить мы не будем, — сказал Карл, словно бы самому себе. Он прошел к двери, оттолкнув Ханса, и ввел кодовый номер, которого мы не знали.

Внутри все оказалось стерильно-белым, как я, впрочем, и ожидала. Это было подобие изолятора. Единственными причинами не считать, что я потеряла способность воспринимать цвета, оказались знамена в коридоре.

— Девочки налево, мальчики направо.

— Уже? — спросила я.

— Скоро встретитесь.

Мы пошли с Карлом, а Рейнхарда, Маркуса и Ханса увели двое врачей, одного из них я знала по медицинскому корпусу, лицо другого показалось мне неприятным, и я совершенно точно его не помнила. Рейнхард некоторое время упирался, и сдвинуть его с места врачам было довольно сложно. Конец этой операции я уже не увидела, потому как Карл затолкал нас в кабинет и закрыл за нами дверь.

— Раздевайтесь.

— Это ужасная шутка даже для тебя, — сказала Лили.

— Нет, я серьезно. Раздевайтесь.

Мы медлили, хотя тон его не предполагал возможности отказаться. Карл мотнул головой, затем сказал:

— Это часть процесса.

Процесса унижения и дегуманизации, к примеру. Карл издал нечто вроде рыка, затем

подскочил ко мне и принялся, почти вырывая пуговицы, расстегивать мой пиджак. Я заверещала, и он позволил мне отскочить.

— Так-то. Лучше давайте сами. Обожаю свою работу.

Но нет, свою работу он в тот момент ненавидел. Он крупно просчитался, он не контролировал Отто. Карл посмотрел на меня, и мысли из головы вымыло. Мы начали раздеваться.

Кабинет был похож скорее на комнату ожидания. Четыре кресла, пустое пространство середине. Правда, столика с журналами не предусмотрели. Мы разошлись к креслам, и я порадовалась, что одно из них пусто, что Отто не было. Если, к примеру, считать или сосредоточиться на физических ощущениях, то раздеваться вовсе не так отвратительно.

Раз, два, три. На пляже ведь люди это делают. Четыре, пять, шесть. Вообще-то все люди раздеваются, без исключения. Семь, восемь, девять. Обычно, правда, в одиночестве. Десять, одиннадцать, двенадцать. Интересно, как там Ханс? Скоро научится считать до сколько только захочет.

Я села в кресло и прикрылась пиджаком. Лили обняла колени и смотрела в потолок, изображая задумчивость. Ивонн стояла, облокотившись на спинку кресла, совершенно себя не стесняясь. Тело ее было прекрасно, но еще прекраснее было умение не придавать значения обнаженности.

— Отлично, — сказал Карл. — Обнаженный человек незащищен, открыт. Хочешь сломать защитные механизмы даже самой крепкой психики — для начала заставь человека раздеться. Особенно это актуально для дам. Чувствуете себя беспомощными?

Он был прав. Мы чувствовали, даже Ивонн, хотя она прекрасно умела делать вид, что это вовсе не так. Было стыдно, противно, и в то же время как-то отупляюще пусто. Я закрыла глаза и почувствовала себя в невесомости.

Так и нужно, сказал Карл у меня в голове, постарайся расслабиться. У тебя это почти получилось, когда тебя чуть не трахнул умственно отсталый.

На этот раз Карл говорил мерзости не из любви к искусству, я чувствовала, что у этого была какая-то цель. Он прошелся мимо нас, вырвал у меня пиджак. Я не решалась открыть глаза.

— Я установлю между вами связь, — сказал он. — Но на самом деле я соединю их. До этого мы только тренировались. Сейчас все будет по-настоящему.

В голосе его была хвастливая радость, показавшаяся мне даже очаровательной. Я подумала: надо же, мы целый год готовились к этому событию, и в то же время ничего не знали о нем. Другие девушки, уже создававшие солдат, ничего не рассказывали о том, как это на самом деле случается. Я предугадывала и грядущую беседу с Карлом на тему неразглашения ценных сведений. И все же почему бы не позволить нам быть готовыми к тому, что произойдет?

А через секунду мне уже не нужно было ничего объяснять.

Это было как удар, как приступ удушья в полусне, как страшная новость, врывающаяся в твою жизнь с телефонным звонком, как высота, которой невозможно не бояться.

И в то же время это было прекрасно, потому как уничтожало, разбивало, раскалывало детское, мучительное ощущение покинутости, которые все мы храним с тех пор, как узнаем, что мы — не мать, и не отец, и не другие любимые и любящие люди.

Мы — это просто мы, ничего больше.

Но я больше не была только собой. У меня были и другие имена. Ивонн Лихте, Лили

Бреннер, Эрика Байер. Три разные женщины, но уже спустя секунду я не помнила точно, какая из них я.

В моей тетради друг от друга спускались вниз, как капли, числа. Факторизация, думала я, она так помогает расслабиться. От семизначных чисел вниз можно было нисходить часами, если только не пользоваться калькулятором. А калькулятор — это жульничество, как и румяна на бледных щеках. Но второе мне, конечно, нравилось.

Мне нравились тяжелые сладкие запахи и медленный секс, я любила мужчин, но больше них — их взгляды. Мне нравилось, когда они смотрели на меня. Я бы с радостью оказалась сейчас на сцене. И я бы охотно выпила маргариту, а потом легла бы в постель с первым, от кого приятно пахло бы.

Я была маленькой девочкой, и мама любила меня.

Мама ненавидела меня, она бы с радостью вышвырнула меня из дома.

У меня была собака. У меня никого не было. Розовый цвет, нет, красный.

О, все это просто очаровательно. Значит, вы это я?

Пожалуйста, помолчи, я пытаюсь сосредоточиться.

Я попыталась открыть глаза, не вполне уверенная в том, где я, и окончательно запутавшаяся в более важном бытийном вопросе. Меня не было, но я была три раза подряд. Я открыла глаза, но темнота не исчезла. Мы стояли в ней, посреди пустого, необжитого еще сознания. Оно было как наш общий, только что построенный, дом, в нем не осталось ни одной нашей вещи. Наконец, я вполне осознала, что я — Эрика Байер, таково мое имя и такова моя судьба. Передо мной стояли Лили и Ивонн. В обнаженной темноте мы тоже были обнаженными, смотрели друг на друга, пытаясь сжиться с невероятной близостью, которую получили.

Мне не нужно было говорить. Им не нужно было отвечать. Я чувствовала их страх, незащитное желание проснуться, злость на Карла и понимание, что даже если бы кто-то сказал нам, что будет, мы не были бы готовы. Откровение, которое мы получили, изменяло нас. Всю жизнь я была тайно убеждена, что полноценное существование — лишь моя привилегия, все остальные чувствуют как-то по-иному, устроены легче.

Теперь я ощущала внутренние движения душ двух непохожих на меня женщин, и как же значимы они были. Это было счастье и невыразимая боль — настолько познать кого-то.

Я могла воспроизвести мельчайшие детали — липкое желание Ивонн оказаться в ванной, острые воспоминания Лили о матери и маленьком брате. Я не была уверена, что выдержу эту концентрацию жизни сколь-нибудь долго и не сойду с ума.

Ощувив запах нашатыря, я с радостью ухватилась за реальность. Я лежала на белом полу, надо мной был такой же белый потолок. Только чья голова так болела, моя или Лили? Кто ударился, упав с кресла?

Я пошевелила рукой и увидела, что Ивонн с точностью повторила мое движение.

— Минут через пять станет легче. Почти и не заметите.

Я слабо представляла себе, как это откровение может закончиться когда-либо.

— Вы должны отдать это им. Вы должны все им отдать. Без остатка.

Мы одевались, Карл молчал, и только так мы могли понять, что нам позволено привести себя в порядок. Карикатурная мерзость происходящего начала меня забавлять. Я ничем не была лучше других, не свободнее, не умнее, не счастливее. Но критическая позиция по поводу мира вокруг давала мне шанс немного позабавиться с тем, что причинило бы мне боль.

Чувствуешь себя лучше других? Посчитай свои привилегии, пока твои пальцы считают пуговицы пиджака. Я старалась не думать об Отто, не думать ни о чем. В голове у меня звенели чужие мысли, они были как волны, и хотя я не различала их, мне казалось, если я прислушаюсь, то мне станет ясно все о Лили и Ивонн.

Я старалась не сосредотачиваться, быть так близко с другими людьми против их воли казалось мне почти изнасилованием. Гудение в голове чуть притихло, когда я застегнула последнюю пуговицу.

Интересно, подумала я, это эротическая фантазия Карла, или все же так делают всегда. Карл не обратил на мои мысли внимания, он смотрел в потолок, крепко о чем-то задумавшись. А потом вдруг шагнул к двери, открыл ее перед нами с клоунской обходительностью.

— На выход. Вы и так провалялись здесь два часа.

Два часа? Я поняла, что совершенно разучилась ощущать время. Мне казалось, я была вне сознания (словосочетание "без сознания" здесь никак не подходило) около пяти минут. Голова болела, наполненная чужими мыслями, как луг — пчелами. Фантазии о цветах и зелени в этой белизне стали почти невероятными. Мы вышли в коридор. Противоположная дверь была открыта, и я увидела Рейнхарда. Позади него стояли Маркус и Ханс, то ли ждали своей очереди, то ли для них все уже завершилось.

Комната, в которой были они, не сияла белизной. Алели знамена, свечи с высокими языками пламени чадили и плавил контуры пространства, на металлическом столе стояли серебряные кубки и лежали кинжалы — все блестящее, комично и угрожающе пафосное. Вместо портрета кенига на столе стояла фотография Себастьяна Зауэра, форма делала его еще красивее, статичный, замерший, он казался божеством.

Перед Рейнхардом стоял офицер. Он легко удерживал его на коленях, казалось только положив руку на его плечо. Нечеловеческая сила офицера и выражение его лица, в котором сквозило нечто чуждое, выдавали его искусственное происхождение.

Однажды этот гордый, властный человек сам, едва ли что-то понимая, стоял на коленях перед кем-то чужим и жутким. Бесконечная цепь поколений. Добро пожаловать в мир мужчин, Рейнхард, подумала я. Офицер взял один из кинжалов, я увидела на нем гравировку, но надписи не прочитала. Быть может, на лезвии были имена — кинжалов было четыре, каждому предназначался свой. Один, ненужный, лежал в стороне. Два были испачканы в чем-то темным, спустя секунду я узнала кровь и, мне показалось, ощутила ее запах.

— Рейнхард Герц, — сказал офицер. — Нортланд даст тебе разум в обмен на верность его вождям и идеалам. Нортланд даст тебе силу в обмен на право отдавать тебе приказы, которые ты будешь выполнять беспрекословно. Нортланд даст тебе право жить в обмен на пользу, которую ты принесешь.

Он ведь еще ничего еще не понимал. Логичнее было бы ставить его на колени перед соплеменниками после того, как мы закончим с ним. Но Нортланд никогда не откажется от пафосной церемонии и не отложит ее без веской причины.

Смотреть на это было неприятно. Они забирали Рейнхарда у меня. Больше ничей. Ничей сын, ничей брат, ничей подопечный. Собственность Нортланда. Общности с человечеством будет у него не больше, чем у пистолета, принадлежащего кенигу.

Офицер коснулся острием кинжала шеи Рейнхарда. В этом было нечто эротическое, темное и чувственное. Порез получился тончайшим, хирургически аккуратным. Святость крови в Нортланде замкнулась сама на себя, больше нет никакой другой крови, кроме нашей,

и мы купаемся в ней.

Лезвие пришлось по порезу, и кинжал присоединился к двум другим, испачканным, готовым. Словно сталь остудили. Я разозлилась на офицера, он причинял Рейнхарду боль. Однако, я оказалась к этому более чувствительна, чем сам Рейнхард. Он потер шею и посмотрел на руку, понюхал кровь.

Офицер вдруг схватил его за подбородок. Взяв со стола один из кубков, он стал поить Рейнхарда. Содержимое, вероятно, было красным, потому что Рейнхард не сопротивлялся.

Я подумала, что с кем-то более своевольным, к примеру с Маркусом, эта сцена могла быть комичной. Карл закрыл дверь, спросил:

— Насмотрелись?

Никто ему не ответил. Я почувствовала спазмы в глазах, коснулась своего лица, но слез не было. Обернувшись, я увидела, что плачет Лили. Мне стало ее жаль, но я, как никогда точно, знала, что не могу сказать ей ничего важного. Карл определил меня в первую из последующих комнат. Я помахала Лили и Ивонн, зашла в помещение, похожее на больничную палату, и услышала, как закрылась за мной дверь.

Здесь была белая, обитая кожей, койка, рядом с ней стояла капельница. Врач смотрел в окно, когда я поздоровалась с ним, он не ответил, указал на койку. Спектакль становился все более абсурдным, я чувствовала себя в каком-то ином мире, отражении того, в котором я жила до сих пор — похожем, но еще более интенсивном.

Я сняла пиджак, закатала рукав и легла на койку. Я не знала, могу ли я думать открыто, не читает ли врач моих мыслей. Карл был в этом плане меньшим злом. Я знала, о чем при нем размышлять позволительно, что он спускает нам, а за что наказывает.

Я могла позволить себе дерзость и даже смириться с наказанием. В случае же незнакомого человека, чей голос я даже не слышала, рисковать казалось глупой затеей. Я просто хотела, чтобы все закончилось — череда бессмысленных приготовлений к превращению гусеницы в бабочку. Метаморфозы насекомых, да, именно так, я все-таки не удержалась.

Врач подошел к стеклянному шкафу, взял антисептик и вату. Он некоторое время обрабатывал мне руку, движения его были безликими — не взволнованными, но и не уверенными, не осторожными и не грубыми. Так что, когда под кожу вошла игла, я почувствовала облегчение.

Раствор в капельнице был прозрачным, как и врач, он не имел каких-либо видимых свойств, и я не знала его названия. Надо же, единственное, что отличало меня от других, оставалось тайным. Что это был за препарат? Каково будет его действие? Он пробудит во мне что-то или, может быть, усыпит.

Я не знала ничего о том, кто я есть, как устроен мой мозг и из чего я, в конце концов, в этом смысле состою. Вскоре пальцам стало холодно. Я закрыла глаза и представила себе, как гуляю по летнему саду. Это был обезличенный, несуществующий сад, в нем было нечто от невыносимо геометричного пространства проекта «Зигфрид», нечто от скопления вишневых деревьев у дома моего детства. В саду было тепло и нестрашно, пахло цветами, готовящимися к своей короткой жизни, еще не окончательно расцветшими, но уже проявившимися, существующими. Были капли росы и далекий звон ручья, много-много случайной воды. И синее небо, которое не отличить от моря.

Как заболела вдруг голова. Я не стала открывать глаза, море, оно же небо, в моем воображении подернулось волнами. Я почувствовала, что представления накладываются

одно на другое, верх и низ уже не имели значения, я бродила по саду, а надо мной впивались в небо голодные чайки и доставали оттуда серебряных, умирающих рыбок.

В голове зазвенело так, словно сознание подводило. Стало жарко и душно, мысли спутались, исчезли сад и море, и синева, и зелень, и я осталась одна с томительным ощущением распадающегося мира. И в то же время, как и всегда перед потерей сознания, мне было так спокойно и просто.

О, малышка Эрика Байер, даже если ты умираешь — это ничего страшного. Ничего страшного вообще нет. Головная боль отошла, хотя ощущение приближающегося обморока осталось. Я открыла глаза и увидела, что у предметов больше нет контуров. Через пару секунд я поняла, что это не страшные последствия препарата — на мне просто не было очков. Я нащупала их на тумбочке рядом, надела, и в мире сразу появилась какая-никакая определенность. Врач посмотрел на меня, и я отвела взгляд. Жалкие невротические подергивания моего сознания оставались при мне, я даже обрадовалась им.

Врач взял трубку белого, блестящего телефона, сосредоточенно покрутил диск, набирая номер.

— Рейнхард Герц, — сказал он. Голос у врача был низкий, хриловатый, по-своему приятный. Я подумала, что готова, как машина, разогревшийся принтер, аппарат для томографии, что угодно, только не человек. Они вызывают его, потому что я готова.

Рейнхарда привели спустя минуты три. Лицо его было испачкано красным, казалось, он неаккуратно ел вишню или клубнику. От него пахло кровью. Мое сознание покачивалось, но, увидев его, я обрадовалась.

Я улыбнулась ему, но он не взглянул на меня. Коснулся стены, посмотрел на то, как закрыли за ним дверь. Двое офицеров стояли позади, врач сидел за столом. В соседней палате, я знала, была Лили. Я чувствовала это, и если настроиться должным образом, можно было услышать, как она считает про себя.

Наверное, Карл сошел с ума от того, что чужие мысли постоянно звучат у него в голове. Я посмотрела на врача, но он записывал что-то в большом журнале. Никто не говорил мне, как я должна была действовать. Карл всегда утверждал, что в словосочетании "органическая интеллигенция" акцент нужно делать на слове "органическая". Наши способности — нечто вроде инстинкта, и мы разберемся во всем сами, такова наша природа.

Теория оказалась сомнительной, учитывая, что они вводили мне какой-то препарат, расшатывавший мое восприятие.

— Рейнхард, — позвала я. Его подтолкнули ко мне, и я вдруг испытала к этому человеку нежность в последние моменты его незащитности. Я взяла его за руки, сказала:

— Не бойся.

Но он и не боялся. Тогда я сказала:

— Я сделаю тебя совершенным, я обещаю.

Это лучшее, что я могла сделать для него прежде, чем отпустить. Я ненавидела всю эту систему, производящую солдат, но если бы я испортила его, он бы умер. Так я оказалась заложницей собственной привязанности. Вот почему мы прожили вместе год, чтобы мне было важно, каким он станет. Чтобы я хотела ему добра. Чтобы, в конечном счете, убеждениям моим помешало то человеческое, что просыпается в нас при соприкосновении с живым существом.

Что ж, пафос моральной философии мне удался, теперь нужно было, чтобы удалось все остальное. Мысли стали ясными, несмотря на головокружение. Я чувствовала себя, словно

на экзамене.

Карл объяснял нам теорию, но что делать на практике никто точно не знал. Наверное, это, как и состояние соединенности с другими, объяснить было нельзя.

Я смотрела на Рейнхарда. Пока что он был един, но разум его все равно был, как и у всех нас, разделен на слои. Первый я называла мышлением, и он был у Рейнхарда практически не развит, потому что залит разросшимся до невообразимости вторым слоем. Я называла его желанием. Рейнхард, в конечном счете, делал абсолютно все, что хотел. Его не стесняло общество, он последовательно отказывался от всего, что не приносило ему удовольствия, он игнорировал мир там, где он ему не нравится.

Если бы он пожелал, к примеру, поймать зверушку и сожрать ее заживо, его не остановило бы осуждение или запрет. Он не контролировал себя, и оттого круг его желаний был очень мал. Я сравнивала его с собой. Я не хотела знать своих истинных мыслей, не хотела заглядывать внутрь себя.

Всю мою жизнь я запрещала себе жестокость, так что, в конце концов она начала казаться мне чуждой, приходящей извне, исходящей от кого-то, кто управляет, и я подумала, что схожу с ума. Мои желания, и самые страшные и самые прекрасные, росли от запретов. Желание и мышление Рейнхарда были сцеплены слишком сильно, оттого не раздражали друг друга, делали из него не того, кем мы все являемся, одержимого противоречиями и эмоциональной бессмыслицей человека, а кого-то совершенно, с виду, нам чуждого.

Он не знал покинутости, страха, творческого вдохновения, вины, лжи. Сцепленные части его разума мешали ему развиваться. Я должна была развести их так, чтобы обе они представляли собой экстремальные значения. Я должна была дать пищу его мышлению и силу его желанию.

Об этом можно было, при должной склонности к самообману, думать, как о спасении. Но я знала, что разделяя его разум на части, я не спасу его. Я сделаю его кем-то иным, чем человек.

Но если я не смогу, его убьют. Если я не смогу, быть может, я отправлюсь в Дом Милосердия. Я вооружилась этими "если" как щитом.

Глаза, говорят, это окна души. Что ж, если так, то пришло время посмотреть на него по-настоящему.

Я взяла его за подбородок, и он не стал упираться, словно у меня тоже была сила, как у того офицера, как у всех них. Я обладала властью, создавая его, и эта власть опьяняла. Я подумала, раз уж нет никаких правил, раз это такой личный процесс, они ничего не сделают мне, если я ударю его. Я даже могла успеть вонзить иглу в его шею.

Я облизнула губы, эти мысли усилили головокружение, но дали мне и необходимое количество адреналина.

Глаза у Рейнхарда были светлые, с темным ободком по радужке. Он был такой смиренный, такой покорный. Быть может, чувствовал что-то важное от меня. Я и сама ощущала эту особенную силу на грани потери сознания. Капля за каплей, вместе с препаратом, она приходила ко мне (хотя лучшей формулировкой было бы "восходила во мне").

Я смотрела ему в глаза, ничего не боясь, пока происходящее не стало пастельно-размытым, неважным, и я не почувствовала, что мы соединены. Не так, как с Лили и Ивонн, а совсем другим образом. Словно он был пустой сосуд, а я содержала все, чтобы наполнить его.

Я не закрывала глаза, но погрузилась в фантазию, как в реку, без возможности контроля и с ощущением лихорадочного движения, ударяющего по мне.

Мы были в этой же комнате, только это он лежал на кушетке, руки и ноги его были крепко связаны ремнями. На мне была форма офицера, даже фуражка. Я не совсем контролировала себя, как в своих страшных мыслях. На столе передо мной лежали инструменты.

— Больно не будет, — сказала я, надевая латексные перчатки. — Впрочем, приятно тоже.

Я была девушкой из своих фантазий, холодной и жестокой. На белых стенах, как плесень, расплзались знамена Нортланда. Я взяла с блестящего, хромированного подноса коловорот, приладила к его голове.

— Нужно было тебя заранее побрить, — сказала я. — Но что уж теперь сделаешь.

Рейнхард смотрел в потолок, рот его, измазанный кровью, был открыт, я видела струйку слюны, приобретающую розовый оттенок, стекая ему за воротник. На нем была полосатая, красно-белая пижама, он был мой праздничный леденец. Все это было отвратительно и привлекательно, блестело контролем, лоснилось жестокостью.

Я проделывала в его черепе дыры, и сопротивление кости казалось мне реальным. Сотворив в нем несколько дырочек, я взяла пилу.

— Сигарету, — скомандовала я, и мой услужливый доктор дал мне затянуться. Я махнула ему рукой в испачканной кровью перчатке и велела отойти. Когда я распилила Рейнхарду череп, я почувствовала удовлетворение от силы, которой обладаю. Я увидела нежный, молочно-розовый мозг с прожилками сосудов. И меня не затошнило, я коснулась его пальцами, затянутыми в перчатку, а потом чуть надавила.

— Коктейль, — сказала я. — Безалкогольный дайкири.

Трубочка оказалась у моих губ, и я втянула в себя сладость, слизнула сахар с края бокала. Моя рука проникла в его мозг, вошла в него, как в желе или зельц, как в нечто отвратительное.

Болезненно-яркая больничная палата исчезла, и я оказалась в темноте его разума. Я знала, что могу включить здесь свет, озарить все, и я сделала это. Ничего выматывающего, наоборот, потрясающая эйфория власти, пусть единственной в моей жизни, но абсолютной. Я стояла посреди почти пустой комнаты, она тоже была белой, но оттенка скорее молочно-мягкого, чем пронзительного, как в палате. Посередине стоял старомодный ящик. Я села перед ним и открыла его с интересом маленькой девочки. Внутри были игрушки, много-много игрушек. Я стала их раскладывать. Оловянные звери налево, набор карандашей в жестяной коробке с нарисованным на ней пейзажем направо, игрушечные пистолеты налево, книжки с картинками направо, куколок налево, кубики направо. Это была монотонная, но приятная работа. Я не знала, мои это фантазии или фантазии Рейнхарда. Первый образ абсолютно точно был мой, но этот порожден уже нами обоими. Я нечто в нем меняла. У меня получалось.

Игрушки, солдатики, машинки, плюшевые зайцы и заводные обезьянки постепенно сменились совсем другими вещами.

Я достала пистолет, настоящий, тяжелый, приносящий смерть. Я достала рапорт, написанный такими мелкими буквами, что ничего было не прочесть. Книги, документы, яд, дорогие наручные часы, деньги, ключи. Игрушки кончились, остались атрибуты власти и опасности. Я раскладывала их, еще не представляя, кто должен у меня получиться. Я была

аккуратна, потому что я не хотела боли для него, только и всего.

Какой кошмарный способ любить.

Впрочем, ничего нельзя считать достаточно кошмарным, пока существует Карл.

Вдруг сундук опустел, и я снова увидела Рейнхарда. Он поддерживал меня, видимо, я все-таки потеряла сознание. По крайней мере, я очнулась в той же душевной эйфории, которая сопровождала обмороки. Теперь у меня были затуманенные глаза, а у него ясные. Я смотрела на него и думала, узнаю или нет.

Те же светлые глаза с темным ободком по радужке, то же лицо, но выражение на нем совсем другое. Я даже не успела понять, нравится оно мне или нет, боюсь я или нет.

Я подумала: прощай, Рейнхард, теперь точно — прощай.

Я больше не чувствовала связи с Лили и Ивонн, я была так одинока, как только могла быть на этой земле.

А потом он поцеловал меня. Это был мой первый поцелуй, и отчего-то я попыталась ответить ему, как умею. Я вся дрожала, когда он обнял меня, и я не могла сказать, что страх или усталость наэлектризовали так мое тело. Мы целовались пару секунд, а потом офицеры забрали его от меня. Теперь им было сложно его вести, по крайней в мере первую секунду. А потом он подчинился, он вышел в их сопровождении, и я смотрела ему вслед зная, что больше не увижу его.

Больше никакого Рейнхарда. Я создала солдата.

Глава 5. Общество без оппозиции

— Они убивают, они разрушают, они словно запрограммированы на уничтожение всего вокруг: животных, книг, государств, наций, женщин, детей, даже друг друга они убивают с не меньшим остервенением. Мужчины уничтожили даже историю!

Нина сохраняла свой внимательный и одновременно безучастный вид.

— Но разве ты не говоришь, что тебя часто посещает желание убить кого-то, что беззащитность подталкивает тебя к жестоким фантазиям?

Я замолчала, размышляя. Нина задавала вопрос, а затем смотрела на меня особым образом, с чистым, стеклянным интересом, побуждавшим меня обычно говорить, словно я была объектом, на который она воздействовала в ходе эксперимента.

Горько пахло лекарствами, звеняще взбадривали меня голоса, доносившиеся с улицы и шум машин. Я начала говорить:

— В таком случае у меня остается несколько путей: признать, что садизм — инвариантное качество всех человеческих существ, предположить, что я напугана и отождествляюсь с агрессором, либо же, что скорее всего правда, понять, что общество инфицированное насилием — проекция моих собственных садомазохистических фантазм, которыми я одержима, и которые пожирают меня изнутри. При этом я не могу перестать винить в этом Нортланд, потому как я — продукт культуры, в которой существую, я не произошла из какого-то иного общества, не попала сюда с другой планеты. Я — это Нортланд, таким образом я возвращаюсь отчасти к тому, что таких как я должно быть много и...

Я замолчала, достала сигарету из пачки, закурила и крепко затянулась. Полминуты спустя, наблюдая за тем, как продвигается ко мне пепел, я сказала:

— Все, я совершенно запугалась. Знаешь, думаю, я курю, потому что это позволяет мне разрушить что-то. Уничтожение материального объекта приносит мне удовлетворение.

— Ты считаешь это безобидным способом снимать напряжение?

— Теперь, когда я подумала об этом, я кажусь себе жалкой и жестокой одновременно.

— Кажешься?

— Считаю себя жалкой и жестокой.

Я затушила сигарету в железной пепельнице, потерявшей свой былой, трофейный блеск. Лет ей было много-много, и символика на ней была старая. Я раздавила сигарету о сердце символа.

— Я плачу тебе, чтобы слушать наводящие вопросы?

— А за что, по-твоему мнению, ты должна мне платить?

Я засмеялась. Нина не отвечала ни на один вопрос, таков был ее стиль, похожий на фехтование, она била точно в цель и владела непревзойденным умением уворачиваться от ответных ударов. Теперь и она закурила, сигареты у нее были толстые, с каким-то древесным запахом. Они совершенно не подходили ее образу стереотипной домохозяйки. Да Нина Рохау и сама не подходила этому образу. Не спасало ее ни платье с кружевным верхом и розовой, длинной юбкой, ни ровные стрелки на чулках, ни идеально прирученный поток темных волос. Она была картинкой из журнала о правильных женщинах Нортланда, но не была правильной женщиной. От нее всегда создавалось чарующее ощущение. Образ ее был

маскарадным костюмом, скрывавшим преступницу. Нина была красивой, статной женщиной, которой совершенно не шел розовый.

Нину я нашла, пройдя такую цепочку приятелей и случайных людей, что теперь вовсе не было понятно, чьей знакомой она была. В отличие от моего официального врача, только выписывавшего мне лекарства раз в полгода, она пыталась проникнуть в самую суть моих проблем, в разум, порождающий панику и болезненные мысли.

Она предложила мне лучшее успокоительное: готового выслушать меня человека, который справится с тем, чтобы выдержать любые мои рассуждения и который не будет тяготиться ими.

Я почти ничего не знала о Нине, кроме того, что у нее было трое очаровательных детей и муж, тоже толком ничего не знающий о ней. Официально Нина работала в аптеке, располагавшейся в одном из самых безрадостных районов Хильдесхайма. Она принимала клиентов во время перерыва на обед и после закрытия, в подсобке. Нас окружали длинные ряды пачек с таблетками. Это было похоже на библиотеку человеческого горя. Блестящие при свете лампочки названия отсылали ко всем возможным болезням, к неизбывному источнику потерь.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

Я лежала на продавленном диване рядом с чайным столиком, на котором всегда была пепельница. Нина сидела на стуле за мной, так что по задумке я не могла ее видеть, однако у меня никогда не получалось не оборачиваться — я слишком хотела знать ее реакцию на все, что я говорю.

Открываться ей раз в неделю было больно и целительно. Она никогда не выносила суждений обо мне, вопросы ее, однако, были необычайно точными, и в моих ответах содержалось понимание, которое всегда ждало внутри меня.

Горьковатый дым ее странных сигарет вился у лампочки. Я почувствовала, что у меня слезятся глаза. Сначала я подумала: это оттого, что здесь накурено. Я посмотрела на Нину, она внимательно смотрела на меня. Я уже ответила на ее вопрос. Я плачу ей за то, чтобы отвечать самой себе.

Нина никогда не требовала ответов вслух.

— Знаешь, — сказала я. — Мне невероятно больно. Все эти лекарства, которые я не пью, стали казаться альтернативой. Успокоительное на ночь, в принципе, что тут дурного, да? Я просто хочу отдохнуть.

— От чего?

От самой себя, вероятно. Ноющей, смеющейся, плачущей, остроумной и пытающейся проникнуть в суть вещей, бессистемной, медленно реагирующей, желающей секса, боящейся секса, проливающей молоко из пакета, не решающейся начать бегать по утрам. Всякой. Всей.

Но правда была не только в этом. Я скучала по Рейнхарду. Его не было со мной три недели. Еще одна, и мне разрешат вернуться в Дом Милосердия, взять кого-то другого, словно щенка.

— Мой подопечный, — сказала я. — Я не могу много об этом говорить, но я скучаю. Я даже не знаю, где он теперь.

— Ты привязалась к нему?

— Да. Он жил со мной год, он для меня словно член семьи.

Я нахмурилась, вспомнив ощущения от его поцелуя, вспомнив последнюю ночь,

которую мы провели вместе. Скривившись, я сказала:

— Если бы у меня была склонность к инцесту.

Нина всегда игнорировала мои попытки пошутить. Она затушила сигарету, выпустила дым к потолку с ленивой грацией в движениях, не подходящей ее суетливому образу.

— Значит, ты испытала к нему чувства, похожие на те, которые, по-твоему, полагается испытывать к мужчине?

— Я не знаю. Я не испытывала чувств к мужчинам, если только не считать чувство страха. Просто я хотела бы, чтобы все стало как прежде.

— А при каких условиях все могло бы стать как прежде?

Ответа у меня не нашлось. Вопрос был слишком болезненным. Рейнхард, каким я любила его, исчез навсегда. Я не смогла бы узнать его, в нем больше не было ничего моего.

— Мне кажется, любить его — нарциссизм. Я любила его, пока он был беспомощен, и я могла проявить свои лучшие качества. Но думаю, что если бы я не была обязана заботиться о Рейнхарде, если бы это не было вопросом моего существования, я не смогла бы.

— Ты хочешь унижить себя?

— Наверное. Я чувствую боль от того, что его нет рядом. Но у этой боли должно быть рациональное объяснение.

— Ты заметила, в чем обычно состоят твои рациональные объяснения?

— В самообвинениях.

— Как думаешь, что испытывают твои коллеги?

— Они тоже тоскуют. Особенно Лили. Ее подопечный много значил для нее.

— И что бы ты посоветовала им?

Нина не требовала от меня быстрых ответов, но отчего-то мне захотелось выдать что-то сразу.

— Жить дальше.

— Что ты подразумеваешь под этим словосочетанием?

Я вновь прошлась взглядом по полкам с лекарствами. Здесь было все для сокращения страданий. Любой спазм души, любая горячка разума, любая эмоциональная рана — все могло быть вылечено, вырвано, как больной зуб, из сознания. Белые пачки, блестящие буквы, названия, похожие на заклинания, решающие все проблемы.

Я бы посоветовала всем нам, всему Нортланду, взять таблетки с этих полок и принять побольше, чтобы ничего не осталось. И никого.

Я озвучила эту мысль, взгляд Нины не изменился. Она только сказала:

— Ты думаешь, ты ответила на вопрос?

Никаких утвердительных предложений в течении часа, это правило.

— Нет. Я просто не знаю, что такое "жить дальше". Жизнь непрерывна, я не прекращала ее ни на минуту с момента своего появления из двух половых клеток моих родителей.

— Тогда твое задание на дом — подумать над этим.

Значит, час закончился. Нина захлопнула черный блокнот, записи в котором оставались для меня тайной. Интересно, может быть она там в крестики-нолики играет? Или в морской бой? А мы все сидим и думаем, что она записывает правду о нас. Такие одинаковые клиенты, желающие узнать, кто они такие.

Да никто.

— Спасибо, Нина, — сказала я.

Она кивнула мне. Иногда мне безумно хотелось пригласить ее на чашку кофе, но я бы

никогда не решилась.

Мы попрощались, и я вышла из подсобки, прошла через затемненную аптеку к освещенному неоновому выходу. Мне открылись безрадостные многоэтажные дома, заляпанные вывесками, как пятнами краски.

В неоновом мареве тонули темные тупики подворотен, блестел влажный асфальт. Летом всегда темнело неожиданно, и вот я уже оказалась в мире, где главные источники света были рукотворны.

Изредка проезжали машины, и я пугалась их, как диких зверей. Я думала о Рейнхарде, и мне совсем не хотелось идти домой. Я быстро нашла применение своему нежеланию возвращаться в пустую квартиру. Недалеко от аптеки Нины был торговый центр, яркое, светящееся сердце района.

Мне хотелось побродить по нему, успокоиться в толпе и хорошенько надо всем подумать.

Я обернулась, вдали светилась ярко-розовым вывеска аптеки Нины. Наверное, она уже курит свои странные сигареты, слушая другого клиента. В Нортланде курили многие. Это не поощрялось, но и не было запрещено. Форма пассивного сопротивления, так я это называла. Общество без оппозиции, без альтернативы, забывшее себя от страха, было подобно ребенку, который мерзнет на улице родителям назло.

Тогда-то, конечно, они непременно купят все, что нужно и все, чего хочется, разрешат.

Я с облегчением встретила огни торгового центра. Это было большое, подсвеченное, как бриллиант на выставке, здание: стекло и металл, и много-много надежды на будущее. Внутри всегда было шумно, всегда многолюдно. С тех пор как товаров стало так много, они превратились в развлечение. Нортланд никогда не был богат на удовольствия, и потребление стало спортом, хобби, даже свободой.

Никто и ничего не сделает, если ты будешь просто путешествовать от магазина к магазину и покупать, занимая время, которое становится бесконечным в мире, где так много запретов. Люди с фирменными пакетами, люди, глазающие на витрины, блестящие украшения, стильная одежда, еда, которую интересно попробовать, улыбающиеся консультанты и целые этажи разнообразных кафе — все это было культурой обладания, которую я вовсе не осуждала.

Я тоже находила утешение в том, чтобы нечто иметь. Красивые платья, разрешенные книги, вкусно пахнущая косметика, сладости в жестяных коробочках, цветы в горшках — я хотела всего этого. Власть над вещами может заменить власть над собой. Кроме того, как чудесно думалось под ритмичную, оседающую в мозгу музыку, среди толпы людей, увлеченных витринами.

Отчего-то я стала думать про Отто. Его все еще не нашли, Карл, по слухам, рвал и метал. В связи с отсутствием у меня подопечного, мы не так уж часто встречались, у меня длился, можно сказать, оплачиваемый отпуск.

С Отто варианта было два: либо Карл потерял хватку и ответит за это головой, либо Отто сумел скрыть от него свои мысли самостоятельно. В первом случае, Карлу угрожала гибель, и это меня радовало, я даже не чувствовала вины за лихорадочное ожидание известия о его увольнении (а с концом карьеры в его случае придет и конец всей жизни в целом). Во втором случае Отто создавал прецедент волнующей свободы, даже думать об этом было страшно. Власть Нортланда держалась на силе и контроле, но если Отто смог обойти хотя бы контроль, у всех у нас был шанс.

Он стал почти героем. О нем не говорили, о нем не думали на работе, но нечто невидимое, образ его, не артикулированный до конца, мы всегда носили с собой. Из очаровательного, всем чужого щеночка, он превратился в надежду хоть что-то скрыть от Нортланда. И хотя Карл, к примеру, позволял нам ненависть, потому что иначе мы вовсе не смогли бы существовать в атмосфере проекта «Зигфрид», каждому хотелось иметь нечто личное. Шкапулки с безобидными вещами: политическими убеждениями, чувствами, страхами.

Быть может, думала я, рассматривая туфли на витрине, я могла бы сбежать, как Отто. Где он сейчас? Ведет жизнь крысы, которая так меня пугает, сомневаться не стоит.

А где сейчас Рейнхард? Давай, малышка Эрика Байер, страдай по слабоумному, жалея, что превратила его в идеального мужчину, создала его для управления государством. Наверное, я бы многое отдала, чтобы поговорить с ним еще раз. Спросить его, помнит ли он все, и зачем он поцеловал меня, что он теперь любит и к чему стремится, какие книги ему понравились, близок ли он с другими?

Внутри у меня копошилось еще столько вопросов, что хватило бы на целый день, я не хотела вытаскивать их из зуда в мыслях, из неясного желания, потому как с каждым новым вопросом, стремление увидеть его возрастало.

Он, Маркус и Ханс были вместе. Они получили близость, которой мы обладали только пару часов. Интересно, отношения их похожи на дружбу? Они вообще могут дружить? По сути, я мало что знала о гвардии. Как это бывает на фабрике? Я — работница, и мое дело отсортировать компоненты их разума. А потом они уплывают все дальше и дальше по конвейеру. Затем, в магазине, у товаров уже и не найдешь сходства с вещами, которые видела в процессе создания.

У них другая, беспмятная история. Торговый центр наводил меня на все эти потребительские, механические аналогии. Захотелось что-нибудь купить. Их ведь тоже заказывают. Живых людей заказывают, и мы кастомизируем их, превращаем в элитный товар.

Мужчины покупают даже друг друга. Говорили, что гвардейцы, как пауки в банке. Они были близки со своей группой, другие же были для них ресурсом. Таким образом стимулировалась здоровая конкуренция.

Я не знала, насколько это правда, и мне не слишком хотелось выяснять. Не из-за отсутствия любопытства, дело было в суеверном ужасе перед самим институтом гвардии.

Так что, по зрелому измышлению, мне вправду стоило забыть Рейнхарда, он стал частью того, что пугает меня. Эта мысль успокоила, пригладила чувства, и я решила зайти в парфюмерный отдел, чтобы подыскать себе какой-нибудь новый запах, далекий от персикового шипра, которому так доверял Рейнхард.

Я открыла дверь и из пограничного пространства между всеми радостями Нортланда попала в красно-золотое помещение с лакированными торшерами и зеркальными столами. На завитых, золотых ножках, словно бы слишком тонких, держались шкафы красного дерева, за стеклом которых скрывались флаконы с драгоценными и эфемерными субстанциями. Было много света, много роскоши или представления о ней, я не понимала точно, настолько все вокруг казалось скорее картинкой, чем реальностью. Консультант тут же услужливо предложил мне помощь в выборе того, что представит меня в ольфакторном аспекте. Среди всех флаконов, тонких, толстых, маленьких и крупных, с невообразимо загнутыми горлышками и нарочито грубой огранкой, я принялась искать свой.

Я чувствовала себя охотницей, мне хотелось найти нечто, а вместе с этим найти себя. Экономика социальна насквозь, покупая, мы сообщаем что-то, от нас принимают это сообщение и на него отвечают. В конце концов, разве не в этом суть того, как человек соотносится с другими? Меня забавляло также, что магазинчик — это свой, отдельный мир с правилами, которые не нарушаются. Государство в государстве, со своими представлениями о жизни, ценностях и вкусе. Если выйти на магистраль торгового центра, хорошо освещенную дорогу между всеми такими мирами, можно почувствовать себя совершенно свободным.

Я выбирала около получаса, боялась, что совсем замучаю консультанта, и ушла с тем же персиковым шипром, что и всегда. Летний и в то же время грустный запах, кроме горечи и ласки которого ничто мне не подходило.

Совершенная свобода, оказалось, не ведет к расширению выбора. Ах, малышка Эрика Байер, доставай свои деньги и плати за товар вместо того, чтобы считать себя политологом вроде Маркуса Ашенбаха.

А то закончишь, как он. Нет уж, я дорожила своим естественным правом ненавидеть Нортланд. Тепло попрощавшись с консультантом и уверив его в том, что я не нарочно потратила столько времени, я решила поддаться еще одному искушению.

Быстрое питание — царство Нортланда. То, что богатые и здоровые делают с бедными и больными. Я презирала эту индустрию за сверхдоходы, шедшие в карманы искусственной суперэлите, за липкую, жирную притягательность (все равно что одноразовый секс в общественной уборной), за пьянящие запахи, заставляющие наплевать на рациональность и убеждения.

Суперэлита получает прибыль, потребитель получает гастрит, но каким-то парадоксальным образом все довольны. Рассуждая в таком ключе, я набрала побольше жареного и соленого, чтобы заглушить тоску. Нет лучшего антидепрессанта, чем осознание, что удовольствие от жирной пищи забрало у тебя несколько часов жизни и приблизило сердечно-сосудистую катастрофу, которая заберет тебя лет этак через двадцать.

И оттого, что я редко позволяла себе "смертельные ужины", как их называла Лили, удовольствие всегда было острым. Наверное, при постоянном повторении приедается все, даже самоповреждение.

Домой я поехала на такси, на одном из множества припаркованных у торгового центра автомобилей, похожих на рыбок-прилипал, присосавшихся к огромному зданию.

Таксист мне попался молчаливый, и у меня было достаточно личного пространства, чтобы любоваться на неоновый Нортланд. Сколько изменилось с моего детства и сколько осталось прежним. Тоталитарное совершенство, раскрашенное, покрытое блестками, лаково-сияющее.

Иногда я говорила обо всем этом Рейнхарду. Мне нравилось, что меня слушает кто-то, кому можно доверять. А теперь я думала о том, что он все запомнил. Доносить было нечего — Карл знал о моих мыслях, пока действия мои согласовались с Нортландом, личностью можно было пренебречь. Мышиный страх не позволил бы мне сделать ничего значимого, это Карл тоже знал. И все же я подумала, что если Рейнхард помнит, то все плохо. Мы теперь совсем на разных сторонах.

Никто точно не знал, запоминают они или нет. То есть кто-то, конечно, знал, но, как всегда, не мы. Мы не общались с нашими бывшими подопечными, и нам не говорили, вспоминают ли они о нас. Думаю, в этом был смысл. Если бы мы точно знали, что ничего

они не помнят, был бы соблазн перейти черту, неважно, воспользоваться беззащитностью существа рядом или сказать нечто по-настоящему лишнее. Потенциальное знание наших грешков сильными мира сего удерживало нас от глупостей. Большинство из нас. С Хельгой, к примеру, не получилось. Если бы мы, в то же время, точно знали, что солдаты гвардии, суперэлита, рафинированные интеллектуалы с автоматами наперевес знают все наши тайны, это удержало бы нас слишком от многого.

Нортланду всегда полезно знать, кто мы такие. А ничто не проявит этого лучше, чем тесное взаимодействие с тем, кто с виду ничего-ничего не понимает или понимает так мало, что этим можно пренебречь.

Территорию проекта «Зигфрид» я встретила с радостью. Мое геометрически совершенное королевство ухоженных садов и мурлычущих свою водяную песнь фонтанов, мое безнадежное королевство одиночества.

Поднимаясь наверх, я снова встретила фрау Шлоссер с ее безымянным подопечным. Он вдохнул запах еды, которую я несла в бумажном пакете, облизнулся, и фрау Шлоссер дернула его за поводок.

— Веди себя прилично.

Вы слишком строги к нему, хотела сказать я, а это, быть может, будущий гауляйтер Хильдесхайма или министр юстиции.

Поднявшись на свой этаж и приставив ключ к замку, я вдруг ощутила прилив холодной волны, интуитивной настороженности, но не восприняла ее всерьез. Открыв, однако, дверь, я отшатнулась. Ощущение чужого присутствия стало совершенно явным. В моей квартире кто-то был. Я представила, как беру что-нибудь тяжелое и подкрадываюсь к посетителю, убиваю его ударом по голове и обнаруживаю, что это мама или, скажем, Роми. Вместо этого кинематографически нереалистичного хода, я выбрала отойти от двери и прижаться к стене.

С пару секунд все было тихо, затем я услышала шаги, и кто-то включил музыку. Если это и вор, то самый наглый и самый удачливый. Я не знала, что делать, мне было страшно пройти мимо провала двери, чтобы попасть к лестнице, страшно позвать на помощь.

Запах еды и запах парфюма, поднимавшиеся от моих покупок, казались мне нестерпимо сильными. Я закрыла глаза, шаги приближались, но пошевелиться я не могла. Сердце отбивало в груди ритм, до странности сливавшийся с ритмом песни.

— Сестрица! — услышала я. — Заходи! В конце концов, это твой дом.

Я не поверила своим ушам. Вальтер, мой кузен, был обязательным пунктом для праздничных звонков, однако мы не виделись, кажется, с моих двенадцати лет, когда мама в последний раз потащила меня на день рождения к родственникам.

Вальтер мне никогда не нравился, это был противный, навязчивый мальчишка, который изредка забавлял, но больше раздражал или пугал. Я отлично помнила, как в девять лет он рассказывал мне, как палкой убивает лягушек. Он был на год меня старше, но из-за своей восторженности всегда казался мне маленьким.

Из черноволосого, нескладного, длинного и тощего мальчишки, он превратился в мужчину, обладавшего некоторой изящной ловкостью и туберкулезной остротой черт. На фотографиях, которые показывала мама, он выглядел довольно-таки привлекательным в своей необычной, хрупкой болезненности. Он всегда широко улыбался, так что и не скажешь, какой это был маленький живодег в иные времена.

Вальтер частенько стремился пообщаться со мной, выпрашивал, как мои дела, однако о себе говорил мало, что раздражало меня еще больше. У него была отвратительная манера

полагать, что он знает о том, что творится у людей в душах лучше, нежели они сами. Это отчасти свойственно всем нам, запертым в клетке собственной личности, однако Вальтер высказывал свои идеи с восторгом первооткрывателя. Однажды мне захотелось рассказать ему, как мы ладим с Рейнхардом, как интересно за ним наблюдать, и как разнообразен может быть на самом деле человек.

— О, — сказал Вальтер. — Я бы на твоём месте тоже пытался отстраниться от того факта, что ты теперь сиделка для умственно отсталого.

Он словно бы и не заметил, как обидел меня, а может и заметил, вместо лягушек он теперь бил по голове людей, и слова справлялись с этим не хуже палок. После разговора с ним я всю ночь думала, а не может ли быть то, что государство наше называет дегенеративным и унижительным преклонением перед физическим, моральным и умственным несовершенством продуктом нашего страха перед этими явлениями.

Я возненавидела Вальтера за то, что он заставил меня сомневаться в моей искренности, так что даже решила в следующий день рожденья ему не звонить. Однако Вальтер не дождался моей мести, и за три месяца до назначенного ей дня объявился в моей квартире. Он каким-то образом проник ко мне и открыл дверь. Я сказала, вспомнив Роми:

— По-твоему здесь что проходной двор, и любой может ко мне заявиться?

— А что многие заявляются, сестрица? И хватит ворчать!

Я зашла в темный коридор, включила свет и неожиданно для себя оглушительно засмеялась. А потом остановилась и зашипела:

— Ты чокнулся? Сними мое ожерелье и смой с себя эту дрянь!

Вальтер стоял передо мной в добротном костюме, чуточку пьяный, по-своему очаровательный и покрашенный, словно шлюха. На шее у него было мое жемчужное ожерелье, так что первым моим импульсом было содрать его с Вальтера. Вальтер облизнул красные, распухшие от долгих и старательных попыток подчеркнуть контуры, губы. Макияж смотрелся на нем странным образом. Ему шло, он скрывал вопиющую болезненность Вальтера, и в то же время у этой хорошо исполненной сексуальности — пухлых губ, длинных ресниц, ярких, кабарешных румян, был неудержимо комический эффект.

— Ты издеваешься надо мной? — спросила я как можно спокойнее. — Ты пришел сюда без спросу, кстати каким образом, взял мою косметику и украшения, а теперь делаешь вид, словно все нормально!

Вальтер крепко обнял меня, так что это оказалось почти болезненно. Он блеснул белыми зубами, продемонстрировав широкую, радостную улыбку, а затем закрыл дверь.

— Я больше не могу молчать, Эрика, милая!

— А ты когда-то мог? — спросила я.

— Нет, ты не понимаешь!

Он коснулся пальцами аккуратного кружочка, созданного румянами, вид у него стал задумчивый.

— Я думал, кому сказать сначала! И решил, что лучше всего — тебе!

Я хотела было ответить что-то вроде "потому что мне абсолютно все равно, что с тобой происходит?", но не решилась. Вальтер взял у меня пакет с едой.

— Ужин! Как чудесно! Ты словно знала, что я тебя навещу.

— Нет, Вальтер, абсолютно точно не знала.

— Я не Вальтер, — сказал он. Убежденности, с которой он произнес это, можно было позавидовать. Иногда я тоже хотела бы оказаться не Эрикой, однако никогда у меня не

хватало духа по-настоящему в себя поверить. Вернее, в не-себя. Вальтер же испугал меня, и я подумала, что его ждет Дом Милосердия, а затем и смерть, потому что недостаточно Вальтер хорош для солдата.

А потом, после этой фразы, показавшейся мне почти страшной, он выдал уморительное:

— Я — Нора.

Тогда мне ничего не осталось, кроме как снова засмеяться. Когда смех стал мучительным, я с трудом остановилась. Вальтер повел меня в комнату и принялся раскладывать на столе еду.

— Обычно я ем на кухне, — сказала я, а потом снова начала смеяться, отдышавшись.

— Я и не тешил себя иллюзиями, что ты меня поймешь. Эрика, милая, я устал от всего этого. Я чувствую себя женщиной!

Я с трудом изобразила и сохранила нейтральное выражение лица, не спеша закурила.

— Правда? — спросила я.

О Вальтере я почти ничего не знала. Он, кажется, работал в полиции, на хорошей должности. У него была жена, но детей у них пока не случилось. Вальтер жил правильной, вполне оправданной с точки зрения Нортланда жизнью.

— Правда, — сказал он. — Я ненавижу мужскую социализацию. Ты никогда не думала, что палач тоже травмирует свою душу, как и жертва.

— Что ты лепишь?

— Я просто хотел бы...хотела бы больше ни в чем таком не участвовать.

И тогда я поняла: мой кузен Вальтер сошел с ума.

— Как ты сюда попал, Вальтер?

— Нора. У меня есть пропуск. Более того, ваш комендант мне лично открыл.

Взгляд его был расфокусированным, казалось, что один зрачок больше другого, на его алых губах играла рассеянная улыбка. Сердце мне сжал страх. Ко мне пришел мой неадекватный кузен, чье положение позволяло ему проникать на территорию проекта "Зигфрид". Он свихнулся, он чокнулся, у него поехала крыша, и он заявился ко мне с этими своими сверхполномочиями.

Я не знала, чем мне это грозит, виновата ли я вообще, но мои гражданские инстинкты забили тревогу.

— Вальтер, — начала я как можно мягче.

— Нора, — повторил он. — Подумай только о своих привилегиях, Эрика. Ты можешь быть женщиной не боясь, что за это тебя упекут в Дом Милосердия.

— Прекрасная привилегия, Нора, — сказала я. — Намного лучше, чем возможность учиться, работать, выбирать себе партнера, не участвовать в репродуктивном труде...

— Да-да-да! И даже если мужчины говорят о том, что страдают в драках или войнах, это все ничего не значит, ведь все это было придумано и последовательно исполнено мужчинами всех социальных категорий.

Я даже рот открыла. Вальтер говорил так искренне, что я не понимала, в каком тоне ему отвечать. Я потянулась к жареной во фритюре картошке. Да, пожалуй, стоило поесть. Вальтера все равно не заткнуть.

— Я просто хочу стать добрее, Эрика, милая! Я бы хотела закончить все эти преступления, экономическое и сексуальное угнетение. Я больше не хочу в нем участвовать.

— А ты не можешь стать добрее, не надевая мое ожерелье?

— Прости. Я не удержалась. Еще я немного посмотрела твои фотографии!

— Ты рылся в моих вещах?!

— Кто эта высокая блондинка с томным взглядом?

— Ивонн. А тебе какая разница, ты же теперь женщина!

— Думаю, я лесбиянка.

Вальтер сел за стол рядом со мной, и мы принялись есть. Остывшая, соленая, мерзко-приятная еда позволяла мне отвлечься. Изредка я смотрела на Вальтера. Движения его стали какими-то по-особенному манерными, и в то же время было от них какое-то жуткое впечатление ненормальности, дезорганизованной мутности. Он откусывал маленькие кусочки, словно бы это придавало ему изящества.

— У тебя что-то случилось? — спросила я медленно. Вальтер вытер рот салфеткой, достал мою помаду и подошел к зеркалу.

— Да. Я приняла себя окончательно. Я не могу жить так, как мне велят. Я не хочу разрушать. Я не хочу быть источником власти. Мне нравится создавать, принимать...

— А мне разрушать. Отдай мне свой пиджак, давай поменяемся?

Вальтер посмотрел на меня мутным взглядом, нежным движением потеревил жемчуг на шее.

— Ты не понимаешь? Мы с тобой угнетены в самых базовых своих потребностях, не можем выйти даже за хромосомные рамки.

Я не стала говорить, что за них стоило бы выходить в последнюю очередь. В голосе у Вальтера была тоска, у пьяных обычно предшествующая песне. Он, со своими накрашенными губами и томными глазами с черными, как смоль, ресницами, поднимал тем не менее всегда актуальный вопрос. Каким образом можно было сбежать от себя и насколько далеко?

Я сказала:

— Так чего ты хочешь?

— Я бы хотела пожить с тобой некоторое время. Я решила уйти от жены. Думаю, мы не подходим друг другу. Ей нужен мужчина, который будет вертеть перед ней членом и пистолетом. Забавно, что все фаллическое так ассоциируется с проникновением, правда? Пули — это сперма, секс — это смерть.

Добро пожаловать в Нортланд.

— О, — сказала я. — Сочувствую вам обоим.

— Все в порядке, — Вальтер шмыгнул носом, возвел глаза к потолку. — Просто я очень, очень устала. Я хочу тихую гавань, и все обдумать.

— Изменить свою жизнь?

Он вдруг улыбнулся мне, глаза его стали практически ясными.

— Изменить свою жизнь, — повторил он. В дверь позвонили, и все мое зародившееся сочувствие к Вальтеру вдруг исчезло. Он что-то натворил, и теперь они придут за нами обоими. Я прошипела:

— Сдам тебя!

А потом зашептала:

— Прячься! Лезь в шкаф, куда угодно!

Вальтер поцеловал меня в щеку с девичьей благодарностью, оттолкнув его, я побежала к двери. Если это солдаты, они могли вышибить стальную дверь за пару ударов. От страха мир стал ярким, но удивительно неточным, я с трудом схватилась за ручку двери и с трудом встала на цыпочки, чтобы заглянуть в глазок.

Я была права. Двое солдат стояли у моей двери, так прямо и ровно, что в это даже не верилось. Глаза у меня заслезились. Я открыла, потому что знала, что если я этого не сделаю — будет хуже.

— Эрика Байер, — сказал один из них. Я кивнула, хотя он в подтверждении не нуждался. Их роскошная форма в слабом свете на лестничной клетке казалась страшной — что-то черное, угрожающее, со вставками безжалостного металла.

Они не прошли внутрь, чтобы найти Вальтера. Они вытащили меня, перетянули через порог квартиры — без грубости, но с абсолютным пониманием собственной силы и моей слабости.

— Я ничего не сделала, — зашептала я, от страха у меня голос пропал. — Я ничего не...

Они тащили меня к лифту, но я и не думала кричать. Во-первых, от страха у меня отнялся голос, во-вторых это было бессмысленно. Но почему они не прошли в квартиру?

Да потому что они не искали Вальтера. Я посмотрела на оставшуюся открытой дверь, в комнате все еще горел свет. Я не винила Вальтера в том, что он не попытался мне помочь. Не только потому, что один его вид вызывал у меня смех и стыд, но и потому, что сама бы выдала его. Всем нам приходится выбирать между собственной жизнью и чужой, это и есть самое страшное.

— Куда вы меня ведете? — спросила я. — Где Карл? Карл Вольф, мой куратор!

Я не заметила, как оказалась в лифте. Один из них нажал кнопку, и двери захлопнулись, словно челюсти.

Мама, мамочка, думала я, пусть только отпустят меня, пусть только я останусь жива, и я никогда не буду думать ничего дурного про Нортланд.

Я люблю Нортланд, только дайте мне жить в нем, ведь нет страны лучше и не было никогда!

Глава 6. Политическое устройство настоящего

Стекла в машине были затемнены. Я не могла видеть, куда мы едем, я не могла даже отвлечься, рассматривая мой город.

На мне было платье, мое любимое платье, все в синих, похожих на незабудки мелких цветках, с аккуратным, свободным воротником и черными, едва заметными пуговичками, притаившимися на груди. Я любила его и любила себя в нем, но сейчас мечтала оказаться в костюме, он давал хоть какую-то защиту. Я хотела быть в черном, хотела мимикрировать под тех, кого так боялась. Мне не хотелось быть нарядной, не хотелось ни этого платья, ни капроновых чулок, ни туфель с пряжками. Я хотела быть как можно меньше и темнее.

Они не обращали на меня внимания, позволяли себе такую роскошь — реакция у них была много быстрее, чем человеческая. Я не хотела их рассматривать, я была как маленькая девочка, решившая спрятаться под одеяло. Пока я на них не смотрю, думала я, их не существует. Спасительный солипсизм разбивался о тепло их тел, которое я ощущала.

Салон был просторный, но какой-то античеловечный, неудобный, неловко-угловатый. Между нами и водителем было темное стекло, я не могла ничего видеть и впереди. Звуки, даже ход машины, тоже казались приглушенными. Пахло мягкой кожей салона и больше ничем. Они лишили меня всех чувств, оставалось только осязание, но его я применить не могла, потому что боялась пошевелиться.

Все хорошо, Эрика, подумала я, ты разве что умрешь. Но какая, в сущности, разница, раз уж все рано или поздно умрут. Кто-то когда-то сказал: смерть — великий уравниватель. Она и автора этого афоризма давным-давно приравняла ко всем остальным. Даже и страны, в которой жил тот человек, давным-давно не осталось, а мудрость его живет.

Мне стало так жаль, что наши знания об истории слишком отрывочны, что нет великого нарратива, чтобы понимать как случилось, что от начала времен, от холодных пещер, где все хотели только выжить, мы пришли в Нортланд, в конец времен, и отчего-то решили, что одни люди владеют другими.

Вот бы знать, думала я, побольше о королях и цезарях, о географии, об искусстве. Труды каких писателей сохранны, а каких забыли? Что мы знаем на самом деле, кроме того, что память наша пунктирна?

А если все это выдумка?

Я закрыла глаза, погружившись в соответствующую моменту темноту. Отчего-то я думала о вопросах культурной памяти, бесконечно далеких от малышки Эрики Байер с ее маленькими проблемами. Перед смертью мне хотелось самой себе показаться умнее и тоньше.

Я была уверена, что на этом — все. Если бы я провинилась в чем-то маленьком, простительном, пришел бы Карл. Быть может, я получила бы какой-нибудь новый шрам или душевную травму на всю оставшуюся жизнь. Да, да, давайте все и сразу, только не надо меня убивать.

Но за мной пришли солдаты гвардии, когда-то чьи-то неразумные подопечные, а теперь воплощение Нортланда, единого во многих лицах. Символ того, что Нортланд сам явился за мной. Я стала судорожно думать, где я могла ошибиться. Может быть, я сказала вслух что-то не то? Может быть на меня кто-то донес? Но ведь со словами менее значимыми, чем слова

профессора Ашенбаха, могут разобраться и кураторы. Я — ресурс, я должна была быть опасной или же виновной в чем-то опасном, чтобы оказаться в этой машине.

А если дело в Вальтере? Роми? Нине? Каждый из нас был опутан сетью незаконных, неправильных, опасных связей. Я привыкла к этому и не ощущала со всей остротой, на какой тонкой нити держится моя вроде бы благополучная жизнь.

Что же они узнали? Хватит вопросов, Эрика. Я попыталась сосредоточиться. Если уж эти минуты у меня последние, то лучше подумать о маме, потрогать подол платья, ситцевую нежность которого я любила, вспомнить песни, которые я слушала и книги, которые читала.

В голове были только пустота с паникой, никак я не могла сосредоточиться на том, что было, зная, что ничего больше не будет. Я представляла, как меня не станет, и уже в этом была огромная ложь. Я не увижу собственного бесчувственного тела, не посмотрю на него со стороны, не буду ощущать тоску и горечь того, что все ушло. Я перестану существовать, а этого нельзя ни осмыслить, ни представить.

Каким-то чудом мне удалось не зарыдать. Это хорошо, пусть думают, что я сохраняю достоинство. На деле глаза словно бы пересохли, в горле першило. От ужаса и горечи я бы скорее закашлялась самым нелепым образом.

Я хотела вспомнить себя лет в двенадцать, а может в одиннадцать — беззаботную девчонку в круглых очках с книжкой подмышкой. Хотела вспомнить, как мы с Роми сидели на скамейке и болтали обо всем на свете, как смеялись, шутили, плакали, обнявшись, собирали мелочь, чтобы купить жвачки, придумывали истории, которые иногда почти равнялись вранью, а иногда были так очаровательно фантастичны, что никто и не обижался. Я нашла то, что искала. Я была благодарна. Я прожила жизнь, которая была далеко не бессмысленна. Я могла мечтать, читать и любить, и я посчитала свои привилегии. Они были потрясающими, несмотря ни на что.

Я вдруг улыбнулась, мне стало тепло, светло и весело.

Я спросила:

— Мы скоро приедем?

Никто не ответил мне, да я и не ожидала ответа. Я просто хотела показать, что я не боюсь. Что у меня есть некоторая внутренняя сила, которая делает меня мной. Быть может, у солдат, сидящих рядом идеальных версий людей, ее не было. Я была собой, а мои страхи перед миром были старше, чем сам этот мир. Все было хорошо, со мной не могло случиться ничего, что не случилось с другими.

Машина остановилась, словно бы она ехала только ради того, чтобы я подготовилась к неизбежному. Не салон автомобиля, подумала я, а гримерка для моей души. Как только, напудренный и подкрашенный мазохистической смелостью, порожденной разрывом с ощущением собственного тела, а значит и страха, мой разум оказался готов, движение тут же прекратилось.

Меня вытащили из машины — не грубо, но и не осторожно. И я увидела место, где никак не ожидала оказаться. Ракурс был несколько иной, чем предлагали туристические открытки или прогулочные маршруты, но место это я узнала безошибочно.

Протяженное здание, отбеленное, как зубы кинозвезды, блестящее мраморными и медными вставками. Здание было на пепельницу или шкатулку с их особенной, тяжелой важностью, в нем было множество мелких окон, узких, почти триптофобически страшных. Квадратные колонны удерживали над зданием сияющий дагаз, короновавший канцелярию.

Место, куда не попадают смертные, а тем более смертники. Канцелярия казалась

огромной, раздавшейся во все стороны Хильдесхайма, и я почувствовала себя крохотным насекомым, у меня задрожали руки, ничего не осталось от моей решимости, от внутренней красоты, что я принесла сюда.

Все оказалось растоптано, и я подумала: признаюсь во всем, что бы ни спросили, всех сдам, даже если не буду ничего знать — все придумаю только за маленький шанс, что мне повезет.

И хотя я должна была оказаться не здесь, не в этом здании, не в сердце и короне мира, страх только усилился. Абсурдность и неизвестность происходящего еще никого не успокаивали.

Что ж, Эрика, ты попыталась проявить лучшие качества своей души. Нет так нет, прояви какие-нибудь другие. Солдаты, охранявшие вход, солдаты, которые вели меня, солдаты внутри здания — мне показалось, что я попала в улей. Их было множество, и как же все они были красивы и неправильны в то же время.

Все правительственные здания в какой-то мере являлись копиями канцелярии. Маленькие уродливые дети отца-великана, не иначе. Зал казался мне бесконечно просторным и длинным до невероятности. Блестящий, начищенный мрамор отражался в зеркалах на колоннах, выдававшихся, как кости, с каждой стороны частых окон. Всюду были удобные кресла с символикой, подсвечники с символикой, у всего была печать, клеймо. Я видела их, солдат. Они все были в форме, но, как в муравейнике, специализация у них была разная. Кто-то держался скромно и охранял покой здания, кто-то сидел за столиками, в центре которых, как око, сверкал дагаз. Они читали газеты, они пили кофе, тихонько о чем-то говорили, потому что любой громкий звук в этом мраморном пространстве, нутре шкапулки, казался сверхзначимым.

Никогда я, наверное, еще не встречала такого сосредоточия власти: политической, финансовой, военной. В них было нечто отделяющее их от людей даже со стороны, какая-то легкая диссоциированность, однако я заметила, что солдаты были куда более разными, чем я считала. Даже тон разговора, жесты, могли доказать мне, что у каждого свой темперамент. Отчетливый холод шел лишь от тех, кто получился не слишком хорошо, и оттого они недостаточно умели быть похожими на людей. Остальным это удавалось куда лучше, и они казались страшнее.

Мой Рейнхард здесь? Впрочем, не об этом я должна была думать. Меня повели по широкой лестнице, когда я споткнулась, меня поддержали.

— Куда мы идем? — спросила я. — Зачем мы здесь?

В этой фразе не было никакого смысла, но мне хотелось доказать себе, что я способна разговаривать в канцелярии. Руки у меня тряслись, я вся дрожала. Интрига, между тем, сохранялась. Неврологическая пьеса, как очаровательно. И каждое ружье в этом здании обязательно выстрелит. В конечном итоге, это долгое путешествие должно было закончиться, у всего была точка назначения. Я увидела кабинет без номера, единственный на этаже. Дверь красного дерева поблескивала в свете люстры. Я уже догадалась, куда мы идем, и каким-то образом мне удалось не потерять сознание. Хотя я никогда не видела этого кабинета, спинным мозгом, шестым чувством, сердцем своим я чувствовала, кому он принадлежит.

Моему кенигу.

Когда передо мной раскрылись дверь, я обомлела. Над столом было огромное панно с изображением Хильдесхайма в черно-красных тонах, над панно этим раскинул крылья

медный орел. Из кабинета вело несколько дверей, плотно закрытых, так что я не знала, куда они впускают. Здесь были шкафы с книгами, многие из них казались очень старыми. Я старалась не рассматривать ничего слишком долго, не выказывать излишнего любопытства. На самом деле я была восхищена.

Во всем этом торжественном великолепии, тем не менее, если присмотреться, был какой-то мальчишеский бардак. На столе в беспорядке были расставлены оловянные солдатки, словно бы на середине заброшена была какая-то игра.

На полу валялись листы бумаги, исписанные чьим-то нервным почерком, я не решилась читать содержимое. Сцепив руки в замок, чтобы не показывать, как они дрожат, я уставилась в пол. Сначала я думала, что в кабинете никого нет, а затем услышала голос Себастьяна Зауэра.

— Фройляйн Байер, я полагаю? — спросил он. Отчего-то я поняла, что Себастьян лишь передает слова. Он стоял у окна, сперва я даже его не заметила. Обернувшись ко мне, он улыбнулся. Его прекрасное лицо мученика и героя любовника было озарено мягким светом. Он показался мне неземным существом.

— Да, — ответила я, чувствуя, что краснею. Отчего-то мне вовсе не хотелось терять сознание, я даже бояться перестала, настолько всеильна была его красота. Словно волшебство. Я смотрела на него, как загипнотизированная.

— Вы понимаете, почему вы здесь? — спросил Себастьян. Я следила за его губами, мне казалось, что я залпом выпила бокал вина — сердце приятно затрепыхалось, по телу разлилось тепло.

— Нет, — ответила я искренне. — Понятия не имею. Мне страшно.

Казалось, нет смысла скрывать от него ничего — такие глаза должны смотреть прямо в душу.

— Что ж, тогда дам себе труд объяснить вам. Вы помните юношу по имени Отто Брандт?

Я едва не выругалась.

— Да, — прошептала я. — Помню.

— Это хорошо. Ваш куратор, герр Вольф, пробовал самостоятельно решить проблему, однако у него не вышло.

Интересно, подумала я, увижу ли я Карла еще хоть раз в жизни? Я бы не расстроилась, нет, просто эта фраза, брошенная вскользь, испугала меня своей незначимостью, словно бы кениг (а вместе с ним и Себастьян) говорили о поломке какой-то вещи.

— Это дело перешло под мой личный контроль, и я, прежде, чем отдать необходимые распоряжения, хотел бы выяснить кое-что. Вы и ваши коллеги, фройляйн Байер, ближайšie люди в окружении герра Брандта. Это забавно, но родственников, друзей или хоть сколь-нибудь значимых знакомых этого интереснейшего молодого человека найти не удалось.

Голос Себастьяна казался мне музыкой, еще чуть-чуть, и я могла бы начать покачиваться в такт. Кениг был многословный, и речь его была излишне вычурной, что хорошо сочеталось с голосом Себастьяна, как текст и музыка песни.

— Поэтому, если вы не против, я хотел бы узнать все возможное от вас и ваших подруг.

— Почему они не здесь, мой кениг?

— Фройляйн Байер, ваше дело не занять меня беседой, а ответить на вопросы, которые я задаю вам.

У меня тут же словно язык отнялся. Я кивнула.

— Нет, Себби, я не могу. Сейчас спущусь!

Себастьян говорил это тем же мягким голосом, словно продолжал разговор со мной, а затем хлопнул себя по лбу. Я едва не засмеялась. Рассматривая его, я так и не смогла найти наушника и микрофона. Значит, Себастьян не был искусственным. Должно быть, он — парапсихолог, как и Карл. На нем был хороший костюм, даже подтяжки сидели так, словно их нарисовал на белоснежной рубашке Себастьяна художник с отличным глазомером. Я старалась сосредоточиться на обезболивающей красоте Себастьяна, чтобы не думать о том, что через секунду сюда спустится кениг.

Когда дверь открылась, я поборола в себе желание обернуться сразу же, а потом подумала, что слишком медлю.

— Мой кениг, — начала было я, но он прервал меня.

— Можно просто Августин.

Голос у него был резкий, громкий. Я подняла взгляд и не смогла сосредоточиться на кениге. За ним стоял Рейнхард. Я выдохнула, потом покачала головой, словно бы спорила со своими системами восприятия реальности. Я не ожидала столкнуться с ним когда-либо еще. Он был, как все они, в черной с серебром форме, с алой повязкой на руке, такой идеальный, лакированный солдатик, стальной мальчик, ни намек не содержащий на прежнее слабоумие. Глаза его были сосредоточенными, внимательными, я увидела в них, однако, некоторое смятение. Рейнхард смотрел только на меня, а я — только на него, между нами словно была прочерчена прямая.

— Ах да, — сказал кениг. — Благодарю вас, фройляйн Байер, за Рейнхарда. Он просто восхитителен и невероятно быстро учится.

Я подумала, что Рейнхард, наверное, знает уже намного больше, чем я. Мы давали им самые азы, основные понятия на уровне университета, однако их идеальный разум позволял им воспринимать информацию быстрее обычных людей. Карл говорит, они могут за час прочитать три-четыре тома идеологического кодекса Нортланда. А это всегда было чтение не из легких.

— Благодарю вас, Августин, — прошептала я. Наконец, у меня достало смелости отвести глаза от Рейнхарда. Я увидела кенига в первый раз. Это был совсем невысокий, стройный человек, рыжеватый блондин с нервными глазами. На нем был пятнистый плащ, словно с далматинца содрали шкурку, и кожаные штаны. Он выглядел чуждо — никто в Нортланде так не одевался, эти фасоны, крой, цвета, все было несочетаемо и незнакомо. На лице кенига цвела улыбка, мальчишески-веселая, и в то же время раздраженная.

Он привел с собой не только Рейнхарда. С ним была женщина — милая брюнетка в розовом платье, такая свежая и чудесная, если бы только не поводок на ее шее и не кусок черной изолянты, сковывающий рот. У нее были решительные глаза, правильные черты лица и связанные за спиной руки. Я отшатнулась.

— О, фройляйн Байер, не обращайтесь внимания. Это — оппозиция. Таково политическое устройство настоящего, что мы можем использовать ее любым приятным нам образом.

На этом инцидент словно был исчерпан. Кениг дернул девушку за поводок, подошел к столу и сел в удобное, обтянутое кожей кресло. Девушка осталась стоять. Она смотрела в окно, и я ее понимала. Казалось, кениг уже забыл о том, что держит на поводке живое существо, и по его задумке я тоже должна была забыть об этом.

— Себби, ты не заскучал? — спросил кениг. Себастьян чуть надул губы, как маленький мальчик, а затем сел на подоконник и закурил. Я поняла, почему они с кенигом, должно

быть, ладят. В обоих было нечто инфантильное.

Рейнхард остался стоять у двери. Лицо его выражало спокойный интерес, внимание, которого я прежде никогда не видела в его взгляде. Он был намного выше кенига и смешно смотрелся рядом с ним, оттого, видимо, предпочитал не маячить рядом дольше нужного. Инстинктивная мудрость статусных игр.

Кениг положил ноги на стол, взял сигару из ящика, срезал ей головку и не спеша подкурил. Тяжелый дым поплыл от него к девушке.

— Итак, фройляйн Байер, я решил поговорить с вами лично. Надеюсь, что вы оцените подобную щедрость. Этот совет, кстати говоря, прозвучал из уст Рейнхарда.

Я не осмелилась обернуться.

— Я подумал: отчего же действительно не поговорить с потенциальными свидетельницами?

В кениге было своеобразное обаяние, но в отличие от обаяния Себастьяна, оно не гипнотизировало, а настораживало. Кениг отчего-то напомнил мне Нину. Казалось, что он тоже играет какую-то роль. Кениг чуть подался ко мне, спросил:

— Быть может, вам сесть?

— Да, спасибо.

Я опустила в мягкое кресло, которое было ближе всего к столу. Слово бы кениг — директор школы, а я — ученица. Все властные отношения имеют минимальные отличия — микромир и макромир, как в магических учениях древности. Человек — это космос, а космос — человек. Вся Вселенная полна эквивалентов.

— Насколько я понимаю, вы с герром Брандтом подвергались тренировкам по установлению ментальных связей?

Если только можно было таким образом назвать баловство, которым с нами занимался Карл. Нужно было рассказывать постыдные мысли, рассевшись по кругу в комнате, где нет даже окна, чтобы отвлечься, или пытаться угадать, карточка с каким изображением в руке у твоего коллеги. Извращенный садизм Карла с его неполноценными представлениями о том, как люди становятся близки.

— Интересная мысль, — сказал кениг. — Я подумаю, как сделать эти тренировки более продуктивными.

Я посмотрела на Себастьяна, и он подмигнул мне. В этот момент он был похож на какое-то озорное сказочное существо.

— Прощу прощения, Августин, я не хотела...

— Все в порядке, конструктивная критика полезна.

Отчего-то то, с какой легкостью он от меня отмахнулся, лишь еще больше испугало меня.

— Так вот, вероятно, благодаря этим практикам с их сомнительной пользой вы, фройляйн Байер, и ваши коллеги знали герра Брандта лучше всех других людей. Это был просто дивно одинокий, бесполезный и социально немогущий субъект.

Кениг сделал паузу, казалось, сейчас на него должны были быть направлены лучи софитов.

— И что же вы можете рассказать нам?

Он ткнул в мою сторону сигарой. Этот человек, выглядевший как сутенер из фантастического фильма, владел всем, что я когда-либо знала, включая меня саму. Я снова посмотрела на Себастьяна, он улыбался. Я не знала, передал ли он эти произвольные

мысли кенигу.

Я как можно быстрее начала рассказывать об Отто. Я так мало знала о нем. Отто был странный. Он боялся дождя, просто до дрожи, спал, как он говорил, в парадной одежде, потому что переживал, что может умереть во сне, и всем будет лень переодевать его для похорон, любил щенков и терпеть не мог собак.

У него были красивые руки, словно бы привыкшие держать какой-то инструмент — кисть или скальпель.

Он не курил.

Иногда он вскидывал одну бровь, совершенно неуместно, словно у него был тик.

Что за глупости? В моих словах не было ничего полезного. Я занервничала, все во мне хотело услужить кенигу.

— Все это интересно, — сказал кениг. — Но что насчет него и Нортланда?

О, как и все мы, он был вовлечен в страстные отношения со своей страной, подумала я.

А потом Рейнхард сказал:

— Вы, наверное, не говорили с ним об этом. Но вы ведь бдительный, осторожный человек, фройляйн Байер. Каково ваше мнение на этот счет?

— Мое мнение? — спросила я. Я впервые слышала голос Рейнхарда, и я не могла его как-то охарактеризовать. В нем было какое-то особенное спокойствие, в то же время казалось, что Рейнхард голоден.

— Да, ваше мнение, — повторил он. — Оно искажено эмоциями, напряжением, социальными предрассудками, однако все эти искажения предсказуемы и контролируемы. Ваше мнение очень важно для нас.

Я не могла сосредоточиться. Рейнхард, это говорил мой Рейнхард, которого я с трудом уговорила не облизывать кусок мыла в душе. Он был личным заказом кенига, аксессуаром для него, быть может, советником. Или он, к примеру, готовился стать министром чего-нибудь примечательного или владельцем какой-нибудь важной компании, и кениг брал его с собой, чтобы ввести в курс дела.

Он был кем-то, кого я совсем не знала. Вопрос, который он задал, показался мне необычайно сложным.

Избежать смерти — самое естественное человеческое желание, его природная, ультимативная рациональность дает силы даже самым слабым из нас.

— По-моему, — сказала я честно. — Ему было абсолютно все равно.

Честность — лучшая политика, покуда на меня смотрит Себастьян Зауэр. Моя фраза показалась мне слишком короткой и оттого практически дерзкой, я добавила быстро и неуверенно, как все они любят:

— То есть, я не утверждаю, но для меня он выглядел аполитичным.

Кениг смотрел на меня. У него были зеленовато-серые, холодные глаза, будто стеклянные, несмотря на подвижную мимику. Все в нем казалось неестественным, словно бы иронически обыгранным, и поэтому кениг был для меня субъективно пустым. Я понимала, почему он использует Себастьяна как свою оболочку.

Себастьян был похож на человека, одержимого злым духом. Что до злого духа — он был передо мной. Наверное, поэтому кенигу нравилось окружать себя искусственными людьми. Я удивлялась, что Рейнхарду не страшно говорить при нем. В голосе его не было ничего, кроме разумной, спокойной субординации. Он не боялся.

Кое-что остается у них от предыдущей жизни — они не чувствуют страха перед

болезненно-острыми вещами вроде боли или смерти. Я еще помнила, как Рейнхард мог испугаться определенной последовательности линий, но не переживал по поводу пистолета в руке Карла.

Он не знал простейших вещей, оттого был бесстрашен. Теперь он владел большим количеством информации, чем я когда-либо смогу себе позволить, но это не отобрало у него смелости. Я не была уверена, что кто-то из настоящих, полноценных людей с непрерывной внутренней драмой, насыщенной Нортландом с самого рождения, мог бы так спокойно говорить при кениге.

Да кого я обманывала, я не хотела думать о нем, размышлять о нем, я хотела прикоснуться к нему, чтобы понять, настоящий ли он.

— Хорошо, — сказал Рейнхард. — Итак, он никогда не говорил о том, что значит для него Нортланд?

— Я не помню такого, — ответила я, впад в дрожащий, как струна, релятивизм. Я уже не знала, что было в реальности, что существовало объективно, а что являлось дефектом моего восприятия. От страха я вся стала этим дефектом, я ни в чем не была уверена и ничто не казалось мне истинным. Я вспомнила, с какой решимостью выложить все о ком угодно пришла сюда.

— Вы знаете, — неожиданно сказал Рейнхард. — Как легко люди отказываются от сочувствия и как безо всяких сомнений расчеловечивают друг друга, превращая таких же, как они, в мясные туши или семиотические знаки?

— Вы имеете в виду, что я пытаюсь каким-то образом подставить кого-то? Я просто сказала, что не помню. Я правда не помню. Но это не значит, что я лгу. Или что я передумала. Он был политически нейтрален.

Я почувствовала, что сейчас расплачусь. О, нервная крошка Эрика Байер, ничего существенно не изменилось с тех пор, как ты впервые зарыдала, увидев большого, рогатого жука.

Если подумать, экзистенциальной жути в нем было даже больше, чем во всех здесь присутствующих вместе взятых. Ты была тогда юной и не знала, что за существа обитают в мире, куда ты пришла. Сейчас-то тебе с существами все ясно.

Я снова взглянула на Себастьяна. Он с капризным любопытством смотрел на меня, словно я была здесь только, чтобы развлечь его.

— Нет, я просто хотел заставить вас нервничать.

— Ты думаешь, я не нервничаю?!

Слова вырвались прежде, чем я успела заметить и запереть их. Я обратилась к Рейнхарду на "ты", но никто словно бы не обратил на это внимания.

— Дело в том, — сказал кениг, болтая сигарой у себя перед носом. — Что герр Брандт поразил нас продемонстрированной им изворотливостью. Мы тщательнейшим образом проверили пригодность герра Вольфа. Он набрал больше баллов в тестировании, нежели его коллеги, никогда не попадавшие в немилость. Герр Вольф талантливейший парапсихолог, светоч нашей науки.

Науки о том, как быть хуже онкологического заболевания с точки зрения окружающих тебя людей.

Кениг улыбнулся, и я не могла отвести взгляд от его тонких губ.

— И этой науки тоже. Тем не менее, вы, фройляйн Байер, уже некоторое время делаете вид, что не понимаете, о чем именно мы вам толкуем.

И тогда я все поняла, сразу, словно бы кто-то включил свет в моем полном ностальгической чуши, страха и судорожной суеты разуме. Они говорили о том, что Отто скрыл свои мысли. Они выясняли у меня нечто куда более опасное, чем мне казалось. Я посмотрела на девушку, поймала ее взгляд, и мы поняли друг друга безошибочно. Напуганные, озлобленные женщины, загнанные в угол. И хотя для меня это все имело скорее метафорическую природу, а для этой девушки происходящее было буквальным в своей чудовищности, когда наши глаза встретились, мы сразу ощутили себя похожими. В реальной жизни мы могли иметь сколь угодно разные характеры, убеждения и судьбы, но здесь, в этой комнате, никого подобного нам не было, мы вцепились, вгрызлись друг в друга зрачками.

— Вас, видимо, интересует история Кирстен, фройляйн Байер, — сказал кениг. Он подался к ней, и сигара его замерла за миллиметр от бледной кожи. — Она имеет некоторое, пусть и очень опосредованное, к вам отношение. Эту сказку я сегодня уже рассказывал. Но, так и быть, повторю еще раз.

Словно бы я просила его рассказать мне о человеческой боли больше, чем я видела.

— Ее зовут Кирстен Кляйн. Крыса со стажем, но я велел хорошенько ее отмыть. Для крысы, однако, слишком интеллектуальна. Эта беспокойная женщина собиралась поиграть в революцию. И, надо сказать, у нее было некоторое количество оружия и людей. Маленькая фанатка профессора Ашенбаха.

Кениг затянулся сигарой, подержал дым во рту и выдохнул густое, показавшееся мне грозовому темным облако.

— Вы, безусловно, не слышали, почти никто не слышал, но она довольно долго была занозой для провинциальных городков. Помните, фройляйн Байер, как взорвалось здание полиции Хильдесхайма полгода назад?

Конечно, я помнила. По случаю этого события в Нортланде установили день национального траура. До того у нас были лишь праздники, так что население восприняло общественный проект с любопытством.

— Но вы ведь понимаете, что это не был несчастный случай. Однако, она удрала от нас. Вы, наверное, болеете за нее, хотя уже знаете финал. Хочу вам сказать, что я тоже за нее болел. Она занимала меня больше, чем кто-либо. Мы вышли на ее связь с профессором Ашенбахом, однако несмотря на все стереотипы, которые несомненно всплывают в голове, когда думаешь о мужчине в очках, рассуждающем о философии, он оказался довольно-таки стойким. Не выдал ее под пытками, не соблазнился возвратом к прежней жизни, и, даже прочитав его мысли, мы ничего ценного не нашли, лишь сентиментальную чушь, которую он старался утаить. Так что профессор Ашенбах оказался у вас, но как только фройляйн Бреннер пересобрала его, Маркус сам заинтересовался своей бывшей подругой. Он изъявил желание довести до конца это загадочное дело.

Так они помнили.

— Более того, он лично провел задержание. Какой трагической масштаб предательства, правда, Кирстен?

Он дернул ее за поводок. Кирстен отвела взгляд. Я подумала, что она готова была заплакать не от ситуации, в которой находилась прямо сейчас, а потому, что Маркуса больше нет, и нечто только похожее на него доставило ее сюда.

— Это иронично, да? — спросил кениг. Он не издевался. Он пугал меня. Вовсе не болью и жестокостью, которые можно приготовить для неудобного человека. В этой обертке могла быть любая конфета, может и не такая горькая.

Он рассказывал мне вещи, которых я не должна знать. Я задрожала, с мышинным ужасом подумала о том, что в таком случае со мной будет.

Они считали, что я умею скрывать мысли. Что бы я ни говорила, у них нет надежного способа проверить. Они боялись, что Отто научил меня чему-то, хотели изолировать меня, словно зараженную. Я знала, что сегодня я домой не вернусь. Вся моя ценность свелась к нулю перед опасностью распространения заразы, которую принес Отто.

Они смотрели на меня с любопытством и обеспокоенностью ученых, еще не знающих ничего об опасной и контагиозной болезни. Я замотала головой.

— Нет, нет, пожалуйста, вы все совершенно не так поняли!

— Что мы не так поняли, фройляйн Байер?

— Я не только ничего не знаю, но и ничего не умею!

Кениг засмеялся.

— Вы слишком самокритичны.

Я подалась к нему через стол, так что могла чувствовать его дыхание. Я могла ощущать движение жизни в моем кениге, честь, которой не всякий в жизни удостоивается. Но я бы променяла ее на спокойный, одинокий вечер дома.

— Пожалуйста, я умоляю вас, он ничему меня не учил.

— Мы пока не можем этого проверить, вы ведь понимаете? Такова жизнь, фройляйн Байер, если бы вы были больны, к примеру, чумой нам бы пришлось вас сжечь.

— Что?

— Шучу, для начала мы бы застрелили вас. А тело бы сожгли.

А потом он вдруг ударил кулаком по столу, все во мне тоже подпрыгнуло вместе с оловянными солдатиками, я отшатнулась. Две фигурки стукнули, ударившись об пол, и я устояла на этих павших солдат, чтобы справиться со страхом. Кениг крикнул:

— Ты вправду считаешь, что мы тебе поверим? Тебе или любой другой из вас! Пока Отто Брандт на свободе, пока мы не знаем, каким образом он скрывал свои мысли, ты не покинешь Дома Милосердия!

Этот приступ ярости, наконец, заставил меня заплакать. Девушка на поводке поглядела на меня с презрением (что ж, это значило, что я достигла дна). Они пытались испугать меня, чтобы я призналась, чтобы я подтвердила, что знаю нечто.

Но я ничего не знала, и это было так легко принять за ложь.

— Фройляйн Байер, — продолжил кениг спокойнее. — Воспринимайте это как временную меру. Мы вернем вас на ваше место работы, как только закончим поиски герра Брандта.

— Прошу вас...

— Не надо нас ни о чем просить. Мы не собираемся убивать вас ни в коем случае. И в тюрьму вас сажать не станем, вы ведь не преступница. Вы принесете обществу пользу в женском крыле Дома Милосердия. Кроме того, это избавит вас от необходимости выходить замуж в случае, если удача вам улыбнется.

Комната казалась мне все темнее и темнее, зрение словно бы сузилось, были бледные губы кенига, истязавшие меня этими словами, все остальное исчезало.

— Умоляю вас!

Я сползла со стула, встала на колени, наверняка я выглядела скорее смешной, поза была идиотической, я выглядывала из-за высокого стола, ногтями вцепившись в него.

— Я все скажу, все скажу, что вы только хотите. Спрашивайте! Задавайте любые

вопросы!

— Вы знаете, каким образом Отто Брандт скрывал свои мысли? — спросил кениг. Его деловитый тон придал ему еще более жестокий вид. Я покачала головой. У меня не было ничего, что я могла бы дать моей любимой стране, ни единого слова для славного Нортланда.

Кирстен Кляйн смотрела на меня нахмурившись. Наверняка, во время своего задержания она вела себя более достойно.

— Я не понимаю, — сказал кениг, обратившись к Рейнхарду за моей спиной. — Я ведь решил поступить с ними как можно более мягко. Отчего она рыдает?

Оттого, видно, что человеку всегда всего мало. Я едва не засмеялась.

— Полагаю, мой кениг, что невозможно составить устойчивый градиент человеческих страданий.

Кениг протянул руку и потрепал меня по щеке.

— Ничего не бойтесь дорогая, потому что любовь — единственная сила, способная избавить вас от страданий.

— Мой кениг, — причитала я. — Я сделаю все! Только дайте мне шанс!

Он брезгливо встал, дернул Кирстен за собой, я поползла за ним. Высшая человеческая гордость, в конце концов, заключилась для меня в способности умолять.

— Прекратите, вы меня смущаете. Я здесь не для того, чтобы выслушивать ваши предложения.

Чьи-то руки подняли меня, я отбивалась, защищая свое священное право лужицей распластаться на дорогом ковре.

— Знаете, ни одна из ваших коллег не закатывала прилюдной истерики.

Что ж, Лили и Ивонн было за что уважать, а крошку Эрику Байер снова унесет рекой детских слез.

Я услышала совсем рядом голос Рейнхарда.

— Фройляйн Байер, успокойтесь. Сейчас вы делаете себе только хуже.

Глупыш, подумала я, каждую секунду своей жизни я делаю себе только хуже, таковы мои убеждения. Голос Рейнхарда оставался тем же самым — спокойным, самую чуточку заинтересованным. Не тебе, подумала я, отправляться в Дом Милосердия. Ты ведь вышел оттуда, ты навсегда покинул его.

А потом Себастьян вдруг засмеялся. Он хохотал, сказочный и злой, надо мной и словно бы надо всем Нортландом. Ему одному можно было вести себя таким образом. Кениг молчал, смотрел в окно, мимо Себастьяна. Чертов избалованный принц. Я хотела попросить кенига заставить его замолчать, но Рейнхард неожиданно зажал мне рот. Словно бы знал, какую ошибку я хочу совершить. Движение это было резкое, безапелляционное, но не жестокое. Я задергалась в его руках, но бесполезнее этого, пожалуй, ничего на свете не было.

— Фройляйн Байер, еще хоть писк с вашей стороны, — спокойно начал кениг, а потом вдруг закричал:

— И вы не выйдете из Дома Милосердия никогда, как законченная истеричка!

Крик его, в сочетании с тем, как крепко держал меня Рейнхард, подействовал на меня отрезвляюще. Даже Себастьян закончил смеяться. Всех в комнате словно бы ледяной водой окатило. Несмотря на экспрессивность, свойственную кенигу, он все равно казался мне не до конца настоящим. Была в его эмоциях театральная наигранность, от которой никак не

избавиться.

Мне стоило гордиться тем, что сам кениг лишил меня моей жизни. Какая великая честь, обычно этим занимаются безликие солдаты в черной одежде. Я была так зла и отчаянна, что мне казалось, если Рейнхард выпустит меня, я брошусь на него или на Себастьяна. Пусть бы они даже пристрелили меня.

— Этого не будет, фройляйн Байер, — сказал кениг. Я со злостью посмотрела на Себастьяна. Мне казалось, словно он вода, которая проводит ток между мной и кенингом. Это сравнение принесло мне на язык кислый вкус, который заставил меня скривиться.

— Вы — собственность Нортланда, никто не будет вам вредить.

Надо же, какой мягкий патернализм.

Только сейчас я заметила, что Рейнхард чуть-чуть приподнял меня над полом. Я попыталась дать ему понять, что все в порядке, я успокоилась, но, видимо, у него на этот счет было другое мнение. Он опустил меня только, когда кениг приказал:

— Выпроводите ее. И сопроводите до ее последующего места пребывания.

Я знала, что это за место. Место, где меня больше не будет. Я глянула на лишних, забытых на полу солдатиков. Такая судьба ждет нас всех.

Когда меня выволакивали из кабинета, я обернулась, чтобы посмотреть на Рейнхарда. Он был абсолютно спокоен, словно бы не видел всей это отвратительной сцены. Ему бы чашку кофе и вечернюю газету, да и отправить его куда-нибудь за столик к таким же как он.

Он монстр, как и все они. Ему не жалко Кирстен Кляйн (Маркусу ведь тоже не было ее жалко), ему не жалко меня. Эротическая фантазия Нортланда о сверхчеловеке обернулась, в конечном счете, изъятием всего после приставки "сверх". Что ж, это искусство, а оно всегда более искреннее и подлинное, чем жизнь.

Я почти не жалела, что он таков. В противном случае, ему было бы невыносимо.

А уж с тем, как невыносимо мне я как-нибудь могла бы справиться. Я была жива, в отчаянии, напугана и унижена, но жива. А это было больше, чем все, на что я рассчитывала сегодня вечером.

Глава 7. Новые формы контроля

Я чувствовала себя ничем или, по крайней мере, чем-то растерзанным. Скорее второе, потому как, вероятно, ничто — это категория, которую нельзя ни помыслить, ни представить. Под высоким потолком вращался, разгоняя воздух, вентилятор. Слишком медленно, чтобы что-нибудь мне отрезать, слишком томно, тягостно, чтобы меня отвлечь. Впрочем, это было единственное развлечение, полагавшееся мне здесь. Фрау Винтерштайн обещала принести мне немного книг, однако выбор ее я заранее осудила.

Однажды из подобной комнаты я забрала Рейнхарда. Тогда я представить себе не могла, что мы можем поменяться местами. Все было белым и ослепительным, и если задернуть плотные, снежного цвета шторы можно было представить, что я высоко-высоко в горах, где только снег, что холод убивает меня, что никто меня здесь не найдет.

Тогда становилось не так тоскливо. Надо же, могло ведь быть и хуже. Теперь мое сдержанное восхищение изворотливостью Отто сменилось злостью на него. Я желала, как никогда сильно, чтобы его нашли. Я желала зла этому человеку, чья вина передо мной была лишь в том, что он обо мне не подумал.

В сущности, вряд ли я сама дала бы себе труд представить, что будет с другими, окажись я в аналогичной ситуации. Именно этого от нас всегда хотели. Посчитай свои привилегии, Отто. В отличие от меня ты на свободе, по крайней мере пока, в отличие от меня, Нортланд больше не может тебя использовать. Где-то там, быть может, Карл искрометно шутит об этом, если только еще жив. Иногда мне становилось почти спокойно, эта комнатка, белесая, снежная, была моим царством, здесь я, по крайней мере пока, была одна. При желании вполне реально будет потерять счет времени и сойти с ума.

Что бы я спросила у Отто, если бы он был здесь? Наверное, я бы вонзила ему в щеку карандаш, хотя для этого у меня должен был быть и он. Слишком много "если". Я бы спросила: почему я, Отто?

Он бы, наверное, потупился, посмотрел бы на носки своих ботинок, обнаружил бы, что у него развязаны шнурки, жутчайшим образом, пятнами, покраснел бы.

Но я бы ответила себе сама: а почему нет, Эрика? Почему всегда кто-нибудь?

У меня была надежда, пусть и призрачная, что мы выйдем отсюда. Быть может, все как-нибудь образуется. Отто найдут, и окажется, что его ограбили, а труп бросили в реку, к примеру. Или вывезли за город. Такое ведь тоже возможно? Плохо было надеяться на подобный исход. Плохо было быть эгоистичной, мелочной и злорадной. Ничему-то тебя жизнь не учит, малышка Эрика Байер. Поступай-ка ты с другими так, как тебе хотелось бы, чтобы обошлись с тобой.

Обойдутся.

Я перевернулась на бок и смотрела теперь, как бьется о стекло муха. Ей было сюда не попасть, а мне отсюда не выбраться. За окном был только пустой двор. Иногда можно было увидеть мужчин — будущих солдат. Они все выйдут отсюда, пусть не собой, но выйдут.

Женщины чаще всего никогда не покидали Дом Милосердия. Но и они служили Нортланду так, как могли. Женщины из Дома Милосердия, жалкие, безумные бедняжки, какими я их считала до сих пор, вынашивали для Нортланда детей. Чаще всего отцами их были солдаты гвардии. В конце концов, Нортланду нужны были новые солдаты, а значит —

новые слабоумные. Гуманнее было производить их на свет, чем подвергать лоботомии вполне здоровых людей, хотя бывали и исключения вроде профессора Ашенбаха.

Безумные девушки и мужчины, бывшие когда-то безумными, и чтобы в медицинской карте как можно больше отметок — наследственно, наследственно, наследственно.

Неизлечимо.

У меня никаких врожденных дезадаптаций не было, хотя вряд ли можно было сказать, что Эрика Байер безусловно здорова психически, нельзя было и назвать меня абсолютно сумасшедшей. Еще меньше подобной клеветы можно было возвести в сторону Лили и Ивонн.

Но, в конце концов, это было неважно. Здоровых детей отдавали на усыновление, больные росли здесь и дожидались таких, как я. Ферма по созданию идиотов. Меня затошнило при мысли, что придется терпеть чьи-то грязные, незнакомые прикосновения, чужой, отвратительный запах.

Фрау Винтерштайн сказала мне думать о Нортланде, и о, я непременно буду, только в несколько иных тонах, чем она полагает. Честно говоря, фрау Винтерштайн, восторженной, молоденькой, словно бы только что из школы выпустившейся, кальфакторше с блестящими, длинными волосами, удалось меня удивить. Я никогда прежде не видела никого, кому бы так сильно нравился Нортланд. Я бы даже в существование человека вроде нее не поверила. После того, как врач, установив мое репродуктивное здоровье, перепоручил меня ей, она принялась с восторгом рассказывать о том, как здесь хорошо.

— Человеческие условия, — сказала фрау Винтерштайн. — Совершенно человеческие.

— Да, — сказала я. — Уверена, что не замечу разницы.

Она кивнула, так и не поняв, что я вовсе не имею в виду того, что сказала. У фрау Винтерштайн, несмотря на ее юность и нежность ее сияющих волос, были упрямство и упорство ледокола. Казалось, что она твердо вознамерилась приобщить меня к местным порядкам, расписывая мне, как чудно здесь кормят, и как хороши палаты.

— Не бойтесь, — сказала она. — К этому очень быстро привыкаешь. Такая же работа, как и любая другая. Полегче многих.

Ей было все равно, сумасшедшая ли я. Быть может, я не первая политическая заключенная, которая тут очутилась. Я думала об этом как-то отстраненно, мне не хватало надрыва, чтобы соотнести себя с этими белыми коридорами, палатами за тяжелыми дверьми и мужчинами, которые их посещают. В принципе, все даже можно было рассмотреть и проанализировать с определенной, почти художественной точки зрения. Тончайшая ирония того, что можно было отдавать врагов Нортланда его самым верным слугам для созидательного производства солдат и пушечного мяса не принесла мне утешения, но я отметила, что если бы я находилась далеко отсюда, это могло бы показаться забавным.

Все может быть забавно, когда тебя не касается.

— Дом Милосердия — лучшее место, здесь о тебе будут заботиться. Поверь мне, — говорила фрау Винтерштайн. — Ты могла попасть в куда худшие условия.

— В тюрьму?

Она промолчала, может быть ответ был очевиден, а может быть она имела в виду нечто другое. На кладбище, к примеру. Фрау Винтерштайн ни о чем меня не спрашивала. Не думаю, что она хотела знать. Со всей яростью она боролась с внутренним презрением ко мне, и битва эта приносила свои плоды. Никогда я не видела человека слаще и ярче. Она была как леденец, ее даже хотелось лизнуть, по крайней мере чтобы посмотреть, как она отреагирует.

— Хорошее обеспечение, просто отличные условия с одноместными палатами, у нас лучший Дом Милосердия во всем Нортланде, — продолжала она, словно бы кто-то снова ее завел. Я кивала, так что мы были две игрушки.

— Что касается секса то, к примеру, герр Винтерштайн тоже мне не всегда приятен.

Я представила некое набриолинное, усатое чудовище в два раза ее старше. Скажем, он успешный финансист, которого еще не вытеснили с рынка те, кто хорош во всем без исключения. Взял ее в жены рано, обеспечив ей и ее семье достойную жизнь, так что фрау Винтерштайн вынуждена теперь оправдывать проституцию и суррогатное материнство, так как занималась тем же, только вне коллектива.

А может я была права, и то была великая любовь между супругами Винтерштайнами, дававшая трещину только в постели. У меня, однако, сложилось такое впечатление, что фрау Винтерштайн может и хотела бы оказаться на моем месте, и только врожденная порядочность мешала ей симулировать сумасшествие или враждебные политические убеждения.

— Кроме того, если удастся быстро забеременеть — больше года никаких проблем, никто к вам и не притронется, пока ребенок грудной.

— Как в санатории, — сказала я.

— Да, именно. Только за счет государства.

Тогда я даже посмотрела на нее, поймала взгляд ее блестящих-блестящих, как елочные игрушки, глаз, попыталась понять, издевается она или нет. Фрау Винтерштайн не издевалась ни чуточки, она говорила абсолютно серьезно, со знанием недоступной мне правды жизни и с огромной любовью к своему делу. Меня подкупило, с другой стороны, что она вовсе не казалась злой. Фрау Винтерштайн напомнила мне школьную старосту или одну из одержимых благотворительностью девушек, стремящихся защищать всех слабых и беспомощных, которых Нортланд пока не признал мешающими самобытной жизни нашего народа. Она верила в то, что делала и считала, что может помочь мне. В этом было нечто по-детски очаровательное, словно бы я встретила маленькую девочку, которая решительно взяла управление домом в свои руки, потому что мама устает на работе.

Наивность и решительность фрау Винтерштайн так покорили меня, что я даже забыла о своем раздражении. Кроме того, мне хотелось познакомиться с ней, возможно она единственная в течение долгого-долгого времени будет моей собеседницей.

— Как вас зовут?

— Гретхен, — сказала она, и та ласка, с которой было произнесено это имя, словно бы она кошку ласкала, меня позабавила.

— Очень приятно познакомиться. Меня зовут Эрика.

Произнести собственное имя было приятно, словно бы я обозначила себя в пространстве. Мы замерли у одной из палат, и я поняла, что теперь я дома.

А потом были пять или шесть часов, когда ничего не происходило. Я подумала, что даже могу с этим смириться. В конце концов, я умела и любила быть наедине с собой. Можно было, к примеру, посчитать свои привилегии или вспомнить названия всех глав в книге профессора Ашенбаха, предавшего свою подругу Кирстен. Можно было почитать стихи самой себе, придумать эссе, которое войдет однажды в мой политический роман. Правда, записать его не на чем, но фрау Винтерштайн обещала мне не только книги, но и тетради. У меня может быть свой тюремный роман, в котором я зашифрую убийственную критику настоящего в откровениях государственной проститутки. Я даже представила,

какую речь читала бы при освобождении, где-нибудь в другом месте и в другое время, где меня стали бы слушать. Она называлась бы так: «для тех, кто любит войны, и для тех, кто желает с ними покончить».

Правда, примерно на этом месте и произошел ступор, потому как опыта, который я собиралась описать для шокированных, сопереживающих и тайно возбужденных людей у меня не было.

В общем, на самом деле я изрядно себя переоценила. Оказалось, что совершенно наедине с собой, без книг, тетрадей и планов, мне мучительно скучно. Так что некоторое время я плакала, потом пришла к выводу, что кениг напомнил мне Нину Рохау своей абсолютной искусственностью. Все мы были заводные игрушки в огромной коробке под названием Нортланд, и периодически нас встряхивало, кто-то выпадал за борт и исчезал тем или иным способом. Туда ему и дорога, говорили все остальные, наслаждаясь покоем.

Но кениг был другим, в нем вовсе ничего настоящего не было, он был вырезан из бумаги, и этот образ легко было смять до полной неразличимости. Каким человеком он был на самом деле? Да каким угодно. Даже злость его казалась наигранной. Он просто забавлялся.

Мне стало обидно. Надо же, рождается человек, такой же как и все, еще не зная, что он может распоряжаться жизнями других. Все дети в самом начале равны, никому не нужно считать своих привилегий. Ты приходишь в мир и узнаешь, что ты никто или кто-то, постепенно, слово за словом, а затем незаметно становишься взрослым, и у тебя нет даже тени сомнений, что все так, как и должно быть.

Зато потом все равно умираешь. И вот ты уже не "кто-то" и даже не "когда-то". Я со злорадством подумала, что мы все одиноки в самом конце, и кениг еще получит свою долю невыразимого ужаса.

Затем я ненадолго скрылась под одеялом, из белого нырнула в темное, в кокон, теплый и душный. Это навело меня на мысли, показавшиеся меня какими-то склизкими.

Даже не игрушки, нет. Куколки и солдатики с нарисованными лицами, которым не нужно думать и чувствовать — слишком лестно для нас. Особенно для меня в моем текущем состоянии.

Насекомые, вот кто мы. Стараемся выбраться, упасть с липкой ленты, куда угодили, дергаем лапками и блеским крылышками, а солнце просвечивает сквозь липкий янтарь, готовое нас запечь.

Сравнение это, не лишнее мерзости, все расширялось и расширялось, пульсировало внутри меня. Тут у нас муравейник или скорее улей. Каждая комната — ячейка сот. Склизкий мед, от него не отмыться, и мы всей страной побеждаем смерть.

Пчелы здесь, конечно, антропоморфные, с традиционными для человека половыми ролями, никаких королев. Бедняжки-сумасшедшие и солдаты, производящие свое продолжение и тех, кто сможет продолжать других мужчин.

Липкие, копошащиеся насекомые, клаустрофобия сот и отвратительный страх перед ядовитыми, жалящими существами захлестнули меня. Я вскочила с постели, подошла к окну и стала смотреть на муху, переливающуюся лабрадоритовой зеленью. Большие фасеточные глаза ее показались мне пугающе-красными, а жужжание тошнотворным. Мне представились куколки, облепленные насекомыми, словно трупы, и я решила, что еще один подобный образ, и я себе врежу.

Честно говоря, это давно стоило сделать. А потом я услышала писк кнопок на кодовом

замке, метнулась от окна в угол, прижалась к нему. Одно хорошо — реакция скорее характерная для животных, чем для мерзких мух или пчел. Я почувствовала, как дрожу, сердце металось в грудной клетке, мне казалось, что я сейчас задохнусь.

К тому моменту, как дверь открылась, я больше напоминала загнанного в угол зверька, нежели человека со всем богатством и проклятием разума.

Увидев Рейнхарда, я на мгновение обрадовалась. Он вошел ко мне в палату, и когда дверь за ним закрылась, я на секунду забыла, зачем он здесь. А потом, когда он положил фуражку на тумбочку, на аккуратный, безликий, белый квадрат, это бесценное знание ко мне вернулось. Я сильнее вжалась в угол, сказала:

— Фантазия на тему инцеста?

Он посмотрел на меня, я никак не могла привыкнуть к его сосредоточенному, осмысленному взгляду.

— Да, я уже пошутил на эту тему при регистрации, — сказал он и улыбнулся мне. И хотя вышло очень красиво, по-своему даже обаятельно, в нем оставалось нечто холодное. Тот самый холод, который вызывает зубную боль, если неловко откусить мороженное, отвратительный и доходящий до самой макушки. В то же время я была почти рада, что Рейнхард пришел ко мне первым. Я знала его запах, я прикасалась к нему прежде. Наверное, это будет менее чудовищно.

Он не делал ни шагу вперед, а я не пыталась вырвать себя из оцепенения. Мы смотрели друг на друга, и я вдруг поняла, как долго это может продолжаться. По сравнению с одиночеством даже весело. В конце концов, он сказал:

— Я здесь не для того, чтобы тебя использовать. Хотя с административной точки зрения все как раз наоборот. По крайней мере, так написано в моем заявлении.

— Заявлении? — спросила я. Этот вопрос был вежливее, чем "сколько слов теперь в твоём словарном запасе?".

— Да. Я имею приоритетное право в выборе партнерши. Во-первых, из-за того, что мое отклонение имело генетическую природу, во-вторых благодаря моему статусу.

Он говорил об этом самым спокойным образом. А я подумала, надо же, рефлексия на тему врожденного слабоумия от его носителя, полностью избавленного от любых ментальных проблем. Форма его фразы в сочетании с ее смыслом создавали контраст, лауну, в которую я с радостью нырнула. Интересно, думала я, может ли он воспроизвести свои мысли тех времен? Обидно ли ему, что его приоритетное право строится на сложности патологии?

Он сделал шаг вперед, но я сказала:

— Не делай резких движений.

— Хорошо. Я могу сесть?

— Да, безусловно.

Он прошелся по комнате, я думала, он сядет на кровать, но Рейнхард сел на стул у окна, прямо передо мной. В движениях его была несвойственная ему властная расслабленность, особенный вид контроля ситуации. В этом была теперь его суть — в силе.

— Ты точно не собираешься меня...

Я помолчала, затем все-таки выплюнула это слово, как выбитый зуб.

— Использовать.

— Я пришел поговорить, Эрика.

Я смотрела на него, не веря, как быстро мы могли поменяться местами. Теперь он был в

черном, в устрашающей и порнографично-садистской военной форме, а я была в ситцевом белом платье, которые всем здесь выдавали. Все наоборот, меняем местами, Рейнхард, это такая новая игра.

— О чем? — спросила я.

— Я хотел дать тебе, как это, — он щелкнул пальцами, затем улыбнулся. — Надежду. Я попробую вытащить тебя отсюда. С большой вероятностью у меня получится.

Он чуть выставил ногу, так что ботинок его почти касался моей ступни. Я сделала крохотный шаг назад, словно от волны.

— Как ты мне поможешь?

— Объясню позже. Но твое заключение, как и освобождение, вертится вокруг фигуры Отто Брандта.

— О, этот фаллоцентричный мир, все вертится вокруг мужчин.

Он засмеялся, улыбка замерла на его губах. В нем было нечто от хищного животного. Хотя он был абсолютно спокоен, но я почувствовала, что внутри его одолевает напряжение.

— Ты пришел сказать мне только это?

— Да. Я подумал, что ты могла бы легко впасть в отчаяние от неизвестности.

— Как и любой человек.

— Как и большинство людей.

Мне казалось, мы во что-то играем или соревнуемся в чем-то, о чем я не договаривалась.

— Есть еще кое-что, — задумчиво сказал Рейнхард. — Это понравится тебе меньше.

Я сделала несмелый шаг к нему. Рейнхард глянул в окно, постучал пальцем по стеклу, сбив муху. Я заметила на его руке золотые часы.

— Роми Вайсс. Твоя подруга.

— Ты помнишь ее?

— Я помню все.

Взгляд его снова коснулся меня, я сделала шаг назад. Своего рода фокстрот.

— Поэтому я здесь, — сказал он и без паузы добавил. — Так вот, она в Доме Жестокости.

— Дом Жестокости?

— В соседнем крыле. Общественность мало о нем знает. Разница между этими двумя формированиями инстинктивно понятна, правда?

Я скривилась, сердце мое забилося еще сильнее. Роми была в беде, в опасности, даже в большей, чем я.

— Ты попробуешь ей помочь?

— Если у меня будет время и настроение.

— Пожалуйста, Рейнхард. Скажи, она может там умереть?

— Я бы ставил вопрос по-другому.

— Что такое Дом Жестокости, Рейнхард?

— Не понимаю, что именно тебе непонятно из названия.

— Я не в полной мере постигла искусство развивать полный контекст из двух слов.

Холодность и властность сочетались в нем с какой-то парадоксальной мягкостью, проросшей, быть может, из него настоящего, из неконфликтного, спокойного Рейнхарда моего прошлого. И в то же время в этой мягкости была опасность, иллюзия, в которую так легко было впасть. Когда он встал, я отшатнулась. Он был намного выше и сильнее меня, и я

почувствовала страх абсолютно физиологической природы. Мне захотелось извиниться, а лучше исчезнуть.

Он подошел ближе и склонился прямо ко мне. Каким-то странным образом я поняла, что нужно повторить вопрос:

— Что такое Дом Жестокости?

— Столовая, — сказал он шепотом. Я выдохнула. Злость захлестнула меня, и я подумала, что было бы здорово взять что-нибудь острое и воткнуть в его сердце, чувствуя сопротивление плоти.

— Ты издеваешься надо мной? Ты пугаешь меня? Ты специально?

Должно быть, вид у меня был вправду испуганный, потому что Рейнхард посмотрел на меня с легкой досадой.

— Я не хотел тебя пугать.

— Видимо, теперь ты по-другому не можешь.

Он улыбнулся уголком губ, продолжал смотреть на меня с каким-то вежливым сочувствием.

— Да, я понимаю. Твоя подруга в беде, ты в беде, тебя удерживают против воли в программе для сумасшедших, предусматривающей деторождение, и ты напугана, потому что я мужчина.

— Значит, ты все-таки способен сопереживать.

— Сопоставлять факты.

Мы стояли так, что я почти полностью скрывалась в его тени, в этом была какая-то композиционная сексуальность.

— А как тебе твоя новая жизнь? — спросила я.

— Всегда есть куда стремиться.

Я разговаривала с родным человеком, и в то же время он исчез навсегда. Как если бы моего родственника подменили какие-нибудь сказочные существа. Или он изменился бы сам, к примеру, умерев. Человечество одержимо страхом перед такими сюжетами.

Все эти люди, ставшие немного не такими. Или вовсе чужими. Измененные люди, ставящие вопрос: что такое родные, кто такие близкие? Выскобленные и наполненные заново, глядящие на нас так, как никто не глядит, знающие слишком много и ставшие кем-то, кого мы больше не сможем любить.

— Я тебя не знаю, — сказала я вдруг. — Не знаю человека, которым ты стал. А ты знаешь меня, так? Помнишь?

Он кивнул. Я смотрела на его руки, затянутые в кожаные перчатки, смотрела на движения. Он казался мне жестоким, но он не был враждебен мне, потому что однажды я пыталась заботиться о нем, пыталась быть доброй к нему. Эта была успокаивающая и утешающая мысль, от которой внутри стало тепло и до какой-то степени даже просто.

Но кто ты такой, Рейнхард Герц?

Он был безупречно ухожен, чисто выбрит, одет с иголочки, так что создавалось впечатление, что в уходе за собой есть для него нечто эротическое. При всем его спокойствии, в нем было нечто комедиантское, странного рода забавность, открывающаяся при долгом на него взгляде. Истинное значение его ускользало от меня, он прятался. Эта комичность была связана в нем с жестокостью. Я пыталась нащупать это ощущение, в нем был самый пульс современности, в нем был смысл, который помог бы мне осознать все остальное.

Но он ускользал и скрывался. Я смотрела на Рейнхарда, пытаюсь собрать его по кусочкам. Жертва моей внутренней катастрофы, разорванный на части образ.

— Что касается меня — возможно. Это если предположить, что ты кого-либо когда-либо знала, и что кто-то знал тебя.

— Ты хочешь растоптать мою хилую социальную адаптацию?

— Нет. Считаю это глобальным вопросом ко всем нынеживущим.

В его речи было нечто от моей, переработанное, пережеванное, перенасыщенное штампами, но мое. Наверное, так чувствуют себя матери, узнавая в детях свои черты. Нарочито многословный, самодовольный, как я в своих мыслях. Он вдруг спросил:

— Ты хочешь, чтобы я ушел?

В этом вопросе не было чего-то важного, не доставало чувства, которое сподвигает людей интересоваться, как там другие мыслящие, не вмещающиеся в их эго создания. И в то же время он старался имитировать это, и я ценила попытку.

— Нет, — сказала я. — Мне одиноко и страшно. Не уходи, пожалуйста.

Почти тут же я добавила:

— Ты помнишь себя раньше, а как ты чувствовал себя, помнишь?

— Как человек, которого бросили в незнакомом городе одного. Отрезав ему язык. И несколько раз ударив по голове. Причем чем-то довольно тяжелым. Ты очень мне помогала, хотя я только теперь осознаю большинство вещей, которые ты говорила. Я помню, когда Ивонн сказала, что тебе со мной не повезло, ты ответила тогда...

Он цокнул языком, а затем в точности воспроизвел фразу, которую я произнесла минимум полгода назад.

— Договариваться с ним во-первых непросто, а во-вторых все равно возможно. Так?

Я кивнула.

— Ты пыталась показать, что я такой же, как ты. Хотя я отличался от тебя. И сначала я пугал тебя.

— Сейчас ты вызываешь у меня больше страха.

— Да, я создан для того, чтобы вызывать страх.

Насекомые, всюду насекомые, копошащиеся, похрустывающие лапками, жужжащие существа — источники инстинктивного страха перед болью и множеством.

— Фактически, — продолжал он. — Даже мой внешний вид должен пугать. Красота должна быть страшной.

— Ты считаешь себя красивым?

Мне вправду было интересно. Я хотела знать все про то, как он ощущает себя.

— Не в том смысле, в котором обычно понимают красоту. Я красивый, потому что я обнажаю нечто о других людях.

Тайное знание, подумала я, то самое, которого я искала.

— Красота это нечто доведенное до абсурда, — сказал он. — Приятные черты могут быть возведены в абсолют скульптуры или картины. Приятные пропорции могут быть использованы для создания экстаза. Я что-то вроде этого. Во всем.

Было странно слушать его. Я создала его, и теперь он говорил об этом со мной, о своих ощущениях, о своем восприятии самого себя. Как если бы я нарисовала картину, и персонаж ее вдруг поведал бы мне, что ему жарко в саду, и что здесь пахнет яблоневым цветом и липами, которые я обозначила бы лишь мазками вдали. Я вдруг сказала:

— Рейнхард, как я скучала. Я думала, что никогда тебя не увижу. Я даже говорила о тебе

своему врачу. О том, что мне не хочется возвращаться домой, что там пусто и одиноко. Мне вдруг стало не о ком заботиться, и это сделало мою жизнь такой пустой.

— У тебя появился бы другой мужчина. Еще появится.

Я засмеялась. Звучало абсурдно, словно бы мы были когда-то любовниками. Он добавил:

— Мне тоже тебя не хватало. Собственно, поэтому я здесь и пытаюсь объяснить тебе, кто я теперь такой.

Даже когда он старался говорить со мной осторожнее, явно аккуратнее, чем он делал это обычно, все равно в нем было нечто болезненное. Как если бы кто-то пытался погладить меня лезвием ножа, вещью, которая должна только причинять боль. Я испытывала к нему легчайшее отвращение первобытного, доразумного толка. И я поняла, отчего были так навязчивы мысли о насекомых. Чувство того же толка. Наши далекие предки знали, к примеру, и они не нуждались в языке, чтобы сохранять это знание, что пчелы — это сладость, но и смерть. Повторяющиеся структуры сот, специфические движения и звуки, издаваемые насекомыми, их копошащиеся личинки и сотни лет спустя вызывают тошнотворный, берущийся из физиологии, страх. Солдаты приносили с собой такое же душное ощущение опасной инородности.

Но в то же время это был мой Рейнхард, раньше я знала его так хорошо. Прежде, чем один из нас отследил эти простые движения, мы сделали шаг друг к другу. Я оказалась к нему совсем близко, чуть запрокинула голову, чтобы взглянуть на него достойным, смелым образом. А потом он взял меня за руку, и это простое прикосновение, которое не принесло бы мне ничего, кроме паники, неожиданно оказалось ошеломляющим. Пальцы мои вздрогнули, но я не отняла руки. Близость его была опьяняющей, как в ту последнюю ночь. Я не знала, ощутила ли я то, что называют страстью, потому что никогда ее не испытывала. Это было похоже на внутреннюю дрожь при температуре, или на сон, где реальность разошлась по швам, и оставались только образы, которые сильнее меня самой. У страсти была та же выпренная садомазохистическая природа, что у власти и сопротивления. Она заставляла чувствовать и размышлять так ярко, отделяла разум от тела с точностью хирурга. Рассыпающаяся, распадающаяся я, перекрученная, перерезанная, как провод, искрилась внутри. Мне захотелось зарыдать от того, каким объемным было это чувство, словно я могла трогать не Рейнхарда, а собственные представления о себе и мире в нем. Это было откровение, от которого подкашивались ноги. Внутри стало пусто словно бы для него.

Все хитросплетение линий, составлявших меня — кожа, мысли, язык — нужно было для того, чтобы его разрезали. В страсти был экзистенциальный ужас подчинения чему-то неконтролируемому, похожему на волну.

Я и не заметила, как он поцеловал меня, или как я поцеловала его, это было неважно. Он удержал меня, когда я подумала, что упаду. Я впивалась пальцами в жесткую, черную ткань его униформы и не понимала, что со мной происходит. В этом не было ничего разумного, ничего, способного меня оправдать. Он вдруг взял меня за подбородок, я ощутила прохладную кожу его перчаток. Мне захотелось встать на колени, быть может расстегнуть ему брюки и взять его в рот, быть может поклясться в верности Нортланду, быть может подставить голову под выстрел.

Боль, которую я испытала, когда потеряла его навсегда (а я потеряла его навсегда), превратилась в желание, в страсть, похожую на припадок.

Он смотрел на меня, изучал мое лицо, и я чувствовала, что он ищет что-то.

Расширенные зрачки, раскрасневшиеся губы — признаки не то психотической горячки, не то странного, болезненного желания. С той же страстью, с которой я ненавидела прикосновения мужчин до него, я принимала его.

Все перевернулось, и я была среди опрокинувшихся образов, инвертированных цветов. Все стало туманным, далеким. Я провела ногтями по его пуговицам, поскребла повязку с дагазом, словно бы стала вдруг бессловесным зверьком, который сам не знает, чего просит. За окном слышался шум дождя, летнюю духоту и яркую зелень выбило из мира холодом крупных, частых капель. Мне тоже захотелось заплакать.

Он оставался спокоен, и я почувствовала злость, горячую боль, зарождающуюся внизу живота и превращавшуюся в желание вгрызться ему в глотку. Часть меня, безусловно, видела свой рациональный смысл во всем происходящем. Если он лжет, или если он не сможет вытащить меня отсюда, я все равно хотела быть с ним в самый первый раз.

Это же солдаты, знаешь одного, знаешь всех. Безликие насекомые, нужные, чтобы мы были покорными и боялись их прикосновений.

Машины для смерти и победы над ней.

И в то же время я ощущала себя маленькой девочкой, которая так сильно боится потерять кого-то, что превращает его в картинку. Рисует и кладет под кровать, надеясь, что он никогда не покинет ее. Я раскладывала его на фетиши: кожаные перчатки, алая повязка на плече, пистолет в кобуре и холодные глаза. Страсть и страх суть одно и то же, их легко превращать друг в друга, они бурлят и переливаются, как вещества на уроке химии в стеклянной колбе.

Страх перед тем, кем он стал, превратился в страсть к этому новому, пугающему существу. Страсть становилась страхом, когда я думала, что одним движением он может сломать мне шею.

Я смотрела на него, как на палача. В сущности, он им и был. Взгляд Рейнхарда оставался спокойным, изучающим. Подавление — основа власти, овеществление — ее оружие. Если ты чувствуешь себя вещью это значит, что тобой могут пользоваться.

И тогда я ударила его. Пощечина ничего для него не значила, он не чувствовал боли, и поэтому, только поэтому, я впервые ударила человека. Самообман на высоком уровне, уловка для того, чтобы чувствовать себя сильной.

— Не смей на меня так смотреть.

А потом он подхватил меня на руки, так быстро, так почти угрожающе и в то же время аккуратно, что я вцепилась в него, обняла за шею и ответила, когда он снова меня поцеловал. Я ударила его с таким же чувством, только усиленным во много раз, какое испытывала, поднося руку к огню, проводя ей над пламенем так быстро, чтобы оно не успело обжечь меня. И сейчас у меня было ощущение, что я получила свой ожог. Я коснулась пламени, и оно ответило мне. Рейнхард больше не казался мне холодным, должно быть он таковым никогда и не был — на самом деле. Мы целовались жадно, с отчаянием, которое вызвали друг в друге. Он опрокинул меня на кровать, навалился сверху, и тяжесть его разогнала жажду, которую я испытывала. Я поцеловала его в шею, прижалась губами к бьющейся жилке, к самой жизни, бурлившей в нем.

Рейнхард стянул с меня платье, практически сорвал его, и я слышала, как затрещала ткань. Под платьем было простое, белое белье — о, Нортланд, даже твои шлюхи выглядят целомудренно, чтобы не позорить великую нацию. Когда в бедро мне уперлось дуло его пистолета, я застонала, словно почувствовала его член. Сняв с меня белье, Рейнхард снова

взял меня за подбородок. Теперь взгляд его был мутным, он улыбнулся, а потом вдруг облизнул губы. В этом было нечто настолько садистки точное, жадное и по-особенному удовлетворенное, что я приподнялась и коснулась губами его щеки, ровно там, где я ударила его.

Он получал так много удовольствия просто рассматривая и трогая меня, сжимая мне грудь, лаская меня, оглаживая. Это было какое-то гурманское стремление попробовать меня прежде, чем приступить. Я хватала его за запястья, целовала его затянутые в перчатки руки. Он был одет, а я полностью обнажена, и это придавало всему особенный оттенок. Иногда я вцеплялась в его повязку, ногтями впивалась в нее.

Мне казалось, у него уже были женщины. По крайней мере, он был уверенным со мной, а может быть это ощущение возникало у меня от его желания изучить меня как можно более подробно. Я чувствовала себя трупом на анатомическом столе до тех пор, пока он не начал целовать меня. Губы его были теплыми, и холод перчаток остался где-то далеко. Он не причинял мне ни малейшей боли, но любое его движение содержало потенциал к подчинению и подавлению. Было бы странно ожидать от него нежности, как странно, к примеру, использовать автомат для поливки цветов.

Но как я хотела его. За все время, что провела без него, за все, что у меня отобрали, за все, что он символизировал теперь. Это было сложное, страшное чувство, и я обманывала себя, как могла, что это я использую его. Что он для меня — вещь.

Он коснулся губами моего соска, язык его скользнул по коже, и эта мучительная медлительность, аккуратность, с которой он совершал каждое движение, имела рациональную, не свойственную обычно сексуальным играм природу.

Я подумала, что знаю о нем так мало, и что всю свою жизнь я была недотрогой, а теперь, фактически, оказалась в постели со случайным человеком после первого же разговора.

Он вдруг замер надо мной, потом медленно снял перчатку с одной руки. В этом было какое-то полузабытое детское переживание — ожидание наказания. Когда он вошел в меня пальцами, я обняла его за шею, поцеловала в подбородок, чтобы скрыть неловкость, постаралась припомнить все, что в таких случаях полагается делать.

Ощущение было странное, желанное и неестественное одновременно. Мне хотелось, чтобы он продолжал, в то же время проникновение было пугающим, оно странно, приятно и болезненно, ощущалось физически, и принимать его значило, по крайней мере согласно моим обрывочным мыслям, принимать власть, силу. Он готовил меня, хотя я предпочла бы, чтобы все случилось как можно быстрее, предпочла бы не переживать минуты мучительного страха.

Только когда я начала двигаться ему навстречу, без полного осознания того, что делаю, гонясь за удовольствием, которое он вызывал во мне, Рейнхард дернул меня за бедра, прижал к себе, так что я ощущала его возбуждение, пока он расстегивал ширинку. Я была влажная, я пачкала его идеальную форму, я тянула к нему руки, я царапала ткань. Неразумное животное.

Когда я ощутила, как он уперся в меня, мне снова захотелось сбежать, но в то же время я хотела, чтобы он сделал это со мной. Я хотела, чтобы он поймел меня, чтобы вошел в меня, чтобы я ощутила его внутри, и в этом были все-все унижительные коннотации, которые приписывает этому акту сознание. Власть того, кто проникает над тем, кто принимает, проникновение, как наказание, победа над смертью как победа надо мной.

Рейнхард остановился, посмотрел на меня, снова облизнул губы и вдруг сказал:

— Личное — это политическое, правда, Эрика?

— Что?

Звучало, как цитата, как слова забытой песни. Вместо ответа, Рейнхард вошел в меня. Я подалась назад, инстинктивно стараясь избежать боли, но он удержал меня. Мы ведь делали ровно то, что от нас и требовалось. Я была той, кем мне назначил быть Нортланд. Я позволяла солдату иметь меня здесь, в Доме Милосердия.

Личное — это политическое. Политическое — это личное. Я вдруг взглянула в его лицо, удовольствие сделало его взгляд еще более затуманенным, словно он был мертвецки пьян, зрачки его казались мне огромными до слепоты. Проникновение подчиняет, символ власти и войны (война входит в твой город, говорят ведь так), но удовольствие делает мужчину беззащитным. В этом тоже был какой-то важный политический смысл, но он ускользнул от меня. Я была для Рейнхарда слишком узкой, и невольно мне хотелось освободиться от него, я не отдавала себе отчет в том, что пытаюсь вырваться, вывернуться. Он удерживал меня и отпускал, как кот играл бы с мышью.

Власть нуждается в сопротивлении, она хочет его. Это способ обозначить себя, объявить свое существование и утвердить его в борьбе.

Постепенно секс наш стал больше напоминать борьбу, не потому, что я не хотела, а потому, что хотела именно этого. Хотела, чтобы он держал меня, хотела, чтобы он кусал мне шею и грудь, хотела, чтобы он был кем-то, кого я ожидала увидеть.

Но Рейнхард оказался кем-то большим. Мы играли в эту старую как мир игру, где он брал меня, чтобы я принадлежала ему, это было бы унижительно, как и полагается, даже грубо, если бы мы не целовали друг друга с таким неизбежным желанием быть вместе.

Оно пугало меня больше, чем новые, болезненные ощущения, чем близость мужчины, чем все на свете.

Я думала, почти надеялась, что я всего лишь одушевленная вещь, инструмент для получения его удовольствия, а потом он вдруг схватил меня за руку, прижал ее к постели, переплел наши пальцы. Это было очень простое движение, символ страсти и желания, но была в нем пронзительная, какая-то жуткая нежность.

И я поняла, что все что происходит — не просто вспышка сексуального желания, заключенная в жесткие рамки наших социальных ролей. Давным-давно, еще когда он был идиотом в самом клиническом смысле этого слова, я полюбила его, а он полюбил меня.

Мы занимались любовью. И любовь эта родилась не тогда, когда я увидела его и поняла, что он может говорить и понимает, что значит время, что значит пространство, что значит постоянство.

До садомазохистского желания унизиться перед тем, кто представляет власть (сравнимо с тем, чтобы посадить пчелу на чувствительное место вроде соска и ждать укуса), я любила его слабоумного и беззащитного.

Это принесло мне всплеск удовольствия неожиданно сильный, и все вдруг обрело смысл. Вместо мазохистического удовольствия от подчинения и игры со смыслами, я получила сам смысл.

Я обняла его, и он прижал меня к себе, просунув руку мне под спину. Близость с ним, запах его кожи, поцелуи, ощущение его внутри себя, движения и прикосновения, вдруг стали казаться мне совсем пронзительно отдающимися не в теле, а где-то глубже, там, откуда берутся чувства (безусловно, это был разум).

Мы не разжимали рук, не отпускали друг друга, но все, что было в нем от солдата, а во мне от политической заключенной, и в нас обоих от Нортланда растворялось в чем-то настоящем.

Я тихонько стонала, уткнувшись ему в плечо, удовольствие нарастало и гасло, пока не вспыхнуло так глубоко внутри, что в груди не хватило место для воздуха. Он все еще двигался, и теперь я ощущала его иначе, с большей нежностью и покорностью, вызванной разрядкой.

Когда он кончил, обессиленно навалившись на меня, я почувствовала его смертельную усталость и тоску — цену, которую мужчины платят за удовольствие.

Кончиками пальцев я погладила его по щеке, задев крохотный шрам, оставшийся у него от кого-то из предыдущих хозяев.

Глава 8. Вторичные разработки

Мы лежали рядом, и я то и дело целовала его. Рейнхард почти сразу натянул перчатки, словно бы открытость кожи причиняла ему боль. Он был одет, а я обнажена, и прикосновение жесткой ткани к коже было в чем-то отрезвляющим. Где-то минут с пятнадцать я вовсе ни о чем не переживала. Мы лежали на кровати, и я думала, что кроме его одежды все вокруг такое мучительно белое.

А потом он сказал:

— Здесь не помешал бы ресторан. Я не отказался бы от шампанского и закусок. И от чего-нибудь цветного.

Он прикрыл глаза, и мне показалось, что гастрономические фантазии вызывают у него гедонистический интерес особенного сорта. Я поняла, что он относится к жизни с жадностью, в его интонации появилось нечто чрезмерно вовлеченное. Дорогие вещи, подумала я, дорогая выпивка, все то, на что прежде ты бы и внимания не обратил.

Это было не хорошо и не плохо, просто я кое-что о нем поняла. Я подалась к нему и коснулась носом кончика его носа. Он попытался сфокусировать на мне взгляд, и это выглядело забавно.

— У тебя были женщины за эти...эти три недели?

Это ведь вся его жизнь. В данном личностном континууме по крайней мере.

— Мне многое было интересно про то, зачем люди живут.

— И ты узнал?

— Да. Их физические ощущения очень яркие. Прежде я чувствовал все довольно смутно, теперь я чувствую себя...

Он щелкнул пальцами:

— Заостренным.

Рейнхард вдруг поцеловал меня, рука его раздвинула мне ноги, он доставил мне краткое, опасное удовольствие прикосновения, скользнув в меня только на секунду. Я закрыла глаза, но и поцелуй, и прикосновение почти тут же прекратились. Рейнхард достал из кармана портсигар, и мы неторопливо закурили, одновременно выдохнули дым вверх, и в комнате стало еще больше белого. Когда Рейнхард затаился, я увидела, что на его пальцах были белесые пятна спермы, выделявшиеся на черной коже перчаток, и тускло поблескивавшая кровь. Отсутствие брезгливости было в нем не просто качеством, одним из многих, оно делало его отчего-то еще менее человеческим.

— Для этого есть концепция.

— Если скажешь мне, для чего именно, я буду лучше поддерживать разговор.

Я стряхнула пепел прямо на подушку, словно бы мне не нужно было спать на ней. Фрау Винтерштайн, наверное, очень разозлится.

— Колонизация сознания угнетенных угнетателями.

— Что?

— Ты не попыталась меня раздеть. Тебя это заводит, так?

— Если бы меня спросили, какие сексуальные практики мне ближе всего, я ответила бы: политический садомазохизм.

Он криво улыбнулся. Я не поняла, нравится ему то, что он наблюдал или нет.

Интонации его считать было очень сложно, и хотя мы говорили на одном языке, мне казалось, что сама речь не родной ему инструмент, и он не вполне владеет тем, о чем другие даже не задумываются.

— Символ боли, смерти и страха стал для тебя сексуальным фетишем. Что бы ты ни думала, ты делаешь то, чего от тебя и хотят.

— Странно, — я пожалала плечами. — Я надеялась иронически обыграть.

Кажется, Рейнхард понимал сарказм. А может в моем исполнении он был слишком банален, а потому всем доступен. Быть может, Рейнхард и раньше его понимал.

— В конце концов, — сказал он. — Нет большой разницы между тем, встанешь ты на колени, чтобы принести присягу или чтобы отсосать.

— Это разве не опасные слова?

— Если бы их произнесла ты, наверное, они могли бы такими показаться.

— И что ты об этом думаешь?

Мне хотелось задавать ему этот вопрос раз за разом, он говорил достаточно, но его собственные мысли были скрыты. Слова, словно сверкающие инструменты, холодный металл, который погружают в тело. Ничего личного. В этом сходны медицина и война — ничего личного, мы просто вонзаем что-то в твою плоть.

— Я ничего об этом не думаю, — сказал он. — Я лишен рефлексии в этом смысле. Это наблюдение.

Я тогда поежилась, мне захотелось отвернуться. Вот что казалось мне странным с самого начала, чего так катастрофически не хватало. Он хорошо и спокойно рассуждал, не был похож на живого мертвеца, выполняющего приказы кенига, свободомыслия в нем было побольше, чем во многих вполне настоящих от начала до конца соотечественниках. Он мог, в сущности, думать что угодно, и никто не стал бы останавливать его. Потому что Рейнхард ничего не чувствовал по этому поводу.

Ментальные конструкты, в которых столько же жизни, сколько в чучеле животного или фарфоровой кукле. Имитация мышления на высочайшем уровне, она почти преодолела порог, за которым подделка приобретает большую ценность, чем оригинал. Но когда думала я, это было непосредственно связано с моими чувствами, мельчайшими их частичками или удушающими волнами. Рейнхард думал обо всем просто так, он опровергал максимум "я мыслю, а следовательно я существую", потому как не существовал в этом процессе действительно. Не было никакой нужды контролировать мысли солдат, потому как они ни к чему не вели.

Маркус Ашенбах мог, в принципе, остаться при своем мнении, только оно больше ничего не стоило, в нем не было никакого огня.

Я не знала, как к этому относиться. С одной стороны я была рада, что разум его ничем не стеснен, с другой стороны это была новенькая, сияющая вещь, лишенная субъективности.

Он явно был способен на чувства, но они были отделены от его мыслей. Я не совсем понимала, как это могло происходить, потому как Рейнхард представлял совсем иной способ думать, чем мой.

— Так кем ты работаешь? — спросила я и тут же зажала рот рукой, чтобы не засмеяться. Отличный вопрос, лучший, который можно задать в постели.

— Мы, — ответил Рейнхард. — Кем работаем мы.

Они взаимозаменяемы, ну конечно. Никакого частного опыта. Рейнхард продолжил:

— Кениг хочет квалифицированных людей, которые будут помогать ему, не относясь

при этом к какой-нибудь конкретной сфере государства.

— Кто-то вроде советника?

— Наверное, так можно сказать. Мы еще не в полной мере преступили к своим обязанностям. Кениг хочет, чтобы мы понаблюдали, как все работает. Из чего все состоит. Он говорит, что нужно будет смотреть на все с его точки зрения, сверху.

— Наверное, ему очень одиноко, и вы что-то вроде его неформального кружка по интересам.

— Если тебе интересны инфляция, споры между министрами, долги и партийные чистки, то можно сказать и так.

Я посмотрела ему в глаза. Они казались мне очень яркими — бледность его кожи, бледность интонаций, и вдруг эти живые, почти доходящие до синего глаза. Это было не страшно, я смотрела на него с почти вызывающей смелостью. Наверное, я выглядела довольно забавно, учитывая всю ситуацию. Рейнхард сказал:

— И я пришел сюда не для того, чтобы заняться сексом.

— Я что-то такое слышала прежде, чем мы это сделали.

Слово "это" я выдавила из себя с трудом. В моей голове мог твориться либертинаж любой степени завершенности, однако озвучить слово "секс" оказалось гораздо сложнее, чем представлять его и даже им заниматься.

Он вытянул язык и затушил сигарету об него, а затем положил окурок на тумбочку. Удобно, если боль для тебя не существует.

— Ты считаешь, что я пришел тебя использовать. Это не так.

И тогда я вспомнила, где мы с болезненной отчетливостью, и белизна этой комнаты утратила свое очарование невинности, потенциальности и пустоты. Я прижалась к нему, обнаженной кожей снова ощущая ткань его формы (она так сроднилась с ним, что казалось под ней — обнаженное мясо).

— Рейнхард, пожалуйста, если ты вправду можешь помочь мне — помоги. Я не хочу здесь оставаться. Я не хочу, чтобы меня трогали, не хочу становиться вещью.

Я очень хорошо понимала эту разницу между игрой и реальностью. Между искусственностью самоповреждения и унижения в том, что произошло с Рейнхардом и настоящей болью и отвращением. Я не хотела, чтобы это происходило со мной и вообще с кем бы то ни было, чудовищное превращение в живой инструмент, в никого. Мне не хотелось быть расчеловеченной, разъятой на составляющие моего организма. Все мы здесь были в том или ином смысле вещами, это было бытие-для-Нортланда, но мне не хотелось потерять все, что осталось во мне живого.

Я старалась говорить серьезно, но больше всего вдруг захотелось хорошенько встряхнуть его и закричать:

— Рейнхард, помоги мне, я боюсь!

Он обнял меня, я прижалась ухом к его груди слушая успокаивающее биение сердца. Было в этом что-то глубинное, идущее из забытых физиологических бездн, биение сердца матери — первое, что отчетливо слышит ребенок, и с тех пор оно становится колыбельной, успокаивает и убаюкивает. Рука Рейнхарда покоилась на моей макушке, он не гладил меня, но прикосновение его было очень приятным.

— Я сделаю все возможное, — сказал он. — И как можно быстрее.

Он поднялся с кровати, и я потянулась за ним, схватила за руку.

— Не уходи.

Вид у меня сразу стал отчаянный, все попытки сохранить видимое достоинство ничего не стоили. Что ж, Эрика Байер, пришло время обналичить капитал. Я боялась, что если Рейнхард уйдет, придет кто-нибудь другой. Мы прекрасно подошли бы для обложки какого-нибудь порнографического романа — мужчина в черной форме и обнаженная женщина, держащая его за руку с самым незащитным видом. Серия отвратительных открыток или короткий порнофильм, вот какова цена твоего страдания, Эрика Байер.

— Чем быстрее уйду я, тем быстрее сможешь уйти и ты.

Он вдруг потянул меня за руку, поцеловал костяшки моих пальцев. В нем был особенный лоск, свойственный излишней самоуверенности, но движение оказалось искренним. Он переживал, однако не мог выразить это.

Он не мог связать это со своими мыслями. Разрезанная личность, разорванная напополам.

— Просто не подведи меня. Я не смогу здесь долго находиться. Я сойду с ума.

Все, кто не был чокнутым изначально, должны были, пожалуй, лишаться рассудка в первые пару месяцев. Женщина — это ценность, но вовсе не в том гуманистическом смысле, о каком все мы мечтали в детстве. Это предмет обмена, только и всего, потому что женщины производят будущее. Зачем разум купюре или монете. Женщины даже не товар, товар это — статус кво, вечное продолжение жизни.

— Весь мир — это бордель, Эрика.

— Знаешь, это довольно обидная фраза для женщины, запертой в борделе.

— Я не знал, утешит тебя это или расстроит. Согласно всему, что я наблюдал бордель — это и есть общественный строй Нортланда. Никто не может контролировать свое тело, есть лишь разные зоны доступа, которые всегда контролируются тем или иным государственным органом.

Он быстро поцеловал меня в щеку.

— В любом случае, я постараюсь, чтобы для тебя это как можно скорее снова стало метафорой.

Когда он ушел, я залезла под одеяло, стараясь согреться, избавиться от накинувшегося на меня озноба. Дождь становился все сильнее, и я подумала, что если подойду к окну, то все равно не увижу, как он выходит из здания. А если Рейнхард мне солгал? Конечно, ему незачем было давать мне надежду. Он мог даже согласия моего не спрашивать, не говорить со мной ни минуты. Но и к каким-либо особенно роковым женщинам, ради которых стоило бы предпринимать нечто спорное, я не относилась.

Правда была вот в чем: Рейнхард мог поступить как угодно по абсолютно любым причинам, и я никоим образом не могла на это влиять. И тогда я закричала, завопила некрасиво, громко, яростно.

Злость, лопавшаяся во мне, как нарыв, искала выхода, но в этой чертовой комнате не было ничего, что я могла разрушить. Я вскочила с кровати, толкнула тумбочку, так что та беспомощно завалилась на бок.

— Я ненавижу тебя, слышишь! Я ненавижу тебя и все, что с тобой связано!

Сознание было мутным, и я толком не понимала, имею в виду кенига, Нортланд или даже Рейнхарда. Я сорвала занавеску, то есть, скорее я повисла на ней, и выглядело это, должно быть, нелепо. В тот момент, однако, я впервые отказалась от комедийной роли Эрики Байер в драме ее бытия. Я не думала, забавная я или жалкая (нечто вроде "а вы уже перестали пить коньяк по утрам?"). Я просто была чудовищно зла. Я попробовала разбить

окно, но стекло оказалось слишком крепким, да и за ним была решетка, разделяющая мир на сектора, приучающая видеть его раздробленным.

Я не знала, сколько времени я провела в этом яростном состоянии и попытках разрушить комнату итак неделимую, как элементарная частица. В конце концов, я повалилась на пол, чувствуя себя совершенно обессиленной. Костяшки на моих пальцах покраснели, хотя я никак не могла понять, что именно я с таким остервенением била, и где это нашла.

Отличное место для состояния аффекта, герметичная безопасность и отсутствие каких-либо людей в зоне досягаемости почти принесли мне удовольствие. Я могла быть кем угодно, насколько хочу жестокой и злой, пока я была одинока.

Я могла быть обиженной на весь мир, избалованной своим особым положением и ничего не знавшей о настоящих страданиях.

Я могла быть кем угодно, даже собой.

Плакать мне не хотелось, слезы — это адаптивный выбор. Мне хотелось лежать на полу и смотреть в потолок, на котором не было ни единого пятнышка. Мне хотелось представлять, как фрау Винтершпайн полирует белую штукатурку до полной обезличенности, словно бы она реальна лишь первую секунду.

Я чувствовала опустошение и тоску, но и то и другое давало некоторую ироничную, авторскую позицию по отношению ко всему происходящему. Я занялась сексом с мужчиной, и я все еще была собой, никем другим, не лучше и не хуже.

Я занялась сексом с мужчиной, который больше не был собой.

Моя ненависть к Нортланду бурлила, я снова заперла море в бутылку. Я точно не знала, есть ли у нас альтернатива. Прошло столько времени, от войны ничего не осталось, и вряд ли мы могли бы создать что-то принципиально иное, будучи в полном одиночестве.

Но что-то во мне, какое-то инстинктивное стремление, постоянно говорило, что может быть по-другому. Нет, не может быть — должно. А все, что должно быть — принципиально возможно.

Это столько раз давало мне силы, и я захотела обратиться к этому чувству снова, но вместо дома, полного надежды, получила неприветливую табличку "и кто же сделает мир лучше, пока все о нем мечтают?".

В общем-то, здесь проходила опаснейшая траншея между "кто, если не ты?" и моими самоохранительными принципами.

Я тяжело и глубоко дышала, как после долгого забега. Сил во мне было примерно столько же. Дождь за окном никак не желал прекращаться, и я не понимала, каким образом поток воды так легко скрывает от меня весь мир. Впрочем, вероятно, дело было во всем моем мире, он был теперь слишком мал.

И я сама была маленькой, крохотное насекомое, которому так легко оторвать крылышки и лапки. И останется только тело.

Тело — как оловянный солдатик, и тело, как физическое воплощение меня, это было забавно. Хорошо, Эрика Байер, ты еще не потеряла способности играть словами. Я подумала о самоубийстве, и эта мысль стала убаюкивать меня. Да, в конце концов, можно и на одеяле повеситься — универсальный путь отступления для поэтов и одержимых жалостью к себе невротиков. Но самоубийство это, в сущности, не мой выигрыш, а их. Убить себя, чтобы не быть вещью — глупо, потому как смерть это и есть последний акт, окончательное превращение из кого-то во что-то, отказ от самости.

Так что самоубийство никогда не может быть выходом, потому как означает, в сущности, полный отказ от права на самого себя. Это право я хотела приберечь, спрятать, но не похоронить. Я задремала, думая обо всем этом, и приснилась мне я сама в доме моего детства — маленькая девочка с большим будущим.

Я расчесывала волосы перед зеркалом, длинные волосы, мое сокровище. У зеркала были золотистые вензеля на рамке — оно досталось маме от бабушке, а той от ее бабушки и, может быть, это зеркало пережило самую войну. Я очень любила его, потому что в нем я находила себя.

Вдруг я почувствовала, что плачу. Это было простейшее ощущение влаги на лице, оно пришло ко мне до осознания грусти. Я подставила руку, чтобы ловить круглые, прозрачные капли, но увидела, как на ладонь падают мои зубы. И вот их уже была целая горсть, много больше, чем может быть у человека, и когда я посмотрела в зеркало снова, там никого не было.

Проснулась я с тем липким ощущением, которое выносишь из неприятного, смутно связанного с нынешними событиями сна. Я лежала на полу, абсолютно обнаженная, и единственным моим желанием было, пожалуй, принять душ.

Я поднялась, не слишком владея собственным телом после этого странного отдыха, натянула на себя остатки платья и подошла к окну. Стемнело. Теперь двор казался смутным, весь в золотых пятнах фонарей, он, тем не менее, был освещен плохо, кусками вырвался из тьмы. Я коснулась пальцами стекла, надавила, словно бы у этого на самом деле была цель, словно бы какое-либо мое движение могло мне помочь. Я вспомнила о сне, в котором ловила в свою ладонь зубы, целую горсть выпавших зубов, белых, похожих на странные бусины. Я вздрогнула, когда заверещал кодовый замок. Сначала меня разрывало между надеждой и ужасом. Это мог быть Рейнхард с хорошими новостями, а мог быть кто-то чужой и еще более жуткий. Затем разум мой подкинул мне спасительную информацию: Рейнхард вводил одноразовый код, но сейчас писка кнопок я не слышала, а пропуск был у фрау Винтерштайн. Когда я увидела ее на пороге, мне захотелось помахать ей рукой, радостно ее поприветствовать. Фрау Винтерштайн горела тем же энтузиазмом, что и в начале дня.

— Добрый вечер, фройляйн Байер, отлично выглядите!

— О, благодарю, — сказала я. — Это совершенно неожиданно.

Фрау Винтерштайн улыбнулась мне, в электрическом свете, холодном, хирургически точно выхватывавшем коридор, ее зубы заблестели.

— Пришло время принять душ, — сказала она. — Мы водим девушек по одной. Во-первых, это довольно интимное мероприятие, а во-вторых...

— Это вопрос безопасности, — закончила за нее я. Фройляйн Винтерштайн покачала головой.

— В первую очередь таким образом мы избегаем конфликтов. Девушки здесь содержатся разные. Некоторые довольно буйные. Так что удобнее выделять каждой по десять минут, нежели призывать всех к порядку.

Десять минут, значит. Я восприняла этот факт без излишнего расстройства (потому как любое расстройство в этой ситуации стало излишним).

— Насчет вашего ужина я уже распорядилась. Я же говорю вам, словно в санатории.

Я вздохнула. Фрау Винтерштайн была неисправима, но ее забавная, восторженная манера говорить даже подняла мне настроение. Мы шли по унылому коридору — ряды одинаковых дверей, люминесцентные лампы под потолком. Собственно, ничего похожего на

бордель, скорее уже больница. Медицинское безразличие белизны почти такое же мерзкое, как отвратительная слащавость красного. По крайней мере, настоящие бордели я представляла одетыми в алый — шторы, простыни, ковры. Роскошный цвет крови и разбитых жизней. Я отметила, что в коридоре не было охранников. Наверное, в данном случае это излишняя мера предосторожности, достаточно того, что они имелись внизу. И все же пустота коридора давала мне надежду.

Я улыбнулась, фрау Винтерштайн приняла это за понимание.

— Думаю, вам уже лучше, — сказала она. — Не обязательно бояться, фройляйн Байер. Мы не преступная организация, а вы не проститутка. Государство стремится обеспечить вам лучшие условия для выполнения вашего долга перед нашей страной.

И тогда я посмотрела на нее, ее глаза лихорадочно блестели, словно за день она ни капли не устала. Всем бы такую любовь к своей работе. Я вдруг, не успев почувствовать себя ни смелой, ни глупой спросила:

— Что такое Дом Жестокости?

Фрау Винтерштайн остановилась, мы преодолели ровно половину коридора, так что композиция получилась даже красивой. Ее нарумяненные щеки по цвету стали почти тюльпанно-красными.

— Офицер Герц был вами недоволен?

Я покачала головой.

— В таком случае вам не стоит об этом волноваться. Это в противоположной части здания.

Женское отделение Дома Милосердия скобкой окружало двор, и я примерно понимала, где, согласно фрау Винтерштайн, находится Дом Жестокости. Это, однако, мало что проясняло.

— Я имею в виду, — сказала я. — Что это такое с функциональной точки зрения?

— Вам не стоит об этом волноваться, — повторила фрау Винтерштайн с нажимом. Она закусилась ровно накрашенные вишневой помадой губы, придав им вдруг неряшливый вид, а затем пошла вперед.

— Идите за мной, — сказала она. — И не задавайте лишних вопросов.

Приказы отдавать у нее получалось не хуже, чем быть глухой к человеческим страданиям. Так что я лишь убедилась в том, что Дом Жестокости — это нечто очень плохое. В сущности, никаких других вариантов у места с подобным названием быть и не могло. Вряд ли там девушки смотрели мультфильмы, устав от трудов на благо Нортланда. В душевой была одна единственная кабинка, в которой меня уже ждали полотенце, мыло, шампунь и чистая одежда, ничем не отличавшаяся от той, которую мне выдали утром.

Фрау Винтерштайн посмотрела на аккуратные наручные часики, сказала:

— Десять минут. Я сообщу, когда они истекут.

Прекрасно понимая ограниченность своего временного ресурса, я первым делом совершила все необходимые гигиенические мероприятия со своим телом почти бездумно, а оставшееся время посвятила удовольствию от теплой, нежной воды. Только под душем я поняла, какую усталость ощущает мое тело — от секса, истерики и сна в равной степени. Было так хорошо, что я представила себя дома. Я представила, что выйду из душевой прямо в свой коридор, отправлюсь в комнату, вытащу из-под подушки книжку и с удовольствием почитаю перед спокойным сном, предшествующим стабильному новому дню.

Впрочем, хорошо, теперь все мои дни стали стабильными, по крайней мере в

перспективе. На недостаток распорядка жаловаться точно не стоило. Когда фрау Винтерштайн крикнула:

— Десять минут истекли! — я подумала, что, быть может, стоило бы испытать ее терпение. Однако этот бунт состоялся и угас только в моей голове. Я вытерлась, оделась и вышла. Фрау Винтерштайн была мной довольна, и это обрадовало меня. Я подумала, какое же унижительное, неправильное, приспособленческое чувство, но оно было правдивым.

Фрау Винтерштайн отвела меня обратно, на этот раз она была менее разговорчивой. Я надеялась, что она отгадает к завтрашнему утру.

— Завтрак принесут в девять тридцать утра, — сказала фрау Винтерштайн и закрыла за мной дверь. А я все думала о Роми, и о том, что с ней сейчас. Если уж Домом Милосердия называлось это неприветливое место, то каков должен был быть Дом Жестокости?

Я подумала, что Рейнхард, быть может, и выручит меня, но что ему до Роми? Кто она ему? Он не знает, как она отводит глаза, когда смущается, как она однажды взяла за воротник мальчишку, который отобрал мои очки, и сказала ему что-то такое (я не слышала что именно, потому что громко и некрасиво рыдала), отчего он не только вернул мне очки, но даже извинился. Рейнхард не знал, как она ужасно, сипло поет, не знал, как она шмыгает носом, когда чувствует себя виноватой, словно у нее начался насморк.

А я знала, и я никак не могла смириться с тем, что этот человек может быть в беде. Правда, никаких идей у меня тоже не было. Оставалось только сокрушаться.

На тумбочке стоял мой ужин: два вареных яйца, бутерброд с маслом и пахнущие уксусом консервированные овощи. Так же меня поджидала двухлитровая бутылка воды и пластиковый стаканчик, ее короновавший.

— Думаете, все предусмотрели? — спросила я. — Стекло мне давать, значит, опасно. Но все в порядке, я утоплюсь.

При желании это можно было сделать даже в крохотной уборной, но в раковину у меня не пролезла бы голова, а унитаз представлялся для подобных событий слишком обесценивающим предметом. Каким образом реализовать утопление при помощи бутылки, правда, тоже было не совсем ясно.

Есть я начинала без аппетита, однако в процессе он стал абсолютно зверским, я съела все и даже размышляла о добавке, прежде, чем поняла, что не могу ее получить. Вымыв пластиковую тарелку в раковине, я подумала еще раз и отправила ее в мусорное ведро. Мысли казались липкими и ничего не значащими. Я вернулась в кровать, залезла под одеяло и стала смотреть в окно. Было темно, скучно и грустно, от этого я быстро задремала снова. На этот раз мне не снилось совершенно никаких снов, лагуна темноты и тишины посреди этого насыщенного белизной дня.

Я проснулась от писка кодового замка. Сначала я опять обрадовалась Рейнхарду, потом испугалась незнакомого солдата, затем вспомнила, что пропуск есть только у фрау Винтерштайн. И во всех трех своих предположениях я оказалась права. На пороге стояла Ивонн. На ней была белая форма фрау Винтерштайн, явно узкая ей в груди.

— Ивонн!

Она приложила палец к губам.

— Тихо, дурочка.

В следующую секунду в комнату заглянула Лили. Она постучала себя по макушке и зашипела:

— Ты с ума сошла? Веди себя потише!

Я кинулась к ним, едва не упала с кровати, немного запуталась в одеяле, но ничто не могло меня остановить. Я обняла сначала одну, затем другую, еще вовсе не думая о том, как они оказались здесь. На глазах у меня были слезы, я целовала их в холодные щеки и была почти счастлива. В груди стало спокойно, легко, свободно, хотя мы все были в этом ужасном месте, и я ничего не понимала. Ивонн и Лили обнимали меня в ответ, мы, отчаявшиеся и перепуганные, стали вдруг по-настоящему близкими.

— Как вы... — прошептала я.

— Это Ивонн, — тихо сказала Лили.

— Я вырубила фрау Винтерштайн, когда она повела меня в душ, — Ивонн пожала плечами. — Я ее связала, правда своими шмотками, и затолкала ей в пасть свой лифчик. Но не то, чтобы все это надежно. Так что прежде, чем она зашумит, нам было бы здорово отсюда убраться.

Ивонн мурлыкала об этом, как о ничего не значившем событии. Кажется, все это даже доставляло ей некоторое удовольствие. Лили, в отличие от Ивонн, выглядела перепуганной, бледной и очень маленькой. Я увидела, что она дрожит и взяла ее за руку. Неожиданно для меня, Лили сжала мою ладонь.

— Как вы меня нашли?

— У нее в кармане был список палат с фамилиями, — пожала плечами Ивонн. Мы шли в противоположный от душевой конец коридора, Ивонн казалась мне такой спокойной и уверенной.

— У нее в кабинете есть окно без решетки. Оттуда можно выбраться, — сказала она. И я подумала, что Ивонн все это время казалась мне эгоистичной скандалисткой, но у нее было золотое сердце, потому что она, проявив изворотливость и хладнокровность, не забыла о нас. Я все еще помнила, что Рейнхард обещал мне помочь, но это было уже не так важно, меня охватил страх, и я никак не могла противостоять желанию выбраться отсюда как можно скорее. Ивонн делала нечто опасное, но у меня, у моего разума, не было этих суток, чтобы дождаться Рейнхарда (если только все это вправду займет так мало времени), не было у меня и черной неблагодарности, чтобы предъявить ее своей спасительнице. Наоборот, я готова была целовать Ивонн руки за то, что она дала нам надежду.

Ивонн казалась мне такой красивой в своем спокойствии и силе. Пружинки ее кудряшек скакали при каждом ее шаге, и хотя они уже потеряли прелесть своей изначальной формы, одичав, кудри придали Ивонн ведьмовский, пугающе прекрасный вид. Лили была бледной, и хотя голос ее казался нормальным, она явно была до смерти напугана, мне приходилось почти тащить ее за собой. Но было здорово проявить заботу, хоть и такую незначительную, о ком-то. Это отвлекало меня от самой себя.

Я вдруг подумала, что мечтаю, как алкоголик о заветном глотке, вдохнуть свежий воздух.

В кабинете фрау Винтерштайн уютно пахло масляными печеньями и чаем. На стуле лежала забытая газета с актуальной статьей на тему роста сознательности у граждан великой, единой (и единственной) страны. Свет здесь был более мягкий, не вызывающий ассоциаций с операционной, какой-то человечный и приятный для глаз. И хотя все было белым, как и во всех других комнатах, книжки в шкафу разбавляли этот подавляющий цвет.

Ивонн открыла окно, и в комнату влетел запах лип.

— Быстро вылезайте на пожарную лестницу, — сказала она. — Времени у нас мало, так что, если будете трусить, я вас здесь оставлю, хорошо, котятки?

Она послала нам кокетливый воздушный поцелуй и исчезла в проеме окна. Мы с Лили посмотрели друг на друга, и я спросила:

— Ты хочешь быть первой?

— Нет, не хочу, — сказала Лили. — Я по-твоему что самоубийца?

Я могла бы поспорить, однако вид у Лили был такой нежный и болезненный, что мне не захотелось. Я полезла вслед за Ивонн. Как именно добраться до пожарной лестницы я сообразила не сразу. Нужно было пройти по карнизу, а затем суметь уцепиться за поручень, не сорвавшись вниз. Мы были на пятом этаже, и я сомневалась в своих возможностях выжить в случае, если что-то пойдет не так. Медлить, впрочем, было никак нельзя. Я дала себе зарок действовать как можно быстрее, не сильно вдаваясь в размышления.

Вылезти на карниз оказалось вовсе не так страшно, как я думала. Конечно, коленки у меня дрожали, и я боялась оступиться, но, в сущности, это было не сложнее, чем гулять по бордюру, если только не размышлять о своей возможной кончине. Но так как я пообещала себе тратить как можно меньше времени на раздумья, все прошло хорошо. Я ухватила за поручни, перелезла на площадку лестницы, не забывая о том, насколько неудобно это делать в платье. Ивонн стояла на пару ступенек выше меня. Она сладко улыбнулась, и я почувствовала себя польщенной. Мы ждали Лили, но она не показывалась довольно долго. Если бы в кабинет заявила фрау Винтерштайн, мы бы услышали. Может быть, Лили упала в обморок? Я прошептала:

— Нужно вернуться и посмотреть, как там Лили.

— Тогда вперед, Эрика, — Ивонн повела плечом с таким видом, словно свой лимит благородства она исчерпала. Я подумала, что никак не могу, что я и в первый раз имела возможность упасть, а карниз скользкий от прошедшего дождя, и если мне один раз повезло, то не стоит искушать судьбу. Испытав, однако, злорадство от своего бессилия и потенциальной незащищенности Лили, я тут же принялась лезть обратно. Так было всегда — исключительно плохие, злые мысли мотивировали меня делать хоть что-то хорошее. Сомнительное достоинство, в общем-то. Лили появилась, когда я была на половине пути обратно в кабинет. Каждый шаг воспринимался мной, как отступление, и дорога назад оказалось сложной. Лили махнула мне рукой, и я с радостью, хотя и не так быстро, как от меня того хотели, возвращалась, давая ей пространство для маневра. Когда я ухватила за перила правой рукой и готовилась повторить то же самое левой, Лили оступилась. Я этого не видела, только услышала шум и ее нежный, почти картинный вздох. Я не успела отреагировать, протянуть ей руку, Лили сама вцепилась мне в запястье, причем мертвой хваткой. Это получилось здорово, я не была уверена в своей способности вовремя помочь ей. Тяжесть Лили, которая казалась мне такой крошкой, теперь была нестерпимой, и я не могла использовать вторую руку, я должна была держать нас обеих. Я перехватила ее покрепче, тоже вцепилась в ее запястье. Лили не болталась над пропастью, как в каком-нибудь фильме, одна ее нога даже соприкасалась с карнизом, так что больше всего Лили напоминала балерину, замершую в середине неудачного па.

Я подумала: а если отпустить, а если царапнуть ее ногтями? Ивонн наверняка не заметит. Эта мысль придала мне сил для рывка, а чтобы я сама не упала, меня вдруг поддержала Ивонн. Это было самое успешное совместное незапланированное действие, которое мы когда-либо совершали, несмотря на все старания Карла. Когда мы с Ивонн втащили Лили на лестницу, она вдруг села и беззвучно заплакала.

— Пойдем, все будет хорошо, Лили, мы скоро выберемся, — прошептала я, и тут же

получила болезненный шипок от Ивонн. Я посмотрела на нее, и она указала вниз. Я увидела солдат, вернее, огоньки их сигарет, приближавшиеся к нам. Я еще удивилась, откуда у Ивонн такая потрясающая наблюдательность и феноменальный слух, а потом подумала — стоит им взглянуть вверх по наитию или из-за мельчайшего шума, который мы произведем, и для нас все закончится. Лили больше не плакала. Она смотрела на солдат большими, жутковато распахнутыми глазами, губы ее дрожали, но ни звука не срывалось с них. Я подумала: она ведь умница, совсем молодая, чудесная, правильная, любящая математику девочка — как они могли поступить так с ней? Наверное, и ей не верилось.

Солдаты курили. Я не видела, искусственные они или нет, в темноте нюансы униформы разглядеть было сложно. Мы ждали, но солдаты все не уходили. Я посмотрела на Ивонн, она указала вверх. В конце концов, мы не могли остаться здесь навечно. Фрау Винтерштайн, вероятно, скоро поднимет шум, и как бы тихо мы ни сидели, это не поможет нам, когда она начнет с энтузиазмом верещать.

Мы медленно, мучительно, словно в замедленной съемке, поднимались вверх. Для Лили даже встать на ноги оказалось задачей, требовавшей около минуты. Странное дело, мы продвигались очень медленно, но все тело мое было напряжено так, что мне казалось, будто я как минимум отжалась пятьдесят раз (чего никогда в жизни со мной не случалось, но я решила, что ощутила бы это именно так).

Когда мы добрались до крыши самым аккуратным образом, солдаты, все еще стоявшие внизу, показались мне далекими-далекими. Я поняла, что это были люди. Обостренный слух гвардейцев, вероятно, уловил бы даже наше дыхание. Но почему здесь были люди?

— На другой стороне, подальше, тоже должна быть пожарная лестница. Попробуем спуститься там.

Мы шли по крыше, и я заметила, что ночь звездная. Ивонн была впереди нас, она гуляла, словно кошка, казалось, что Ивонн чувствует себя абсолютно уверенной. Я и сама ощутила невероятную свободу, хотя путь наш далеко не был закончен. Нужно еще как-то спуститься вниз, перелезть через забор, не вызвав подозрение охраны. Я понимала это, но эйфория охватывала меня все равно, пульсировала, как сексуальное возбуждение.

Мы прогуливались по крыше, девушки в белом, полные радости. Я увидела, что Лили улыбается.

— Ивонн, как ты...

Ивонн махнула рукой, не дав мне закончить.

— До того, как стать артисткой, я много где побывала.

— Ты была...

Ивонн прервала и Лили с легкомысленной улыбкой.

— Скажем так, больше всего мне нравилось быть артисткой, — она мотнула головой, потом добавила:

— Нет, больше всего мне понравилось ухаживать за богатым сучонком.

— Интересно, где они сейчас? — спросила Лили. Мы шептались, словно маленькие девочки, сбежавшие ночью погулять по территории летнего лагеря.

— Рейнхард приходил ко мне, — сказала я. — Он сказал, что они советники при кениге. И я видела его с кенигом перед тем, как меня забрали.

— Ко мне приходил Карл, — неожиданно сказала Лили, а затем сжала зубы. Но прежде, чем я что-либо сказала, Лили ускорила шаг. В утешениях она явно не нуждалась, имя Карла было словно кровь, которую она сплюнула. А я подумала: Карлу вообще разрешается тут

бывать? Логично рассудить, что генофонд его остается весьма ценным. Быть может ему предоставили что-то вроде последнего ужина приговоренного к казни? Или с ним все в порядке только потому, что он не виноват? Кениг намекал на это. Но я тоже не была виновата, однако моя жизнь далека от порядка как никогда.

С полминуты я наслаждалась свободным, переполненным запахом цветущих деревьев, миром. А затем меня ударило в самое сердце.

Моя Роми, моя милая Роми. Я посмотрела вдаль, туда, где подкова здания оканчивалась креном. Если Рейнхард не найдет меня, он не будет спасать Роми. У нее не останется вовсе никаких шансов.

То есть, она цепкая, она опытная и умная, но я не могла просто сбросить ответственность за человека, которого любила. Дружба — величайшее на свете чувство. И я не могла поступить иначе.

Еще я не могла сказать об этом девочкам. Только когда мы дошли до следующей пожарной лестницы с другой стороны, я остановилась.

— Эрика, ты идешь? — словно бы между делом спросила Ивонн, и я покачала головой.

— Здесь моя подруга. Я должна ей помочь.

— Ты что успела с кем-то подружиться?

— Ты даже с нами не смогла сойтись за этот год.

— Нет, моя старая подруга. Это долгая история.

Ивонн врезала мне по лицу, не очень больно, но унижительно:

— Приди в себя. Не поторопишься, снова окажешься там. Понравилось сосать солдатам?

Но я не отреагировала на ее попытку меня дезориентировать. Прежде, чем они предприняли что-либо еще, я сказала:

— Удачи вам. Это правда важно. Так же важно, как то, что вы пришли со мной. Спасибо.

Я подалась к ним, поцеловала обоих в щеки. Ивонн нахмурилась, затем сняла халат и кинула мне под ноги пропуск, так небрежно, словно бы я была лакеем, которому ей лень было вручать купюру.

— Нам это больше не понадобится. Может даже наоборот помешает, если нас поймают. В случае чего, свалим все на тебя.

Я кивнула, подняла халат и пропуск.

— И тебе удачи, Эрика, — прошептала Лили.

— Я вас не сдам.

— Конечно, не сдашь, — сказала Ивонн. — Ты же понятия не имеешь, куда мы пошли.

Я улыбнулась и помахала им рукой. Чтобы не видеть, как они спускаются, уходят, и я остаюсь одна, я посмотрела на посыпанное звездами, как снежком или сахаром, небо, свежее, прохладное и свободное.

Давай, глупышка Эрика Байер, сделай хоть раз что-нибудь смелое и достойное, пусть это глупо хоть тысячу раз.

Когда я снова посмотрела в сторону лестницы, Лили и Ивонн уже не было.

Я надеялась, что халат кальфакторши, пропуск и нечеловеческое везение мне помогут.

Глава 9. Утопизм после конца утопии

Итак, я осталась одна, и мне предстояло решить, что делать, исходя из этой невеселой перспективы. Я застегнула халат на все пуговицы, он был длинный, и я надеялась, что под ним мое платье Дома Милосердия не будет заметно. На пропуске, ровном пластиковом прямоугольнике, открывающем двери в месте, где женщин держат для приплода, как скот, была фотография фрау Винтерштайн. Не хотела бы я быть запечатленной в таком контексте. А фрау Винтерштайн белозубо улыбалась, демонстрируя свою потрясающую фотогеничность.

Я вздохнула, рассматривая фотографию. Вряд ли они, в конце концов, смотрят на пропуск каждой проходящей работницы. Шанс им воспользоваться у меня был, и это при условии, что он мне вообще понадобится. Фрау Винтерштайн явно знала о Доме Жестокости, но имела ли она право там находиться?

Я пришла к выводу, что это так, потому что фрау Винтерштайн со всей ее политической сознательностью вряд ли позволила бы себе знать о чем-то, что было ей не позволено.

Я побрела по крыше дальше, к крылу здания, именуемому Домом Жестокости. Нужно было попытаться проникнуть туда, хотя у меня не было сколь-нибудь значимых идей по этому поводу. Наверняка в здании должны были быть выходы на крышу, я поставила цель поискать их в нужной мне части. Лезть по пожарной лестнице или пробовать проникнуть в Дом Жестокости человеческим путем, через дверь, мне вовсе не хотелось.

Теперь шагать по крыше, быть выше всех, ощущать себя под самыми звездами было вовсе не приятно. Без Лили и Ивонн эйфория освобождения рассеялась, теперь я чувствовала себя мишенью, предельно открытое пространство пугало меня. Я поежилась, сейчас каждый звук заставлял меня пригибаться к земле, и все очарование ночи истаяло без следа. Настоящего, парализующего страха, однако, не было. Я словно отделилась от своего тела, и это придало мне некоторое спокойствие, явно не самого здорового происхождения. В тот момент, когда я увидела вход на чердак, слух мой пронзил треск гравия под колесами машины. Я упала, прижалась к полу так близко, как только могла, и это тоже произошло словно бы нечто само собой разумеющееся. Тело мое приняло правила игры быстрее меня.

Я увидела машину, черную, блестящую, дорогую. Респектабельный автомобиль для человека с деньгами и положением, и был он там не один. Они скопились во дворе, словно какие-то мерзкие жуки с блестящими, хитиновыми спинками. Я была уверена, что на всех этих машинах гвардейские номера. Дело было не столько в ореоле, который нарисовал вокруг Дома Жестокости Рейнхард, сколько в невероятной дороговизне этих машин, почти никто другой не смог бы себе их позволить. Я лежала неподвижно, наблюдая, как заходит внутрь один из солдат. Водитель его присоединился к небольшой группе мужчин в стороне. Они курили и смеялись, летняя ночь позволяла им без особенного недовольства относиться к тому, что внутрь их не пускают.

В Дом Жестокости было позволено входить лишь избранным.

Я была уверена, что перед нашим (я уже называла его нашим?) Домом Милосердия такого аншлага не наблюдалось, а сейчас все чистые, одетые в белое девочки, и вовсе видели свои, иногда тяжелые от нейрорептиков, сны.

Рейнхард сказал, что Дом Жестокости — это столовая. Машины, эти жуки-падальщики,

тыкались мордами в здание, так что это выглядело почти забавно, и в то же время картина была переполнена жутковатой жадностью. Наделив неживые предметы смысловой нагрузкой и дождавшись, пока солдат скроется в здании, я поползла ко входу на чердак. Теперь то, что я еще две минуты назад расхаживала по крыше казалось мне непозволительной роскошью, и я чувствовала, как забилося от запоздалого ужаса сердце.

Мне повезло снова — замок оказался кодовым, он запиликал и отозвался зеленым цветом, когда я приложила пропуск. Я вздрогнула, представив, как этот звук отразится на моей судьбе, однако волновалась я зря. Как только я проникла на чердак, оказавшись в пыльной духоте, я услышала, что внизу грохочет музыка. Это было смешение самых разных стилей и ритмов, словно бы каждый присутствовавший задавал какие-то свои правила. Взрывающий легкие рев саксофона, пляска пальцев по клавишам фортепьяно, стучащие вместе с сердцем барабаны мешали друг с другом совершенно непохожие мелодии. Этот хаос испугал меня, в нем было что-то от безумия. Я вдруг малодушно решила остаться здесь. На чердак, судя по всему, мало кто заходил. Нетронутые клубы пыли путешествовали по полу от сквозняка, идущего снаружи, я с трудом различала их, зато они щекотали мне ноги. Не было никаких вещей, ничего, что можно было использовать в качестве оружия — только откуда-то взялись связки газет, в темноте выглядевшие довольно грозными стражами, но оказавшиеся легким, безвредным мусором. Стоило мне немного пройти, и я наткнулась на паутину, это окончательно уверило меня в том, что здесь я в безопасности (если исключать пауков, некоторые из которых кусались очень больно).

Музыка казалась мне нестерпимо атональной, воздействующей на какие-то глубокие и прежде неизвестные части меня, вызывающей обморочный страх. Быть может, я просто перекинула на этот поток звуков все накопившееся напряжение. Я вздохнула, а потом с размаху залепила себе пощечину.

— Крепись, Эрика, ты пришла сюда не для того, чтобы умереть в одиночестве на чердаке.

Ты хочешь достать Роми.

И сделать это нужно быстро, потому что если Дом Жестокости, как сказал Рейнхард, это нечто вроде столовой, то какой из этого рождается вывод?

Их едят.

Халат болезненно жал мне в груди, но я не решалась расстегнуть ни одной пуговицы. Наверняка, я выглядела кем-то вроде медсестрички из порнофильма. Но это лучшая маскировка, чем никакой вовсе. Я прошла к двери, взялась за ручку и поняла, что дверь открыта. Отчасти я даже надеялась наткнуться на замок, который нужно открывать с помощью ключа, лечь на пол и полежать в отчаянии и уверенности, что я ничего не могу сделать.

Но правда заключалась в том, что я могла. И я открыла дверь, и я выскользнула на лестницу, ведущую вниз, и никто не заметил меня, потому что в этом месте было много, много людей. И оно ничем не напоминало Дом Милосердия.

Все было красным, бархатным и атласным, как я и ожидала — подобным женскому лону или внутренностям моллюска. Я спускалась вниз, в холл с удобными диванчиками, баром и потолком, обтянутым бордовой тканью, и я видела все больше людей. Большинство были женщинами, встречались и мужчины, а так же мужчины переодетые в женщин и женщины, переодетые в мужчин. Живые человеческие существа на любой вкус. Холл был большой, но если кто-то из них сидел в одиночестве, то не долго. В Доме Жестокости тоже

не было охраны, по крайней мере на этом этаже я ее не увидела. Наверное, охранники приходили по утрам. Кому они вообще нужны, когда здание полно идеальных солдат, не чувствующих боли.

Я видела их везде — кожаные плащи и черные пиджаки, начищенные сапоги и даже в алом оглушительно красные нашивки. Их видимая единообразность, то, как мало они отличались от роя насекомых, все скрадывало мое внимание, обращало его к броским людям рядом с солдатами гвардии.

Они были одеты очень по-разному: я видела девушек, на которых не было ничего, кроме ошейников, и тех, кого нарядили, словно благородных дам — каждая пуговичка застегнута, видела тех, чья кожа искрилась от блесков, и сияние было всем, что на них надето, видела и других, одетых в перья, цепи или кожу. Все это были люди, живые люди, представленные как объекты. Образы на все случаи жизни: садомазохистки, танцовщицы бурлеска, медсестры, школьницы, полицейские — весь порнографический антураж, панорама человеческой похоти.

Ничего такого, что не производила человеческая фантазия — чисто выбритые в интимных местах, покрашенные женщины, и рядом обритые налысо, тощие, дистрофичные, похожие на инопланетянок. Исторические прически и длинные ногти, замысловатые татуировки и золотые украшения — любые аксессуары на человеке, который имеет меньше ценности, чем они. Их всегда можно надеть на кого-нибудь другого. Всюду были плетки и наручники, фаллоимитаторы, разбросанные тут и там, как игрушки в детском саду. Все эти люди казались нормальными, я провела много времени в проекте "Зигфрид" и умела отличать патологию в движениях, взгляде. По крайней мере, самые серьезные ее проявления.

Но в сущности не было никакой разницы нормальны были эти люди или больны, потому что ни одно человеческое существо никогда не заслуживало подобного обращения. Они все были изувечены. Некоторые — очень сильно, у них не хватало пальцев, кистей рук, ног. Большинство было покрыто затейливыми сетками шрамов. По ним, казалось, можно было определять длительность их пребывания здесь, как по срезам деревьев. Я видела женщину, покрытую шрамами почти полностью. Она сидела на диване, голова ее была запрокинута, руки иногда скользили по тощим коленкам. Она явно была под действием каких-то наркотиков. Более того, я бы не поверила, что кто-либо, хоть кто-нибудь на свете, может встать с постели, не заглушая такую боль.

Вся ее кожа словно состояла из рубцовой ткани, так что лицо было почти неразличимо. Она все еще была здесь, наверное, потому что кому-то это нравилось. Кому-то нравилось оставлять частицу себя на этом теле, которое прежде принадлежало многим другим снова и снова. Школьная, мальчишеская забава, как разрисовывать парту.

На всех остальных шрамов тоже было много, хотя они представляли собой не такое чудовищное зрелище. Однако и их черты сотрутся до полной неразличимости. В конце пути все они превратятся в ничто.

Я не знала, что и думать. Я замерла на последней ступеньке в ужасе, а совсем рядом на фортепьяно играла какая-то девушка, бледная, милая, с двумя шрамами на лопатках, словно бы следами отрезанных крыльев.

Может быть, она надеялась, что если будет играть, ее не уведут отсюда. Я увидела коридор — длинный и красный, с точки зрения планировки похожий на тот, что был в Доме Милосердия. Солдаты вводили людей в комнаты, впрочем выбирали они не сразу, видимо и помещения обладали некоторым разнообразием. Их было так много.

И это всего лишь один этаж.

Я подумала: а если бы я знала о Доме Жестокости прежде? Думала бы я о нем, как о неизбежном зле вроде Дома Милосердия, в котором больных женщин заставляют вынашивать детей?

Я ведь вовсе не думала о Доме Милосердия, пока не попала туда. Я знала и не думала. Ответ пришел ко мне почти сразу. Я смогла бы отстраниться от этого, я смогла бы не вспоминать каждый день об искалеченных людях, об ожогах и шрамах, о месте, где жизнь не стоит ничего.

Мы все смогли бы. Любое насилие теоретически реально нормализовать, и это уже произошло с Домом Милосердия, произойдет и с Домом Жестокости. Уже сейчас это не был сверхсекретный объект.

Утопия для садистов, которые стали потребителями. Даже самую чудовищную индустрию, расчеловечивающую бойню, можно было превратить в рынок. Звуки фортепьяно резко стихли, их сменил визг, один единственный в хоре, с аккомпанементом из смеха, ругательств и плача. Я увидела, как один из солдат схватил девушку за волосы, вытащил из-за фортепьяно. Рука в черной перчатке, сомкнувшаяся на ее светлых волосах, казалась мне символом всей этой жестокости. Он притянул ее к себе, потрогал, словно товар на рынке: грудь, бедра и между ног, нет ничего важного в том, что чувствует этот человек, если ты пришел за вещью.

На лице девушки я видела страдание, и оно возбудило меня. Я с ужасом поняла, что и для меня эти люди — объекты, чьи ужас, беспомощность и боль могут возбуждать меня.

Сознание угнетенных колонизировано угнетателями.

Страх побуждал меня идентифицировать себя с теми, кто мучил и насиловал. По крайней мере, я надеялась, что это страх. И в то же время представив себя на месте этой девушки, я испытала первобытный ужас. Он и подтолкнул меня к первому шагу и ко всем последующим. Я прошла через холл, пахнувший духами и потом, искала глазами Роми. На этом этаже ее не было, либо же ее увели в комнату, но вряд ли я могла заглядывать за каждую дверь. Сначала нужно было посмотреть на всех этажах. Страдание людей, уходящее вглубь этого здания, как нарыв. Метастазы, фистулы, гнойники — все эти физиологические, тошнотворные сравнения вертелись у меня в голове одно за одним.

И я вдруг вспомнила, что всем нам говорили, когда был начат проект «Зигфрид». Когда солдат стало много, нам обещали, что больше не будет организованной преступности, не будет коррупции, что эти сверхлюди, во всем лучшие, защитят нас от всего.

Они должны были помочь нам, должны были дать нам безопасность, но вместо этого они превращали нас в ничто, безо всяких метафор, без красивых выражений, мы все стали обслуживающим персоналом для тех, кто имеет власть.

Мы отдаем им лучшие товары, мы рожаем их детей, мы даже их самих производим, а потом мы сами становимся тем, что они могут купить. Они уходят из Дома Милосердия и приходят в Дом Жестокости.

Сам воздух здесь был насыщен страхом, его резким запахом и характерным напряжением пространства. Я прошла через холл к лестнице, делая вид, что это обычное дело. Да никто и не обращал на меня внимания. Солдаты были заняты выбором. Они казались необычайно расторможенными, многие скалились совсем как животные.

Я приложила пропуск к замку на двери и вышла на лестницу. Здесь было пусто. Я привалилась к стене и тяжело задышала, а затем посмотрела на пропуск в своей руке. Я

должна была найти ее. Теперь у меня не было никакого морального выбора. Моя подруга была в чудовищной опасности, и сейчас ей было еще хуже, чем я представляла.

Следующий этаж оказался таким же, как предыдущий. Ничто не менялось — единообразие подчиняет. Тот же красный холл — сплошь музыкальный хаос и секс-игрушки, тот же длинный коридор, отчаявшиеся, испуганные люди и голодные солдаты. Плоть, плоть, плоть — возбужденная и израненная, она была всюду.

Я поняла, отчего никто не обращал на меня внимания. На следующем этаже я увидела двух кальфакторш, они вели под руки женщину, чье лицо было покрыто кровью, она была сильно избита, но еще сильнее напугана. Она бессловесно выла, пока ее уводили все дальше, а солдат за ней стоял, сцепив руки за спиной. Люди обходили его, словно река огибавшая камень. Он был пугающе неподвижным, а потом вдруг помахал ей. А может быть, мне, ведь девушка-то этого не видела.

А может еще кому-то. Хоть бы еще кому-то.

Я никогда не видела ничего хуже улыбки на его лице. Я как можно быстрее приложила пропуск к двери, снова вышла на лестничную клетку. Я просто очередная кальфакторша, занятая своими делами, ничего больше. Если убедить себя в чем-то, получится сыграть это гораздо лучше. Меня трясло. Я смотрела вниз, на лестницу, и думала, что у меня впереди еще много красных холлов, где на диванах сидят разодетые, обреченные люди.

Больше ничего, ни для кого не значившие. Как я боялась оказаться на их месте, и каким чудовищно возбуждающим все это было. Я ненавидела себя за это чувство, не покидавшее меня даже тогда, когда я думала о Роми.

Но благодаря нему я готова была умереть, но не отступить от своей цели, так что, наверное, стоило поблагодарить этот невротический кнут для моей слабой воли.

Снова и снова, этаж за этажом, я проходила через неведомые мне прежде страдания. Я подумала, что в таком контексте название "Дом Милосердия" имеет смысл. Там жили женщины, которых не били, не резали и не жгли. Они носили детей чудовищ, которые делали все это здесь. Солдаты вели себя очень по-разному, индивидуальность в них проявлялась, пожалуй, как никогда ярко. Кто-то был подчеркнуто галантен, кто-то не скрывал своей дикости, одни были разозлены, другие забавлялись.

Все они обладали чудовищным свойством — их власть, даже власть их липких взглядов, подавляла. Моя голова кружилась от всего, что видели мои глаза. Невыразимая жестокость, припорошенная блестками до полной фантазмагоричности казалась мне совершенной в своей абсурдности. Я не видела, что они делали с людьми за закрытыми дверями, я видела только результаты.

Я нашла Роми на третьем этаже. По крайней мере, мне так казалось. Я уже потеряла счет всему: времени, пространству, человеческому страданию. Все стало бесконечным, а в бесконечности, как известно, уже не различима кривизна линии. Это ощущение потери ориентации смягчило смятение, в котором я пребывала.

Мне могло быть легче, а вот людям здесь — нет, никогда. Единственный способ — диссоциация с телом, а это все равно, что смерть. Становишься призраком при жизни.

Прежде, чем увидеть Роми на одном из диванов, я заметила Маркуса. Она расхаживал по барной стойке перед привязанными к стульям женщинами и мужчинами, их было пятеро. Сапоги Маркуса блестели не хуже бутылок за ним. В руке у него горела каминная спичка, огонь медленно пожирал ее. Маркус говорил своим хорошо поставленным профессорским голосом:

— Для того, чтобы создать справедливое общество, нужно отказаться от всего. От традиционных сексуальных практик до привычки обедать. Культура — это репрессия, мы должны переизобрести ее, придать ей новое значение, а не редуцировать старый добрый кнут, погоняющий нас, до абсурда, каков, по всей видимости, и есть нынешний план.

Он цитировал одну из своих лекций.

— Этическая система, которую я предлагаю, обязывает нас признать, в конце концов, что все люди вне зависимости от их дохода, ориентации, убеждений и даже пользы для общества — равны. Только таким образом мы не сводим к абсурду систему государственного поощрения и подавления групп людей.

Он пнул ногой в грудь одного из мужчин, привязанных к стулу, и когда он повалился назад, Маркус кинул спичку ему в лицо.

— О, — пробормотал он. — Как-то неловко вышло, надеюсь не начнется пожар.

Я так испугалась, что метнулась к двери, я боялась, что он заметит меня и вспомнит. За секунду прежде, чем приложить пропуск к замку, я увидела Роми. Она сидела на диване, обняв колени, в своей обычной, диковатой позе. Глаза ее казались еще больше от страха, а длинные, нечесанные волосы были рассыпаны по плечам. Она была похожа на загнанного в угол олененка, не на зубастого зверька, а на кого-то вовсе безобидного. И хотя я знала, что она не была такой в жизни, впечатление это было болезненно сильным.

Впрочем, почему не была? Здесь, в этом здании, все мы такими были. Роми закусила губу и с напряжением следила за всем вокруг. Сексуальный ужас, садистическая оргия, все то, что видела и я. Но для Роми это имело совсем другое значение — она была частью происходящего.

Я видела между прядей ее волос напряженные, выступающие позвонки, дикостью черт, узостью костей и угловатой нервностью всех линий в ее теле, Роми походила в самом деле на какое-то доисторическое животное.

В руках она теребила красную накидку с капюшоном, еще на ней была коротенькая, тоже алая юбка. И это все.

Красная шапочка для волков. Еще прежде, чем я сделала к ней шаг, один из солдат подал ей руку. Она, конечно, не могла ему отказать, и в этом галантном движении было издевательство. Я хотела подойти к ней и сказать, что ей нужно пройти осмотр, и только сделав несколько шагов ей на встречу, я узнала солдата. Это был Ханс.

Мы обе погибли, если я подойду к ним.

Роми повертела в руке накидку, собираясь ее надеть, но Ханс покачал головой. Я услышала:

— Не стоит.

Он повел ее аккуратно, будто бы они прогуливались в парке, и он держал ее под руку, словно самую невинную из всех дам.

Она и была невинной. Все люди здесь были невинны. Они все были жертвами, и в этом не было никакой грязи, вины или стыда, который я невольно приписывала им. У меня не было ничего, что отличало бы меня от них.

Я смотрела им вслед. Ханс уводил мою Роми, и я не знала, какой она вернется оттуда. Мне нужно было спрятаться в одной из комнат, и как только Ханс оставит ее в покое, я заберу ее, как кальфакторши забрали ту девушку. В моей голове все это звучало бесконечно просто.

Я проследила, за какой дверью скрылись Ханс и Роми, и решительно пошла к коридору,

словно бы меня вызвали туда. Откуда им было знать, правда ли это, да и какое им было дело. Я была всего лишь персоналом, невидимой до тех пор, пока я не жертва.

Моя изоляция в этом мире герметической жестокости была невыносимой. Я хотела чего-то более буквального. К примеру, запереться в комнате и сидеть там в полном одиночестве. Вот это я понимаю — изоляция. Необходимое условие для продолжения существования.

Я прошла до двери, которую Ханс закрыл за Роми, по этому бесконечному коридору. Одна из комнат рядом была заперта, дверь другой оказалась приоткрыта, и я скользнула в нее. Устройство принципиально иное, чем в Доме Милосердия. Там женщины ждут в комнатах, здесь комнаты ждут женщин.

Но в остальном — то же самое. Повторение закрепляет рефлекс — простая меблированная комната, только все красное и кровать шире, а вся простынь в липких пятнах.

Я не сразу заметила, что всюду — на полу, стенах, следы крови. Красное на красном, замаскированная до полной неразличимости боль. Между потолком и стеной была длинная, закрытая сеткой линия, дыра в соседнюю комнату. Для тех, кто любит подглядывать, наверное. С другой стороны красовалась такая же. Некоторое время я стояла, привалившись к двери, и тяжело дышала, а потом не выдержала и подошла к кровати, встала на нее, чтобы оказаться на одном уровне с линией, окном в комнату, где были Роми и Ханс.

Он одевал ее. Наверное, комната была подготовлена для него заранее, потому что здесь было множество роскошных вещей. Роми никогда таких, наверное, не видела. Может быть, это был кусочек гостиной Бергеров, маленькая копия — зеркала, позолота, подсвечники и драпировки. Алые стены скрылись за синей тканью.

Ханс одной рукой застегивал пуговицы на блузке Роми, снизу вверх, а другой сжимал ее грудь. Она смотрела в сторону, в одно из зеркал. Я не должна была это видеть, но я смотрела. И Роми не должна была на это смотреть, но смотрела — на саму себя в отражении, на него в отражении.

Когда Ханс застегнул блузку, он надел на Роми жемчужное ожерелье, сделал шаг назад, посмотрел на свою работу, склонив голову. Роми, не так давно бывшая Крысой, теперь самым естественным образом смотрелась в роскошном комплекте из юбки и блузки, отдаленно напоминавшем одежду фрау Бергер — те же строгие, совершенные линии.

Ханс засунул руку в карман, и я испугалась, что он достанет нож. Ханс, однако, вытащил жемчужные сережки. Он подошел к Роми.

— У вас не проколоты уши, — сказал он. Роми кивнула. Волосы ее были уже убраны в аккуратную и несложную прическу, фрау Бергер носила обычно что-то, что доставит больше хлопот парикмахеру, но Ханс был не слишком привередлив. Он приставил сережку к ее уху и надавил, она зашипела от боли. Когда Ханс убрал руку, я увидела, что от жемчужной, аккуратной, наверняка платиновой сережки идет капля крови.

Ханс слизал ее.

В его лице было нечто не просто нечеловеческое, а противоречившее человеческому, это придавало ему страшной, мертвенной красоты. Ханс снова отошел, и я увидела, что Роми дрожит. Он улыбнулся, рассматривая ее лицо, а затем снова приблизился к ней, вдел вторую сережку. Роми выпустила воздух сквозь сжатые зубы, и Ханс приложил палец к его губам.

— Прошу, постарайтесь не кричать как можно дольше. Мне кажется, во всем этом не хватает музыки.

Он прошел к граммофону в углу, к части декораций, такой красивой и вневременной.

Ханс поставил одну из пластинок, повернулся к Роми и спросил:

— Вы любите Бетховена?

И я вспомнила, что фрау Бергер говорила Ивонн. Отличные манеры и Бетховен, и выкиньте из его головы всю эту дурь. А теперь фрау Бергер, пусть и символическая, сидела в этой комнате. Роми была актрисой, играющей ее, и все вокруг было декорациями для утонченного спектакля бедного сына фрау Бергер. Заиграла симфония под номером семь, и Ханс закрыл глаза, улыбнулся. Пронзительная, чистая, как кристалл, как слеза музыка, наполнила комнату.

Лицо Ханса приобрело возвышенное, нежное выражение, почти придавшее ему человечности.

— Как это прекрасно, не правда ли?

Мне показалось, он сейчас заплачет. Эта мощь стремления к чему-то прекрасному казалась почти болезненной. И в то же время она была самым настоящим, что в нем было. Чем сильнее раскрывалось сердце музыки, тем счастливее казался Ханс.

— Невероятно, — сказал он, когда музыка достигла своей кульминации и пошла на спад. Язык его скользнул по губам, и он прошептал с нежностью к затихающим аккордам.

— Что ж, приступим.

Роми сидела зажмурившись, и только когда Ханс произнес эти страшные слова, она раскрыла глаза, и было в них столько страха, что я поняла — ее мучают далеко не в первый раз. А это значит, что Роми больше никогда не станет такой, как раньше. Что она не осталась целой, несмотря на отсутствие видимых шрамов, и она больше никогда не станет той, кем сюда попала.

Ханс достал из кармана нож, лезвие было начищено для блеска.

— Я предпочитаю классику, — сказал он. — Эксперименты существуют для тех, кто не понимает истинной красоты.

Я знала в своей жизни (до этого момента) ровно одного патологического садиста — Карла. И проявления его жестокости несколько отличались от того, что я видела сейчас. Ханс вправду казался голодным. Именно голодным, и процессы, происходящие в нем, имели не только психическую, но и физиологическую природу. Он хотел есть.

Столовая. Они питались страданиями, болью, унижением, беззащитностью — да чем угодно. Они питались людьми.

Роми вдруг вскочила со стула и рванулась мимо Ханса к двери, подергала ручку. Он втянул носом воздух, словно бы обонял запах любимого блюда. Он не останавливал ее, потому что готовил. Страх и беспомощность, распространявшиеся по ее крови с каждой безуспешной попыткой избежать неизбежного были словно специи.

Я знала, что лучше всего будет подождать, пока Ханс закончит, вытащить Роми и сделать вид, что все идет как всегда — рутина ада на земле, кальфакторша ведет искалеченную девушку в медпункт.

Но я не могла. Я знала, и я не могла. Роми дергала и дергала дверь, и зрелище ее абсолютной неготовности к боли было прекрасным и тянущим низ живота. Я понимала, что поступаю неправильно, но никак иначе поступить было нельзя. Я спрыгнула с кровати, выбежала из комнаты и приложила пропуск к двери. Когда я увидела зеленый огонек, все тело напряглось. Я осознала, что я — машина для спасения своей жизни, созданная бесконечно большим эволюционным временем для того, чтобы убегать. Осознание это дало мне надежды больше, чем любая рациональная мысль.

Наверное, потому что все рациональные мысли в этой ситуации вели к одному единственному исходу. Мы погибнем. Роми в очередной раз рванула дверь на себя, и она открылась. Не встречаясь с ней взглядом, не дожидаясь от нее слов, я схватила Роми за тощее, дрожащее запястье и выдернула ее за порог. А потом мы побежали. Странное дело, никто не останавливал нас. Быть может, здесь это обычное дело. Кто-то любит поиграть в жертву и преследователя, размяться перед едой, наверняка. Роми вцепилась в меня так отчаянно, что мне было больно, однако эта боль только давала мне больше сил. Мы бежали по коридору, из одной из комнат доносилась атональная, хаотичная фортепьянная музыка. Сначала я подумала: это словно играет первоклассник. А затем я поняла, что это издевательство над музыкой, пародия на гармонию. Может, Ханс так разозлится, что забудет о нас?

Мы пробежали через холл, казалось, в пару секунд, всеобщее безразличие радовало и пугало. Может быть, мы не первые, кто пробовал отсюда выбраться. Но так же, может быть, мы будем первыми, кто все-таки выберется. Я приложила пропуск к двери, и мы вывалились на лестничную клетку, побежали вниз, словно брошенные мячики, прыгуче, перескакивая через две ступеньки.

К концу лестницы я почувствовала облегчение. Еще один этаж, и мы будем близки к свободе. По крайней мере, мы покинем это чудовищное место, быть может на пару минут, но это стоило даже жизни.

— Роми, ты в порядке?

— А как ты думаешь? — спросила она в ответ. Голос ее был хриплым, наполненным страхом и радостью. Мы едва не врезались в тяжелую дверь, я приложила к замку пропуск, распахнула ее, и увидела Ханса.

Словно в фильме ужасов, он стоял прямо перед нами. Каким образом он оказался здесь? Другие лестницы? Лифт? Мы бежали так быстро, как только могли, я вообще не была уверена, что человеческие существа, даже ославленные медалями и рекордами, когда-либо бегали настолько быстро. Но Ханс не был человеческим существом. Он даже не выглядел запыхавшимся.

— Фройляйн Байер? Не ожидал вас здесь увидеть.

Я подумала: он же такой вежливый мальчик, быть может мы просто поговорим. А потом я посмотрела ему в глаза, они были светлые, прозрачно-серые, с расширенными зрачками. Ничего страшного, глаза как у всех людей. Но взгляд Ханса лишил меня надежды на все и сразу, под этим взглядом я забыла, что я — человек.

В следующую секунду он схватил меня за горло и приподнял над полом. Я хотела сказать что-нибудь отчаянное и пафосное вроде "нет, пожалуйста", но из горла вырвался только отчаянный хрип, слабость накинута на меня со всех сторон — онемели руки, в глазах потемнело. На секунду меня отрезвила боль. Я почувствовала, что его ногти впиваются мне в кожу, и хотя они были совсем короткие, сила, с которой он вонзил их, позволила ему добраться до крови. Я подумала, он ведь может раскрошить мне кости. Он ведь сдерживается. Роми не кричала, она никогда не кричала, у нее не было такого рефлекса в страшных ситуациях. Но сейчас это было неважно, ведь никто не придет.

Я не понимала, умираю ли я, все в голове смешалось, и в этом было особенное милосердие — я не боялась. Если не знаешь, чего бояться, то вроде как становится все равно. Безразлично и очень тепло. Мое уплывающее сознание снова столкнулось с образом Ханса. Он склонил голову набок, словно бы прислушивался к чему-то. За шумом в ушах я не

слышала ничего, так что не могла понять контекст.

— Прошу прощения? — сказал он. А затем рука его разжалась, и он бросил меня на лестницу, удар был болезненным, но не смертельным, так что жаловаться мне было не на что.

Темнота, поглощавшая мир, рассеялась по углам зрения, а затем вовсе пропала, как будто ее разогнало солнце. Из сомнительных его заменителей были, правда, только люминесцентные лампы, но и они, видимо, сошли.

Ханс протянул к нам руку ладонью вверх, словно просил подождать, пока он разговаривает по телефону. Роми обняла меня. Мы не думали бежать, а я, кроме того, наверное и не могла.

— Я совершенно не подумал об этом, какая досада, — говорил Ханс, и я решила, что он сошел с ума. Я подалась назад, уперлась в Роми.

— Нет, разумеется, я этого не сделаю, — говорил он. — Но предлагаю разобраться тебе. Я снова попыталась отползти, но Ханс наступил на подол моей юбки, покачал головой.

— Да-да, я дождусь тебя. Я все понимаю.

Ханс запрокинул голову, словно разминал шею, затем сказал:

— Благодарю вас за понимание. Это всего лишь минутная задержка. Хорошо?

Мы с Роми переглянулись, а затем сильнее вцепились друг в друга. Через минуту я услышала писк замка, а затем шаги на лестнице.

— Ханс, дорогой друг, это маленькое недоразумение, не знаю, как так вышло!

Я слышала голос Рейнхарда. Он переступил через меня, словно через вещь. Я увидела в его руках бокал с розовым, искрящимся шампанским. Движения его были раскоординированы, комедиантски расхлябаны.

— Вышло просто удивительно неловко, — сказал Ханс.

— Прямо-таки чудовищно, — согласился Рейнхард, приобнял Ханса за плечи, посмотрел на нас.

— Какие чудные, правда? Разве так не вкуснее?

Я увидела на белом воротнике его рубашки пятнышки крови. Он проступал для меня, как из темноты. Кровавые отпечатки были и на подушечках его пальцев, он испачкал бокал. И шампанское в бокале было не розовым.

То есть, розовым, но сорт винограда был здесь не при чем. Дело было в крови.

— Так что считай это неожиданной приправой, — сказал Рейнхард, приложил бокал к губам Ханса.

— Хочешь?

— Прекрати, это невежливо.

— Мое дело предложить.

Рейнхард допил шампанское, бросил бокал, наступил на него сапогом, превращая осколки в стеклянную пыль, а потом сделал шаг ко мне. Он с легкостью поднял меня на руки, несмотря на все мои попытки уцепиться за Роми или вывернуться, вырваться. Он крепко удерживал меня, прижимая к себе.

— Выпусти меня! Выпусти! Это моя подруга!

Роми словно опомнилась, но не до конца, она пыталась отползти по лестнице вверх, но Ханс шел с ней вровень, а затем поднял ее, закинул на плечо, как какую-нибудь палку (да, так ее в школе и дразнили за то, что Роми — тощая).

— Я не хотел прибежать к столь варварским методам, — сказал он. — Но вы не

оставили мне выбора.

— Каков он, а? — сказал мне Рейнхард. — Ставлю тысячу марок — конечно, хотел.

— Роми! — визжала я, но Рейнхард не выпускал меня, мне казалось, что с тем же успехом я могла пытаться вырваться из капкана.

— Эрика!

— Патетически, — сказал Рейнхард. Когда дверь за Хансом закрылась, и мы остались одни, я замерла. Странное было ощущение, я полностью расслабилась, и меня держали.

— Испугалась? — спросил Рейнхард, голос у него был странный, какой-то жутковато-веселый. От него пахло шампанским и кровью.

— Роми! Роми! Ты обещал ей помочь!

— И я помогу ей, — легко сказал Рейнхард, а затем развернулся, прижал меня к стене, так что я оказалась теперь в вертикальном положении и смотрела ему в глаза. Он по-прежнему удерживал меня на полум, так создавалась иллюзия, будто я только чуть ниже его.

— Но сейчас я должен был отдать ее Хансу, Эрика.

— Почему?! Он будет мучить ее!

— Потому что таковы законы фратрии. Я не могу отобрать у него еду. Ты бы вырвала у своего брата из рук кусок хлеба?

— В детстве я так и делала. Но я ненавидела своего брата.

Он засмеялся, поцеловал меня в макушку.

— Плохая, плохая крошка Эрика Байер. Я как раз хотел заглянуть к тебе утром и сказать, что ты свободна.

— Что?

— Официально тебя здесь уже нет, — сказал он. — Кениг внял моей маленькой просьбе. Я сказал ему, что ты сможешь нам найти Отто Брандта. Что касается Роми, я заберу ее после того, как Ханс с ней закончит. Он передел ее во фрау Бергер?

Рейнхард засмеялся, а я спросила:

— Да что здесь вообще происходит? Кто все эти люди?

Я удивилась, как мне хватает сил задавать эти вопросы. Рейнхард снова засмеялся, потом подался ко мне, сильнее прижав меня к стене. Он зашептал мне на ухо:

— Наркоманки, мелкие правонарушительницы, Крыски, бесплодные политические преступницы. Словом, всех и не упомнишь.

Он вдруг облизнул губы, я почувствовала его влажный язык на мочке своего уха.

— Впрочем, строго говоря, на их месте может оказаться любая. Скажем так, представь себе, что я не знал тебя, Эрика. Что ты не обладала возможностью сделать меня солдатом, но вместо тебя, по закону сохранения энергии, этой возможностью обладал кто-нибудь другой, не такой нежный, не такой сочувствующий. И вот я проезжал в машине мимо твоего дома, а ты как раз возвращалась с работы. Я случайно увидел тебя, а ты меня даже не заметила. Я указал бы на тебя, и на следующий же день ты оказалась бы здесь. Возбуждает? Тебя это возбуждает, Эрика?

Он рванул мой халат, я услышала стук пуговиц, посыпавшихся на пол, поскакавших по лестнице, Рейнхард оттянул платье и лифчик, обнажив мою грудь, сильно сжал ее. Я снова попыталась вырваться, но результаты были сомнительными, как и с самого начала. Он был намного больше меня и в десятки раз сильнее человека, так что я могла только извиваться в его руках.

— Не трогай меня!

— Разве тебе не понравилось, Эрика? Хотела бы оказаться на месте своей подружки? Или на моем?

— Рейнхард, прекрати!

Он втянул носом воздух, совсем как Ханс недавно.

— Я же чувствую, что понравилось.

Пальцы его больно ущипнули мой сосок, я зашипела. Мне было страшно и отвратительно, я вся дрожала. Рейнхард водил языком по царапинам, оставленным Хансом на моей шее. Он питался мной. Я не знала, чем была кровь — гормональным супом из адреналина и кортизола или метафизическим выражением моего отчаяния, но он питался мной через кровь.

— Если ты не остановишься, — крикнула я. — Я никогда тебя не прощу! Рейнхард, пожалуйста!

Сомнительная угроза для существа, не способного к эмпатии в традиционном смысле этого слова. Он трогал меня еще с полминуты, и только когда я заплакала от бессилия, вдруг отстранился, позволил мне съехать по стене вниз и поддержал, чтобы я не упала. Я оттолкнула его и запахнула халат.

— Ты с ума сошел? — спросила я, одной рукой придерживая ткань, а другой вытирая слезы. — Ты чертов ночной кошмар!

Когда он приблизился ко мне, я отступила.

— Не смей меня трогать.

Стоило ему протянуть руку, и я оцарапала его, озлобленная, словно загнанный в угол зверек.

— Не трогай!

А потом я увидела, как крохотная, тонкая ранка затянулась у меня на глазах, такая незначительная, что почти сразу она стала ничем.

— Ты...

— Я был голоден, — сказал он. Голос его почти стал прежним. Он был пьян, но вовсе не так сильно, как мне казалось до этого момента. Его повадки изменил голод, а не алкоголь. И Рейнхард все еще не наелся.

— Тебе нельзя здесь оставаться, — сказал он. — Да и у меня есть дела.

— Я не уйду без Роми.

— Я знаю. Я запрю тебя в комнате.

— Запрешь меня в комнате? Почему я вообще должна тебе верить?!

— Ты не должна, — сказал он. Рейнхард не закончил фразу, я была в состоянии сделать выводы сама. Даже в самом худшем случае, даже если он придет за мной, чтобы питаться мной, это будет лучше, чем если я останусь здесь, среди полусотни (или больше) таких же хищников, как он, только совершенно мне незнакомых.

Я первая шагнула на лестницу, обойдя Рейнхарда.

— Да, — сказала я. — Пойдем. Пожалуйста, не обмани меня.

Твоя честность — моя единственная надежда. Но этого я говорить не стала. Я не хотела быть беззащитной, это могло пробудить его аппетит.

Мы снова поднялись в холл, и я прошла рядом с ним, словно его жертва. Он приобнял меня, легко, едва ощутимо, но это прикосновение принесло мне приступ страха, я видела, как дернулись его ноздри, он учуял. Голод делал его сверхчувствительным. По сути, Рейнхард не сделал ничего достаточно страшного, ничего уровня Дома Жестокости, но

крошка Эрика Байер всего лишь маленькая, капризная трусливая девчонка, испугавшаяся слишком жесткого петтинга.

По сравнению с жизнью людей вокруг, каждая секунда, проведенная с Рейнхардом была раем. Тогда отчего же мне было так страшно?

Мы проходили мимо одной из комнат, открытой настежь. Я увидела белое фортепьяно, клавиши его были в пятнах крови. Я вспомнила подушечки пальцев Рейнхарда, измазанные в крови, и вздрогнула. Так вот кто вырывал из инструмента эту атональную, отвратительную мелодию.

— Ты знал, что я здесь?

— Увидел через Ханса, — сказал Рейнхард. — Далеко не сразу. Я был несколько занят, как ты понимаешь.

Я отвела глаза от фортепьяно и увидела бокалы с шампанским, стоящие на полу. В некоторых из них искрилась золотистая жидкость, в других она уже порозовела. Бокалов был десяток или около того, в них или мимо то и дело капала кровь. Я взглянула вверх и увидела женщину, подвешенную под потолком. Вдоль ее живота шла алая линия, словно делившая ее надвое, и была она не одна.

Ее тело покрывали набухшие кровью следы от плети, вскрытые ножом, как нарывы. Рейнхард показал ей язык, проходя мимо. А я так и не решилась посмотреть в ее лицо.

Он закрыл меня в соседней комнате, так что при желании я могла подглядывать за ним. Но я не хотела ничего, кроме как лечь в кровать и закрыть глаза. К счастью, это мое желание оказалось выполнимым. Я залезла в испачканную кровью и пятнами спермы кровать и засунула голову под подушку.

Шум в ушах был как шторм, море моего разума было беспокойным, а берега я совсем не видела.

Глава 10. Части и целое

Рейнхард пришел за мной. Когда он открыл дверь, я посмотрела не на него, а на Роми рядом с ним. Роскошная одежда на ней была порвана и приблизилась теперь по своему качеству к тому, что она предпочитала носить в своей обычной жизни. Сначала я не увидела на ней никаких следов ножа, огня или плети, однако открытая кожа в местах, где порвалась одежда, сама походила на раны.

— Роми!

Она подняла руку, с трудом, словно бы несла в ней что-то тяжелое, без инициативы помахала мне. Я кинулась обнимать ее, но она отпрянула. Только, когда Роми развернулась, я поняла, почему. Блузка на ее спине вся пропиталась кровью.

— Роми, я...

Роми развернулась с неожиданной ловкостью, щелкнула меня по носу.

— Не ной.

— Ладно, — сказала я. Снова потянулась ее обнять, но на этот раз отпрянула сама.

— Что ж, — сказал Рейнхард. — Давайте завершим эту сцену счастливого воссоединения. Если, конечно, вы спешите.

Мы тут же, словно по команде, повернулись к нему, готовые идти за ним, куда он скажет и делать все, что он скажет. Влияние — это просто, даже слишком. Он мог спасти нас, поэтому слушаться его казалось чем-то само собой разумеющимся. Мы шли за ним, словно овечки, но какое же это было облегчение — подчиниться кому-то, кто видим и значим, кто правда что-то может.

Мы с Роми не разговаривали. Я не знала, что ей сказать, как помочь ей жить дальше. У меня не было слов, не было соответствующего опыта, я боялась ее, как боятся слабых и больных людей. Не потому, что они могут причинить тебе вред, а потому, что ты можешь причинить вред им. Она казалась хрупкой, как стекло.

Мы спустились вниз и никто не остановил нас, словно бы мы не вполне существовали. На нас обращали внимания не больше, чем на плащ Рейнхарда. Он отмечался, проходил контроль, разговаривал с кем-то, а мы стояли тихо, боясь лишней раз вдохнуть. Я больше не переживала о том, что я невидима. Я хотела сократить свое существование до как можно более крохотного масштаба, я хотела, чтобы никто меня не замечал.

Трагедия и одновременно грамотная политическая стратегия Нортланда заключалась в том, что любого человека можно было довести до такого состояния. Разными методами, но любого. И вот уже никому не хочется быть видимым, значимым, реальным. Я понимала, что после этой ночи смогу принять много больше. Права, обязанности, общество — все это были просто слова по сравнению с тем, что происходило в Доме Жестокости. Все, что мне нужно было теперь — это покорность, гарантирующая, что я останусь целой хотя бы ненадолго.

Даже не навсегда. Быть может, крошка Эрика Байер, ты не героиня, но разве ты готова быть героиней с избытком воли и недостатком конечностей?

Дом Жестокости однажды явят Нортланду официально, когда все будут готовы. И тогда станет ясно — может быть еще хуже. Дом Жестокости нужен, чтобы показать, что значит хуже, где на самом деле ужас и боль.

Мы вышли на улицу, я увидела рассвет — серо-розовый, готовый засиять, победный. Я

как никогда почувствовала, насколько мир неотделим от меня, как сильно он (а вернее мой способ видеть его) выражает все мои беды, надежды и чаяния. Я выжила, и Роми шла рядом со мной, так что можно было почувствовать тепло ее руки, если сосредоточиться. Рейнхард вклинился между нами, приобнял нас обеих, и мы прошли мимо вышедших на смену охранников с серьезными, сонными лицами.

А ведь это были люди, выросшие главными героями своего непрерывного внутреннего спектакля и способные производить в голове не только слова. Но я понимала. Кто угодно сделает что угодно снаружи Дома Жестокости, лишь бы не оказаться внутри.

Солдаты разъезжались. Машины их казались мне отдохнувшими этой долгой ночью, да и сами солдаты выглядели свежими, словно бы крепко спали положенные восемь часов. Кое-кто из них вел с собой людей из Дома Жестокости. Все равно, что кошка, схватившая полуживую мышку, чтобы поиграться с ней еще. Я ничего не могла спросить у Рейнхарда, язык прилип к небу самым капитальным образом, казалось любое слово будет стоить мне крови и плоти. Я шла, запахнув халат, чтобы не было видно платье Дома Милосердия. Роми совершенно не стеснялась, ее заботы были насущнее, физиологичнее моих.

И обе мы выглядели как шлюхи, которых Рейнхард забирает себе, чтобы, может быть, перекусить нами на завтрак. Охрана смотрела на нас безразлично, их явно занимала возможность выпить кофе, когда все разъедутся.

Рейнхард открыл перед нами дверь машины, и мы сели. Машина была черной, но салон ее — идеально белым. Я подумала, что Роми запачкает его. А потом подумала еще, что это ничего страшного. Рейнхард сел рядом со мной и отдал распоряжения водителю. Он назвал мой адрес.

— На обратном пути, — сказал он. — Отвезешь меня в Рейнстофф, я голоден, как волк.

А я подумала, что это тот самый лакированный ресторанчик, в котором обед стоит столько же, сколько мое лучшее платье. Рейнхард достал портсигар, вынул сигарету и с наслаждением закурил, выпустив дым через нос. Он включил кондиционер, и я почувствовала нежные потоки воздуха, холодные и приносящие облегчение, способные остудить даже эту ночь.

Я не раскрывала рта, пока Рейнхард не опустил стекло между нами и водителем. Я смотрела, как он курит, с невероятным обаянием удовольствия в каждом движении, чувственным погружением, которое казалось мне почти сексуальным.

— Солдаты увозят девушек.

— Не только девушек. Я ничьи вкусы осуждать не собираюсь.

— Так вот, они вернут их обратно?

Рейнхард вдруг засмеялся, это был остаток вчерашнего голода, пузырек в шампанском, секундный всплеск. Он сказал:

— Конечно, вернут. Иначе с их стороны это будет не экономно. У нас в Нортланде не бесконечное количество людей. Чаще всего никто не умирает. Хотя, конечно, бывают случайности.

Он посмотрел на Роми. Туфли ее (вернее фрау Бергер) стояли на полу, Роми же обняла колени, сжавшись в углу, она прислонилась лбом к стеклу и наблюдала за тем, как мы покидаем Дом Жестокости. Губы ее шевелились, но ни звука не срывалось с них.

— И сколько... сколько тебе нужно?

— Мне? Пока не знаю. Мы были здесь дважды. Все индивидуально. В среднем ночь и неделю, может быть в пять дней, если время выдалось тяжелое. Есть и те, кто ходит сюда

через день, но это дурной тон. Значит, не умеют организовать и расходуют излишнюю энергию.

— А где Ханс и Маркус?

Рейнхард постучал себя пальцем по виску.

— Вы всегда ходите вместе?

— Мы вообще всегда вместе. Но если ты о Доме Жестокости, то да. Так принято. Часто берут одну девушку на четверых и...

— Хватит.

— Но нас всего трое.

— Какое облегчение.

— И завтра же мы с тобой займемся этой проблемой.

Я отвернулась, принялась смотреть в ту же сторону, что и Роми. Мы проезжали торговый центр, опутанный неоном, таким призрачным в утреннем мареве. Торговые центры не закрывались никогда, для них находились посетители в любое время суток, потому что всем нам нужно было себя занять.

Такова суть Нортланда. Здесь можно либо делать вовсе не то, что думаешь, либо не думать вовсе. Люди, которые выбирали второе, штурмовали бастионы охваченных неоновым огнем торговых центров при первой же возможности, потому что ритмичная музыка и красивые вещи приводят мысли к блаженным простым формулам — сколько стоит и стоит ли купить.

Я понимала этих людей, я и сама научилась бы этому с радостью, однако так случилось, что конституциональной мудрости во мне не было вовсе, зато имелись запасы бесконечного лицемерия.

От недосыпа меня немного подташнивало. Салон быстро наполнился запахом крови Роми, причудливо мешающимся с табачным дымом. Курить мне не хотелось, я была уверена в том, что меня стошнит.

Хильдесхайм встречал нас спешащими на работу людьми в машинах и без них, открывающимися магазинчиками из тех, что помельче и могут позволить себе ночной сон, длинным рукавом реки, по которому течение носило мусор и уток. Мне не верилось, что я возвращаюсь домой. Мне казалось, что начинался еще один чудовищный день, что Рейнхард везет меня в очередную инстанцию, из которой сначала выхода нет, а затем оказывается, что есть, и он ужасен.

Рейнхард вдруг обнял меня и притянул к себе. Я слишком устала, чтобы оттолкнуть его, а может дело в том, что я не могла не быть благодарной. Он спас меня и мою подругу, каким бы монстром он ни был и как бы меня не испугал.

Рассвет оставил Роми побелевшие скулы и незабудки синяков под глазами. Жемчуг в ее ушах был красно-розовым от крови, похожим на бледную ягоду. Она была так хороша, и в то же время готова разбиться в любую секунду.

— Роми, — позвала я. Она медленно повернулась в мою сторону, посмотрела на меня большими, инопланетными глазами, моргнула пару раз, а потом засвистела какую-то лихую песенку, торжества которой хватило бы на то, чтобы наполнить смыслом любой бесполезный государственный праздник.

Роми вдруг хлопнула в ладоши и широко улыбнулась. Она ничего не сказала, но я поняла, что Роми наконец-то осознала, откуда она выбралась. Роми уткнулась носом в свои колени, сжавшись совершенно неудобным и непередаваемым образом.

Я не представляла себе, кем Роми станет теперь. И не представляла себе, как помочь этому человеку. Но я хотела.

Я смотрела на Роми еще некоторое время, пытаясь поймать ее взгляд. Глаза у Роми были словно пустое море в месте равно удаленном ото всех берегов. Они казались очень спокойными и очень грустными. Иногда Роми продолжала насвистывать песенку, куски мелодии брались из ниоткуда и пропадали в никуда.

А где же Ханс, искалечивший мою подругу? Где он теперь в этот рассветный, похожий на камень вроде халцедона, час. А где другие мужчины?

Когда машина затормозила, я не без сожаления поняла, что путешествие закончилось, и теперь с его результатами придется как-то жить.

Рейнхард поднялся с нами, как в старые добрые времена, когда он жил здесь, и дорога домой была единственным фактом о мире, который он знал наверняка. Рейнхард достал из кармана мои ключи и открыл дверь, он впустил Роми, но закрыл дверь, когда я попыталась пройти за ней.

— Ты волевым решением постановил, что теперь здесь живет только она? — спросила я. Рейнхард наклонился ко мне, сказал:

— Я заеду за тобой сегодня в два.

— И куда мы отправимся?

— Мы будем искать Отто. И, может быть, твоих подружек.

Я вздрогнула.

— А может быть это поручат Хансу или Маркусу, — задумчиво сказал Рейнхард. — Новый день, новые проблемы. В общем, я тебя разбуду. И не собирайся слишком долго, в семь у меня совещание совета директоров в одной хрупкой, но крупной компании, и я должен мониторить эффективность управления.

С эффективностью управления, подумала я, у него самого все просто отлично.

— Спасибо тебе, — сказала я. — За то, что ты сделал для меня. И Роми. Я этого не забуду.

— Ты все время угрожаешь или обещаешь что-нибудь не забыть.

— Память это мой единственный, но ценнейший ресурс. Еще могу налить кофе.

Он взял меня за подбородок, но я не стала смотреть на него, отвела глаза.

— Эрика, я помню все, что ты сделала для меня. Я стараюсь стать для тебя кем-то подобным. Но у меня не получается. Я не так устроен. Я не для этого.

— Рейнхард, я...

Я хотела сказать, что собираюсь хорошенько отдохнуть прежде, чем обсуждать что-либо подобное, но он поцеловал меня. Язык его легко скользнул по моим губам, словно он пробовал меня на вкус, и тогда я вывернулась из его рук, пинком открыла дверь и влетела в квартиру. Прежде, чем Рейнхард как-либо отреагировал, я закрыла дверь перед его носом. Пикантность ситуации заключалась в том, что он мог сломать ее так же легко, как я открыть.

Но он не делал этого. Я прислонилась к двери, и я знала, чувствовала, то же самое сделал и он. Мы стояли так некоторое время, разделенные металлом и чем-то еще прочнее.

Больше книг на сайте - Knigolub.net

— Я не люблю тебя, — прошептала я. — Я больше тебя не люблю.

— Может закончишь свою любовную драму и поможешь мне? — крикнула Роми из ванной. Я и вправду с радостью оставила это дело для какого-нибудь другого, более

подходящего времени. В ванной Роми сдирала с себя блузку. Я помогла ей, хотя мне всякий раз казалось, что я слишком резко разлучаю окровавленную ткань с ее кожей, добавляя Роми боли.

На спине у нее были вырезаны ноты, каллиграфически точные линии, сетка, в которой застряла мелодия.

— Он, мать его, правда любит Бетховена, — сказала Роми, а затем сплюнула в раковину. — В душ я первая, ты же не против?

Она засмеялась. Мое жильё Роми присваивала себе с тем же обаянием, и с тем же бесстыдством прямо при мне она залезла под душ. Я достала аптечку, приготовила антисептик и пластыри. Я не была уверена, что их хватит.

— Знаешь, — сказала я. — Я была бы счастлива, если бы ты ненадолго у меня осталась.

— Ага. Да я у тебя совсем поселюсь. У меня пока нет желания колесить по стране.

— Не за что. Ты расскажешь, что с тобой случилось?

— Схватили, когда пыталась выбраться из Хильдесхайма. Ну, как обычно и бывает. Только мне раньше везло.

Роми выключила воду, вытерлась моим полотенцем, передала его мне, чтобы я осторожно промокнула ее спину.

— Знаешь, — сказала Роми задумчиво. — Себби там бывает. В этом клубе, или что это там. Он меня, конечно, не выбрал. Потому что любит. Но я его там видела. А ведь он даже не искусственный.

— Я думала, в таком случае ему туда вообще нельзя.

— Ну, он один там был настоящий из всех, кого я видела.

Отчего-то я хорошо представляла Себби в Доме Жестокости. Быть может, он сам никого не трогал. Но ему, наверное, было весело наблюдать.

Когда мы закончили со спиной Роми, я вышла, чтобы принести ей одежду и взять себе новое полотенце. Тогда я столкнулась с Вальтером. На нем был вчерашний макияж и моя атласная ночная рубашка нежно-лавандового цвета, едва доходящая ему до колен.

Он выглядел как испитая дива, чьи лучшие годы давно миновали, вынужденная носить парик и скрывать следы наркозависимости, она представляла собой жалкое зрелище. Вальтер широко зевнул.

— Сестричка, — сказал он безо всякого удивления. — Я думал, что ты не вернешься. Пойду сделаю тебе кофе, милая.

Он прошел на кухню, словно бы ничего не произошло. Вместо того, чтобы разозлить меня, манера эта отчего-то оказалась очаровательной. Я сходила в комнату за вещами, зашла в ванную и дала Роми одежду.

— Осторожно, — сказала я. — На кухне мой брат-трансвестит. Объяснять не буду, пока не посплю.

— Да мне плевать, — сказала Роми, перекинула домашнее платье через плечо и вышла обнаженной, как ни в чем не бывало.

Я залезла под душ и наслаждалась теплой водой, сколько хотела, а не десять минут, как заповедовала фрау Винтершгайн. Интересно, думала я, как она там? Я надеялась, что фрау Винтершгайн оправится после нашего предательства.

Я заметила на светлом кафеле не смываемое пятнышко крови Роми. Я позаботилась о нем, и его унесло в водосток вместе с сегодняшней ночью.

Помывшись, я завернулась в махровый халат, нежный, теплый и напоминающий мне о

том, что я дома. Я нуждалась в этом напоминании как никогда. Я вышла и увидела, что Роми и Вальтер сидят на кухне и пьют кофе. С Роми словно бы ничего не случилось. Она качалась на стуле, смотря в потолок, и ждала, пока Вальтер размешает ей сахар в кофе.

— Ах, дорогая моя, это просто чудовищно.

— Ага, это ужасно, Нора, — сказала Роми совершенно серьезно.

— Эротическая мечта любого мужчины — неограниченный полигон для насилия.

Опять началось, подумала я.

— Эрика, милая моя, приготовить тебе завтрак?

— Нет, Нора, я пойду спать, — ответила я.

— Ага, давай. А мы еще потусуемся, — сказала Роми. И я удивилась, неужели с ней все в порядке, настолько гармонично и просто она вела себя.

А потом я поняла, что Роми так испугалась и устала, что не может спать.

— Кстати, Эрика, если пойдешь в магазин, купишь мне чулки?

— Ты пойдешь в магазин, — сказала я. — Ты ведь живешь у меня.

Но Вальтер уже снова обратился к Роми.

— Они чувствуют себя так плохо, когда не делают кому-то больно. Поэтому я решила окончательно завязать с тем, чтобы быть женщиной. Власть, образование, искусство — все пропитано их духом.

Я поняла, что не хочу слышать больше ни слова, развернулась и ушла в свою комнату. Она пахла утром, отдаленно — липами. Я задернула шторы, оставшись в приятной тени, скинула халат, поправила ночную рубашку и легла в кровать. Я включила ночник, чтобы почитать, достала из-под подушки книгу, посмотрела на нее и вспомнила Маркуса Ашенбаха, расхаживавшего по барной стойке с каминной спичкой в руке.

Я вернула книгу под подушку и выключила ночник. Завтра, когда у меня будет больше сил, я положу сюда литературное произведение, на которое все еще могу смотреть.

Глава 11. Добро пожаловать в пустыню постидеологии

Мне снились осенние поля, колючие от стерни или отяжелевшие от излишка, умирающие, несущие в себе то же омерзение, что и разбухшие от воды трупы.

Я ходила между ними, между двумя секторами мерзости — ограбленной природой и природой, оставленной умирать. Небо становилось все темнее, но дождь никак не мог хлынуть, и в этом была огромная трагедия, во сне это ожидание дождя превратилось в апокалиптическую фантазию. Я шла между двумя полями, смотря на небо, пока не поняла, что меня хватают за ноги.

Я посмотрела вниз, и оказалось, что там, под землей, люди, живые люди, которые тянутся ко мне не потому, что хотят мне зла, как мертвецы в фильмах ужасов. Они под землей, они ничего не видят, и только руки их способны нашарить хоть что-то на поверхности.

Множество, множество людей. Бесчисленные поколения тех, кто не может подняться. Небо, наконец, разразилось, но не дождем, а телефонным звонком. Не вполне проснувшись, я взяла трубку, приложила ее к уху.

— Да? — спросила я хрипло.

— Я буду у тебя через час, — сказал Рейнхард.

— Хорошо. Доброе утро.

— Доброе утро, Эрика.

Как только формальная вежливость оказалась соблюдена, я тут же пренебрегла всеми остальными формулами этикета и повесила трубку. Пару минут я лежала в кровати, не понимая, почему мое сознание воспроизвело вместо Дома Жестокости осенние поля, подмена казалась мне странной, почти пугающей.

А затем я подумала: Дом Жестокости был подо всем этим, скрытый, но очевидный. Все это время я должна была догадываться о нем. Законы, требующие больше, чем человек способен соблюсти, контроль воспроизводства населения, сверхэлита с ее сверхпривилегиями. Судьба тех, кто умер, кто погиб "технически наиболее совершенным способом", по крайней мере была известна. Что касается людей, попавших в Дом Жестокости, то от них даже памяти не осталось.

Я перевернулась и увидела рядом Роми. Она спала, свернувшись калачиком и не прикасаясь ко мне, так что тепло, от нее исходящее, казалось слабым, почти не существующим. У Роми всегда были строгие правила по поводу сна. Она могла спать под музыку, крики, агониальный шум ремонта, но никак не могла заснуть, соприкасаясь с кем-то, так было с самого-самого детства, и я наизусть помнила правила наших ночевок — никогда не касаться Роми плечом и не дышать в ее сторону.

Хорошо, подумала я, что кровать достаточно просторная. И хорошо, что у Роми достаточно совести, чтобы не заставлять меня спать с Вальтером.

Я вышла из комнаты и увидела, что Вальтер все еще сидит на кухне. Я подумала, что если не обращать на него внимания, он уйдет. Так что я неторопливо приняла душ, закуталась в халат, принесла Роми антисептик, марлю и мазь, а то с нее стало бы забыть обработать спину. Я написала ей записку: «доброе утро, Роми! План таков: разворачиваешь

марлю, разрезаешь ее на две части. Одну мажешь антисептиком, вторую мазью, и трешь ими спину так, как полотенцем, но нежнее. Если тебе не нравится мой гениальный план, но ты доверяешь Вальтеру, то обратись к нему.»

Мои расчеты не оправдались, и когда я вышла на кухню сделать себе легкий завтрак, Вальтер все еще сидел там. В одной руке у него была сигарета, в другой кружка с кофе. Судя по тому, как тряслись у него пальцы, явно не первая. От кофе Вальтер, казалось, еще больше отошал, черты лица его словно бы заострились.

— Сколько кофе ты уже выпил? — спросила я.

— Это одиннадцатая кружка.

Я вырвала ее у Вальтера из рук и вылила кофе в раковину.

— Заканчивай.

Вальтер кивнул, а потом глубоко затянулся сигаретой. В пачке на столе оставалась еще одна, и я забрала ее. Закурив, я отошла к окну, посмотреть на потемневшее небо, подождать дождя и дать Вальтеру еще один шанс уйти.

Он вдруг сказал:

— Знаешь, Эрика, я все-все поняла.

Я выпустила дым, он на секунду заволок передо мной зелень деревьев и стремительно темнеющую синеву неба. Мне вспомнилось ощущение из сна, трагическое ожидание дождя. Я медленно спросила:

— Что?

— Весь ужас происходящего на земле состоит знаешь в чем?

Я не знала. За последнее время я видела достаточно ужаса, чтобы понять, что ничего я о нем не знаю. У него было множество ликов, заглянув в один из которых, забываешь все остальные. Так что осознать весь ужас земли полностью не представлялось возможным. А может быть, я просто еще не вошла в ту степень тревоги и депрессии, которая даст мне эту предвечную мудрость. Вальтер продолжал:

— Живые говорят от лица мертвых. Понимаешь, даже те, кто сам документировал свою гибель, те, кто вели дневники умирающих от болезней или знали, что не переживут следующую ночь и писали последние письма — все эти люди были живы, когда писали о смерти. Смерти, как таковой, не существует. Мертвых не существует. Никто вообще ничего не может обо всем этом сказать.

Я развернулась, взяла пепельницу и поставила ее на подоконник, снова посмотрев на небо. Может быть, мой дом действует на людей таким образом?

— Ты понимаешь, Эрика? Мертвые не говорят ни о чем. Все эти смерти, пусть их будет сколько угодно много — это тишина. Последнее число всегда ноль. Ты понимаешь это, Эрика? У них нет ответов, и вопросов они не задают. Половина нашей жизни — это тишина, пустота. Как если взять что-нибудь цельное, а потом потом половину закрасить черным. Нет, это тоже не подходит. Половины просто нет, ничего нет, у нас так много тишины, пустоты, неизученного пространства. Так много ничего.

Он говорил все быстрее и быстрее, казалось, скоро я перестану понимать его слова. Я затушила сигарету и обернулась к нему.

— Вальтер, — сказала я вкрадчиво. — Вальтер, пожалуйста, успокойся.

Взгляд его бегал, глаза казались еще темнее, чем на самом деле. А потом он встал и прошел к плите, чтобы заварить себе еще кофе.

— Знаешь, я оказалась там совершенно случайно, — сказал он. — Прежде я на

карательных акциях не бывала, у нас маленький городок, ничего особенно страшного не происходило. Хемниц тихий, в нем даже скучно. Да, конечно, приходилось кого-то отправлять в Хильдесхайм, но это же совсем другое. Некоторые возвращались.

Я подошла к холодильнику, вытащила масло и хлеб, принялась делать себе бутерброд. Мне не хотелось впускать в себя это знание. Больше никакой боли.

Но Вальтер не останавливался, а я не могла его прервать. Мне было его жаль.

— Я готовилась к тому, что мне придется убивать, но как-то все не случилось и не случилось.

Мне захотелось спросить его, поэтому ли он убивал лягушек в детстве, и засмеяться, но я не стала. Я намазала бутерброд и Вальтеру. А он сделал кофе и для меня.

Мы сели за стол, и я снова посмотрела на Вальтера.

Он продолжил:

— Словом, приехали большие шишки из гвардии. Из самого Хильдесхайма, Эрика. Они выслеживали их, они сами их брали, я не знаю даже, где. В общем-то, это было дело не нашего уровня. Они созвали четверых из нас, когда все было кончено. Все было на какой-то заброшенной фабрике за городом, в километре от леса. У меня всегда были хорошие характеристики, и я вошла в списки. Там от здания-то толком ничего не осталось.

Я слушала его спутанную речь, слушала, как он перескакивает с детали на деталь, и испытывала от этого почти то удовольствие, которое получают от детективов.

— Словом, там никто ничего не убирал. Но поставили столы, накрыли их белыми, просто как снег, скатертями. Была и выпивка, и что поесть тоже было. Как праздник, понимаешь? Там были гвардейцы, десять мужчин, и еще одна женщина. Она сидела рядом с главным из них.

И я подумала: Маркус. Я вспомнила, что говорил кениг, вспомнила Кирстен Кляйн и наконец, поняла, что это за история.

— Там была здоровая такая яма. Проломленный бетон. Может, последствия аварии. Я не знала. Перед ней лежали связанные ребята и несколько девушек. Огромная яма, как общая могила, понимаешь? Так вот, она сидела рядом с главным, не ела, не пила. На ней была грязная одежда, и среди нарядных гвардейцев за богатым столом, она так глупо смотрелась. А богатые гвардейцы и нарядный стол глупо смотрелись на заброшенной фабрике. Все было глупо. Нам сказали убить их всех, одного за одним. Они бы и сами могли. В конце концов, они их поймали. Преступников, значит. Но им хотелось посмотреть. Я и не знала, что это за преступники такие. Говорили, что очень опасные.

А я знала.

— В общем, у них были завязаны глаза, и они лежали. Знаешь, даже убежать не попытаешься. При попытке к бегству умереть не так страшно, наверное. В общем, приходилось переступить через них, одна нога слева от него (или от нее), другая справа. Вставать вот так, а потом стрелять в лицо. У них были повязки на глазах. Главный из гвардейцев сказал: это чтобы они не знали, когда. В общем, мы так и шли. Я не знаю, сколько их было, я даже не посчитала. Около двадцати, наверное. Нет, все же чуть меньше. Выстрелить, переступить, снова выстрелить. Вроде какого-то танца. Девушка эта за столом смотрела, кусая губы, но не вскрикнула ни разу. Они тоже не кричали — рты тоже были завязаны, как руки, как глаза. В общем, мы все сделали. Тогда нам предложили сесть с ними и поесть. Я села, а потом я ела и пила вместе с ними. Когда я вышла, чтобы покурить, меня стошнило. Я подумала, а ведь это все было для чего? Чтобы впечатлить ту девушку рядом с

главным. А она держалась лучше меня. По крайней мере, так казалось. Когда нас отпустили, мы обрадовались. Наверное. Но на обратном пути молчали. Туда ехали — смеялись, а на обратном пути молчали. Мы даже не знали ничего о них, понимаешь, Эрика? Даже глаз их не видели. И в тот момент все казалось очень легко. Еще пару дней я исправно ходила на работу, а затем собрала вещи и уехала. Я просто больше не могла там оставаться.

Маркус, подумала я, устроил массовое убийство, от которого сошел с ума мой кузен. Как тесен мир. Я не могла полноценно впустить в себя драму этих молодых идеалистов, взорвавших однажды здание полиции под влиянием идей Маркуса Ашенбаха, дирижировавшего впоследствии их уничтожением. Кирстен Кляйн была единственной ниточкой, связывавшей меня с этими людьми, а с ней нас объединял только взгляд. Благодаря воспоминаниям о Кирстен Кляйн я смогла, по крайней мере, ощутить, что это были живые люди, и что теперь их нет.

— Мальчишки! — сказал Вальтер. — Вечно они придумают что-нибудь, из-за чего друг в друга стрелять. Сколько их там все-таки было? Хотя последнее число всегда ноль, так что это все равно. Ну да ладно! Эрика, понимаешь, мне нельзя назад! Я даже ничего не знаю, но я сбежала оттуда.

Кто же знал, что у моего брата такая слабая психика.

— Ты ведь меня не выгонишь? — спросил Вальтер. Он взял меня за руку, сжал мое запястье. — Я не хочу там оказаться. Там, на той фабрике.

Я подумала, что есть места и пострашнее. А затем эта мысль показалась мне кощунственной. Разные люди, разные судьбы. Как решить, чья ужаснее? Мне вдруг стало стыдно, что я еще здесь, сижу на прокуренной кухне, смотрю на бутерброд и планирую, что у меня будет еще один день, а за ним следующий, и так далее.

— Оставайся. У меня хорошая протекция.

— Спасибо тебе, Эрика! Спасибо!

— Но не бесконечная.

Я посмотрела на часы и вскочила.

— Мне пора!

Я посмотрела на Вальтера. Его все еще трясло от кофе. Я сказала:

— Ради всего святого, отдохни, Вальтер.

— А ты купишь мне чулки?

— Да, куплю.

— Со стрелками?

— Обязательно.

Я вдруг наклонилась к нему и поцеловала его в макушку.

— Мы что-нибудь придумаем.

В сущности, я ничего для него не сделала, но мое бесполезное сочувствие облегчило боль мне самой. Дождь, наконец, пошел. Такой же сильный, как и вчера. Или позавчера? Я потеряла счет времени, оно уходило слишком легко.

Вальтер остался на кухне с моими несъеденными бутербродами и своим неизбывным чувством вины. Я сбрызнула духами затылок, живот и локти, убрала заколками волосы и надела пыльно-розовое платье прежде, чем поняла, зачем я все это делаю. Мне хотелось быть красивой. Я разозлилась на саму себя, но отступить от намеченного плана уже не было времени, и я прошлась по губам вишневой помадой.

Я выбежала из дома за десять минут до потенциального приезда Рейнхарда. Я не хотела,

чтобы он поднимался ко мне. Он больше не жил здесь, это место перестало быть его домом. Было бы неправильно приглашать его сюда. Я выбежала во двор, под дождь, и села на скамейку. Почти с радостью я мокла, ощущая, как из женщины, желающей нравится, я превращаюсь в женщину, желающую попасть в теплое и сухое помещение. Я запрокинула голову. Дождь был теплый и сильный, закрыв глаза, я ощутила себя под душем. За шумом дождя я не услышала, как подъехала машина.

— Эрика!

Когда я открыла глаза, то увидела его, стоящего у автомобиля. Водитель держал над ним зонт. На Рейнхарде был длинный кожаный плащ, неизменная повязка с дагазом от дождя, казалось, алела еще более ярко.

Я неторопливо встала, и с как можно большим достоинством пошла ему навстречу. Если он не помыл машину от крови Роми, я принесу туда достаточно воды для этого. Рейнхард обнял меня, уткнулся носом в макушку, и я почувствовала желание обнять его в ответ, обессиливающую нежность.

Я тебя не люблю, подумала я, не люблю тебя, не люблю.

Мы сели в машину, и он включил кондиционер. На этот раз в салон хлынул теплый воздух.

— Так куда мы едем? — спросила я.

— В «Рейнстофф».

— Ты же там завтракал.

— Настало время обеда.

— Ты вообще работаешь?

— Преимущественно во второй половине дня. Кениг предпочитает спать допоздна.

Мы надолго замолчали. Я отодвинулась от него как можно дальше, принялась смотреть в окно, хотя интересного за ним было мало. Когда мы выехали с территории проекта «Зигфрид», Рейнхард сказал:

— Мы поговорим с воспитанником Отто.

— Разве Карл этого еще не делал?

— Я думаю, у тебя получится лучше.

— Почему?

— У тебя получалось даже со мной. Твоя работа — максимально содействовать мне в поиске Отто. Сейчас это приоритетная кампания для моей фратрии.

Я кивнула.

— Хорошо, я поняла. Но почему мы не могли побеседовать с ним здесь? Он же здесь, в конце концов, живет.

— Потому что в столовой не подают устриц.

— Если бы ты чуть меньше времени уделял плотским удовольствиям, мы продвинулись бы быстрее.

Я не понимала, отчего злюсь на него. Он помогал мне, он спас нас с Роми, но в то же время все, что связано с ним, так пугало меня, что я ошетинилась превентивно, стараясь казаться больше.

— Эрика, мне тридцать пять лет.

— Я знаю. Как и мне.

— Я не закончил. Мне тридцать пять лет, как и тебе. Но ты жила тридцать пять из них в мире, более или менее, приближенном к реальному. Я хочу попробовать все, что приносит

удовольствие тем, кто способен ощущать.

Он задумался, а потом добавил:

— И повторять это снова и снова.

— Хорошо. В таком случае это оправдывает сложную логистику людей и товаров.

— Эрика, почему ты злишься?

— Потому, что ты — монстр.

Но я лгала. Вернее, соглашалась с неправдой. Я не злилась. Я боялась.

— Разве не ты меня таким сделала? — он криво улыбнулся.

— А у меня был выбор?

— Это философский вопрос. Выбор, строго говоря, всегда есть. Вы все почему-то думаете, что выбор между покорностью и смертью, это не выбор.

— Ты так говоришь, словно тебя это не касается.

Но он не ответил. Остаток пути мы ехали молча, так что тишина салона, скрывавшего даже шум дождя, показалась мне в конечном итоге невыносимой.

Машина остановилась у «Рейнстоффа». Водитель открыл дверь, теперь он держал зонтик над нами обоими. Я подумала, а ведь если бы я пришла сюда одна, вымокшая насквозь и не внушающая доверия, меня бы даже на порог не пустили.

Но с Рейнхардом лакей придержал бы дверь даже перед обезьяной. Это было удивительное чувство, почти равняющееся вседозволенности. Мир Рейнхарда был полон искушений, и я начинала понимать, отчего он ведет себя именно так. В зале все дрожало, бесконечно от всего отражаясь. Стекло, металл, зеркала — все, что способно было подарить мне отражение, собралось в этом аккуратном и роскошном месте.

— Они знают толк в дизайне, — сказал Рейнхард. — Стиль — изменчивая категория. Удовольствие смотреть на себя — вечно.

Мы сели за стеклянный столик перед большим, во всю стену, окном. Даже меню здесь было пропечатано черными буквами на прозрачных листах. Нарциссический бар, где платишь за удовольствие подцепить самого себя. Все непрозрачное непременно должно быть, в таком случае, хромированным.

Неотражающие предметы должны почти перестать существовать, чтобы быть допущенными в это пространство.

Рейнхард поймал мой взгляд.

— Разрыв между самовлюбленными фантазиями и самоуничтожением, почти полным уничтожением себя, прозрачностью. Идеальный проект нарциссической личности.

— Такой, как ты?

— С чего бы еще мне так любить этот ресторан?

Он продолжал мои мысли, легко подхватывая то, чего я еще даже не сказала. И мне нравилось с ним разговаривать.

— Ах да, — сказал Рейнхард. — Здесь невероятный айсвайн.

Он щелкнул пальцами, подзывая официанта. Молодой человек в строгом, безупречно идущем ему костюме, оказался рядом так быстро, что я засомневалась в его физической реальности. Рейнхард заказал айсвайн и шампанское, и то и другое называлось мудреным образом, так что я даже не была уверена, что правильно все расслышала. Еще он заказал устриц, черную икру на хлебе с маслом и какой-то прозрачный суп с морем странных ингредиентов. Больше всего этот суп был похож на дегенеративное искусство.

Я взяла себе салат с кроличьим мясом, самое бюджетное, что здесь подавали. Надо

признаться, попробовать что-то в этом ресторане мне вправду хотелось. Салат оказался настолько вкусным, что я пожалела о том, что не заказала еще что-нибудь. Вряд ли дело было в моем так и не удавшемся завтраке. Он вправду переливался на языке оттенками вкуса, которых я прежде и не представляла. А может быть так божественно сладки были выброшенные на ветер деньги.

Рейнхард ел с аппетитом, с видимым удовольствием, но предельно аккуратно, словно правила этикета были введены в него искусственным путем. Впрочем, никаких метафор — так и было. Я чувствовала себя неловко рядом с ним, поэтому делала вид, что смакую свой салат, а не боюсь наколоть на вилку что-нибудь лишнее и уронить.

— Я дошел до пункта пятнадцать в меню, — сказал он. И я вдруг узнала в этом человеке моего Рейнхарда с его патологической тягой к цикличности и крохотным ритуалам. Я улыбнулась ему.

— Что ж, однажды здесь не останется не испробованных блюд, и придется расстаться с этим местом.

Он вдруг с нежностью коснулся моего подбородка.

— Попробуй.

Он взял крохотный кусочек хлеба с маслом и икрой на нем, положил мне в рот. Наверняка, этот хлеб еще как-нибудь назывался, чтобы на язык слово ложилось так же нежно, как он.

— Это вкусно, — сказал Рейнхард. И он был прав — удивительно вкусно.

Всякий раз, когда Рейнхард делал глоток шампанского, я вспоминала о каплях крови, стекающих в бокалы. Я просто не могла забыть. Так что я была рада, когда на десерт принесли сливки с сахарной пудрой и фрукты, а Рейнхард соответственно перешел к айсвайну. Десерт он ел с ленивым, медлительным наслаждением, каким-то сверхудовольствием, слишком интенсивным, чтобы получать его быстро.

Мне больше всего понравились сливки для фруктов, в них иногда попадались крошки нежного, наверняка очень дорогого шоколада.

— Так вот, возвращаясь к нашему разговору. Прозрачное, — он стукнул пальцем по столу, кивнул в сторону окна. — Ощущение собственной ничтожности и субъективной пустоты. Хромированное...

Я посмотрела на пол, на спинки стульев, потолок.

— Грандиозное осознание величия и красоты, — закончил Рейнхард. — Разве это не иронично?

Я кивнула. А потом не выдержала и добавила:

— Нарциссический рай по сути то же самое, что нарциссический ад.

— Именно.

Мы улыбнулись друг другу. И хотя в его улыбке не хватало чего-то важного, человеческого, я с радостью приняла ее.

— Так где же Густав? — спросила я.

— Его привезут через полчаса.

— Значит, у встречи в два не было достаточного основания.

— Правда?

Неправда. Я хотела его увидеть. Крошка Эрика Байер, как тебе не стыдно обманывать саму себя? Ты столько для себя делаешь и так неблагодарно к самой себе относишься.

— Тогда предлагаю провести эти полчаса с пользой. Что ты думаешь о памяти? В

глобальном смысле.

Рейнхард пожал плечами.

— Попытка конструирования будущего исходя из предыдущего опыта, не больше. Гораздо важнее, что я помню.

— Выбор того, что именно помнить, совершается бессознательно и конструирует наши личности.

— Поэтому фантазия и память, в принципе, способны смешиваться.

— Вернее, следует признать, что они не способны не смешиваться.

Я выдохнула. Это было так, словно мы пели песню. Я не могла позволить себе окунуться в этой с головой, но позволила. Мы говорили быстро, словно бы это были последние полчаса для того, чтобы поделиться друг другом. Мы перескакивали с темы на тему, так что больше всего это было похоже на викторину. В какой-то момент Рейнхард сказал:

— Все мы в той или иной степени искусственны, потому как вся человеческая культура — это непрерывное производство иллюзий. Ты так боишься меня, потому что я создан, а что настоящего в тебе, Эрика?

Он вдруг схватил меня за ногу под столом, рванул к себе, так что я проехала вперед вместе со стулом. Никто не обратил на это внимания. Хотя, скорее, все сделали вид, что заняты чем-то другим.

Рейнхард расстегнул застёжку моей туфли, стянул ее и бросил под стол. Я смотрела на него, закусив губу. Пальцы его путешествовали от моего колена до щиколотки, он гладил меня, ласкал, и это было приятно, но в то же время стыдно. Я чуть откинулась на стуле, стараясь придать себе как можно более небрежный вид.

— Ты приходишь в этот мир, и он уже готов. В нем есть все, даже язык. Тебя учат реагировать определенным образом на определенные раздражители.

Он перехватил меня за щиколотку, дернул ее вниз, и я когда моя ступня оказалась между его ног, я почувствовала, что Рейнхард возбужден.

— Тебя учат всему: что такое красиво, хорошо, плохо, стыдно. Что должно приносить тебе удовлетворение, что должно ранить. Ты бы, может быть, и сохранила кусочек своей индивидуальности, но ты думаешь, как и все остальные, хотя бы потому, что делаешь это на их языке. В конце концов, все твои убеждения лишь случайные совпадения смыслов, которые обусловлены тем, что ты читаешь, не менее случайными убеждениями твоих родителей, принимаешь ты их или отрицаешь, и случайным же опытом. Так почему же я ненастоящий, а ты настоящая?

Я собралась с духом. Это не было обидно, было азартно, и я не хотела растеряться. Я улыбнулась ему, а потом чуть двинула ступней, немного надавила.

— Потому что ты — сексуально неутомимый интеллеktуал с нечеловеческой силой и золотыми часами. Ты идеален. И тебя не должно существовать.

Сказав слово "сексуально" я тут же покраснела, но фразу закончила, хотя и менее победоносно, чем планировала. Я гладила его ногой, а он пил свой айсвайн, с интересом рассматривая меня. Прежде, чем у него нашлись для меня слова, мы слышали:

— Папочка меня любит! Он хорошо со мной обращается!

— О, — сказал Рейнхард. — Мой потенциальный брат.

Я увидела Густава. Это был мужчина чуть за тридцать, смазливая красота его юности была похожа на слишком задержавшегося на вечеринке гостя. Человек, теряющий юность,

но еще не вполне потерявший присущую ей нежность, выглядел странно.

Я попыталась убрать ногу, но Рейнхард удержал меня. Двое солдат усадили Густава на стул между нами, и он принялся бестолково озираться вокруг.

Рейнхард махнул рукой солдатам.

— Здравствуй, Густав, — сказала я. Рейнхард протянул руку, демонстрируя свои золотые часы, потрепал Густава по голове. А ведь они могли бы сидеть рядом, как равные.

— Привет, неудавшийся братишка.

— Где папочка? — спросил Густав. — Папочка обещал мне подарки.

— Твоего папочки больше нет, — сказал Рейнхард. — Его расстреляли, потому что он — гомосексуалист.

Я надавила на него ступней, наблюдая, как Рейнхард закусывает губу. Я не могла сделать ему больно, но я могла сделать ему приятно.

— Густав, — сказала я. — Твой папа уехал.

— Да, — сказал Густав. — Он уехал, чтобы привезти мне подарки. Он так и сказал.

История Густава была, пожалуй, самой мерзкой из всех, с которыми я встретилась в проекте "Зигфрид". Его отец, вдовец и служащий банка, ничем среди других не выделялся. Я видела его фотографию в личном деле Густава — такого захочешь запомнить, но никак не сумеешь, ничего примечательного вовсе. Кроме пристрастия к собственному умственно отсталому сыну, о существовании которого никто не знал. Отец Густава держал его в подвале двадцать девять лет. И Густав любил его, потому что за все эти годы он никогда не видел никого другого, отец был для него всем: источником еды, воды, любви и страдания. Густав искренне любил его и боялся всех остальных. И хотя папы его давным-давно не было на свете, Густав скучал по нему.

— Густав, — сказала я. Мне казалось правильным называть их по имени, потому как они важные, значимые. Всем нам нужно быть одобренными в своем существовании. Густав принялся раскачиваться, смотря на меня, потом стал кусать ноготь на большом пальце.

— Ты можешь нам немножко помочь?

— Могу, — сказал он. — Немножко вам помочь.

— Спасибо, Густав. Я сейчас буду задавать тебе вопросы.

Я посмотрела на Рейнхарда. Он наблюдал за мной с интересом, может быть, ему хотелось посмотреть, какова я была с ним, со стороны.

— Задавай мне вопросы, Эрика.

Я улыбнулась ему.

— Густав, ты же знаешь, что Отто пропал.

— Да. Карл сказал, что Отто украли.

— Карл сказал неправду.

Густав покусал подушечку большого пальца, потянулся к скатерти и начал ее мять. Эта ситуация стала мне нравиться — Рейнхард притащил в лучший ресторан Хильдесхайма умственно отсталого и явно забавлялся.

— Я не знаю, — сказал Густав.

— Но вы ведь общались с Отто. Жили с ним вместе.

Я смотрела на Густава и думала, каким солдатом он был бы? В Доме Жестокости он брал бы мужчин или женщин? Что бы он с ними делал? Привязывал, как его привязывали?

— Да.

— Может, он рассказывал тебе, куда собирается?

— Нет, Отто никуда не собирался. Он говорил, что он теперь мне как папочка.

— Пикантно.

— Рейнхард, прошу тебя, — сказала я. Он криво улыбнулся, и я осознала, что говорю с ним как раньше, когда Густав по сравнению с Рейнхардом казался гением.

— Папочка обещал мне большую коробку сладостей.

— Да. И много-много других подарков. Но мы сейчас не о твоём папочке, а об Отто, да?

— Отто сказал, что он мне как папочка.

Я терпеливо кивнула.

— А ещё что-нибудь он говорил перед тем, как уйти в последний раз?

— Лиза.

— Что, Густав?

— Он говорил: Лиза.

— Что?

— Лиза, Лиза, Лиза. Он вставал перед зеркалом и говорил: Лиза, Лиза, Лиза.

— А кто такая Лиза, Густав?

Он пожал плечами. Мы говорили ещё некоторое время. Наверное, минут сорок я пыталась выяснить нечто важное, отработывая свою свободу. Но Густав разве что потрясал меня своим умением любую тему перевести на папочкин предполагаемый приезд. Ничего странного Отто не делал, друзей не водил, по телефону ни с кем не говорил.

Когда Густава увели, я спросила:

— Много нового узнал? Думаю, Карла бы вполне хватило.

Рейнхард все это время пил айсвайн и изредка записывал что-то в ежедневник. Он посмотрел на меня, затем сказал:

— Достаточно.

Я усмехнулась.

— Хорошо. И кто такая, по-твоему, Лиза?

Рейнхард перелистнул пару страниц, зачитал:

— Лиза Зонтаг, двадцать два года. Диагноз: неуточненное органическое поражение мозга. Пропала из Дома Милосердия Хемница два года назад.

— Так ты...

— Кстати, по загадочному совпадению, в Хемнице родился и вырос Отто Брандт.

— Тогда зачем...

— Я запросил список всех происшествий Хемница за последние десять лет. Вероятно, Отто Брандт так же виновен в нескольких поджогах. У меня была теория. И мне нужно было подтверждение.

Он надел перчатки, достал кошелек и положил на стол несколько купюр, таких крупных, что мне тут же захотелось их забрать.

Рейнхард взял меня под руку, и мы пошли к выходу, где нас ждал водитель с зонтом. Дождь стал слабее, и я надеялась, что вскоре он вовсе пройдет. Рейнхард шел быстро, и когда мы оказались в машине, он тут же нажал на кнопку, поднимающую стекло между нами и водителем. Я была возбуждена, в том числе и тем, как нетерпеливо вел себя он. Он поцеловал меня, я быстро ответила, а потом покачала головой.

— Сейчас.

Я опустилась на пол и принялась расстегивать ему брюки. До звезды порнофильма мне было далеко, однако отчего-то я нестерпимо хотела попробовать его на вкус. Я толком не

знала, что делать, желание это пришло отдельно от умения. Я смущалась долго рассматривать его член, поэтому почти сразу обхватила головку губами. Рейнхард надавил мне на затылок, заставляя принять его глубже. Это было продолжение нашей с ним игры в ресторане — такое же постыдное и символически насыщенное. Я брала его в рот, совершая действие, дававшее мне иллюзию контроля. Я не была способна принять его глубоко, но я облизывала его, трогала, обхватывала губами, желая сделать Рейнхарду приятно. Это не было противно. По сути, не противнее, чем целовать ему руки. Член — символ власти и мужского, так что стыд исходил скорее из глубин моего культурного багажа, чем из физиологического отвращения.

Рейнхард запустил руку мне под платье и лифчик, сжимал мою грудь, вызывая внизу живота пульсирующее возбуждение. Его пальцы кружили вокруг соска, он ласкал меня, а потом вдруг резко, сообразно толчку, который совершал в мой рот, собственнически трогал мою грудь. Пульсация внутри от этой ласки становилась нестерпимой, и я запустила руку себе под платье не для того, чтобы показать, какой могу быть развратной, а чтобы облегчить возбуждение, почти ставшее болью. Рейнхард вдруг втащил меня на сиденье, легко и быстро, дернул к себе за ногу. Теперь я лежала на животе, растянувшись на сиденье. Рейнхард принялся ласкать меня прямо через ткань белья, эта преграда была мучительной, и я протянула руки, чтобы снять белье, но Рейнхард не дал мне этого сделать. Он ласкал меня, только слегка надавливая пальцами. Это было нестерпимо, но в то же время безопасно, отчего-то я все еще боялась почувствовать его внутри, может быть дело было в ожидании боли, а может быть в страхе перед ним.

Я застонала, я была вся мокрая, и в то же время отчасти я не хотела заполнять голодную пустоту внутри. Мужское по-прежнему воспринималось мною со страхом.

Я забылась, погрузившись в болезненную яркость ощущений, и вынырнула только когда он навалился на меня и вогнал в меня член. Это было неожиданно, но почти не больно, потому что к этому времени я была мокрой насквозь. Я громко застонала, и он на секунду зажал мне рот.

— Не забывай о приличиях.

— В таком случае ты мог бы спросить, — сказала я. Или подумала, что сказала. Я не была уверена в том, что произнесла нечто вразумительное. Он прижимал меня к сиденью, и я скользила по нему с каждым толчком Рейнхарда, он держал руку у меня на лбу, чтобы я не ударилась о дверь.

Мне хватило нескольких его толчков, чтобы кончить. Он продержался немногим дольше, это был подчеркнута быстрый секс, и в этом была его прелесть. Вернее, секс был вполне обстоятельный, но проникновение должно было завершить его, а не продолжить. Я почувствовала его разрядку — пульсацию во мне, усилившуюся хватку, с которой Рейнхард прижимал меня к себе, влажность его семени внутри, и это почти заставило меня кончить снова, настолько противоречило это ощущение моим представлениям о безопасности и чистоте.

Он поцеловал меня в затылок, затем приподнялся, и я поняла, что все это время дышала с некоторым трудом.

— Тебя куда-нибудь подвезти? — спросил он. Рейнхард тяжело дышал, и я тяжело дышала. Я с некоторым трудом собралась с мыслями, села.

— Нет. Я лучше пройду. У тебя есть салфетка?

После секса все слова, то есть вообще все, казались мне просто чудо какими

циничными. Рейнхард пожал плечами:

— Могу спросить у водителя.

Он потянулся к кнопке, но я остановила его.

— Не надо.

Тогда Рейнхард опустился к моим коленям, поцеловал их, раздвинул мне ноги. Теперь, когда все закончилось, я ощутила неловкость с новой, неизведанной прежде силой.

Рейнхард вылизал меня дочиста, без стыда и с удовольствием. Он снова сел, запустил руку в карман и вытащил салфетку, промокнул губы.

— Так тебя точно не нужно подвезти?

Отчего-то я страшно разозлилась.

— Удачного совещания, Рейнхард.

— Приятно, что ты помнишь мое расписание.

Я распахнула дверь и вышла из машины, ожидая, что меня снова сопроводит дождь. Однако, выглянуло несмелое солнце, и я зашагала от машины прочь, шлепая по лужам самым нелепым образом.

Некоторое время я обходила машины и один раз едва не упала в лужу. Постепенно моя локационная система пришла в норму, и я все-таки выбралась с парковки. Я решила пойти самой длинной дорогой, чтобы подольше не возвращаться домой. Я дошла до бульвара с влажными липами и мокрыми скамейками. Солнце становилось все игривее, все смелее. Я чувствовала, как испаряется с асфальта влага.

Я села на одну из мокрых от дождя скамеек, достала из сумочки сигареты и спешно закурила, словно бы куда-то опаздывала.

Влажная листва, с которой веселилось солнце, казалась такой яркой, что глаза мои невольно следили за ней. Я и не заметила, как кто-то подошел ко мне.

— Привет, сестричка.

Я обернулась на голос. Передо мной стояла молодая девушка, нарядная, как кукла.

Глава 12. Фетишизированное мышление и действительность

У нее были особенные глаза, словно стеклянные. Ресницы ее были похожи на паучьи лапки, такие тонкие, такие нежные и разрозненные. Казалось, что ее сделали, в ней было нечто рукотворное. На девушке было нарядное платье в атласным бантом посередине, слишком старомодное и яркое, чтобы его забыть. Оглушающе-розовое, пышное, нежное, оно говорило детскими представлениями о красоте, такими искренними и притягательными, что сложно было с ними не согласиться. На ее ногах были белые, непрозрачные чулки, делавшие ее ноги похожими на фарфоровые ноги куклы.

Она широко улыбнулась мне. У нее были большие, круглые глаза болотного цвета, распахнутые так широко, что, казалось, она удивлена. Аккуратные черты лица, чуть курносый носик и пухлые губы подчеркивали то игрушечное впечатление, которое она произвела на меня с самого начала. Настоящая куколка, если бы я была маленькой девочкой, мне бы непременно захотелось забрать ее домой.

Но мне было тридцать пять лет, а дома у меня жили бывшая Крыса и мой брат с гендерной дисфорией, вызванной психологической травмой.

— Здравствуйте, — сказала я вежливо. Девушка чуть склонила голову набок, как заводная игрушка, а потом села рядом со мной.

— Погода сегодня так себе, — сказала я. — Хотя, конечно, солнышко светит приятно. Но в целом все же не очень.

Что я вообще несла? Девушка смотрела на меня, потом вытянула ноги в белых чулках, и я увидела розовые бантики на ее коленях.

— Да, — сказала она. — В целом все же не очень. Слушай, сестричка, зачем бы незнакомке подходить к тебе на улице?

Я все мгновенно поняла и протянула ей пачку сигарет.

— Зажигалку дать? — спросила я. Девушка сморщила тонкий носик.

— Фу. Неправильный ответ.

— А какой правильный? — спросила я. Солнце придавало ее темным, завитым волосам красноватый отлив. Ее волосы выглядели такими мягкими, мне захотелось прикоснуться к ним, как к шелку. Она мотнула головой, встряхнув кудряшками и сказала:

— Хорошо, сестричка, слушай. Я хочу пригласить тебя в гости.

Я замолчала. Если игнорировать странных людей, они частенько сами уходят.

— Ты ведь уже слишком старая, чтобы не разговаривать с незнакомыми, правда?

— Что? Старая?

— Ну, ты же из тех инфантильных женщин, которые чувствуют себя двадцатилетними в тридцать пять, потому что никогда в жизни не брали на себя ответственность.

— Откуда ты знаешь, сколько мне лет?

— Еще я знаю, как тебя зовут, Эрика.

Она засмеялась. Отчего-то ни одно слово не выходило у нее обидным, она была потрясающе легкомысленна, и все, что она говорила, было словно облачко пудры — рассеивалось быстро и казалось смутно приятным.

— Кто ты? — спросила я. Она пожала плечами.

— На это можно по-всякому ответить.

— Как тебя зовут? Ты ведь понимаешь, что это не слишком вежливо — показывать, что ты знаешь о других что-то, чего они не знают о тебе.

— Если только моя цель не шантаж.

— А твоя цель не шантаж?

Она звонко засмеялась, отчего-то мне вспомнился Себби Зауэр, однако ее смех был очаровательным и много более нежным.

— Нет, — сказала она, наконец. — Я совсем не хочу тебе ничего плохого. Просто Отто ну никак не может с тобой связаться. А я могу. Если честно, я нашла тебя по запаху.

Она втянула носом воздух, и я узнала это движение. Я вспомнила Ханса, вспомнила Рейнхарда, вспомнила свой звериный страх перед ними. Девушка подалась ко мне и обняла меня, прижавшись щекой к моей щеке.

— Я правда не хочу казаться пугающей. Некоторые меня боятся, но во мне ничего страшного нет. Ты сейчас, наверное, думаешь, что я тебе угрожаю.

— Я вовсе так не думаю.

Конечно, я думала именно так. Но мне казалось предпочтительным по крайней мере казаться спокойной.

— Думаешь, я чувствую это.

Она закусила губу, лицо ее приняло нетерпеливое выражение, и я быстро сказала:

— Так ты от Отто?

— Да. Он просил меня найти тебя.

— И ты хочешь проводить меня к нему?

Она засмеялась.

— А ты что думала, мы пойдем и съедим мороженое? Слишком холодно для этого, да?

— И ты гарантируешь, что если я сейчас не закричу, а пойду с тобой к Отто, то я выберусь оттуда живой.

— Ну, этого никто не может гарантировать. Жизнь полна неожиданностей, и все в ней случайно.

Заметив, как я напряглась, девушка покачала головой.

— На самом деле я гарантирую, что мы не сделаем тебе ничего плохого. Отто хороший. А меня сделал Отто, и я тоже хорошая. Я — Лиза.

— Надо же, я только что о тебе говорила.

— Правда? Обо мне уже все говорят?

— Пока нет.

Лиза встала, покачалась на пятках, как маленькая девочка, и вдруг дернула меня за руку, так что я слетела со скамейки прямо в ее объятия. Она казалась совсем крохотной, даже чуть ниже меня, а уж я в линейках по росту всегда стояла последней. Сила, с которой она дернула меня и удержала, казалась мне абсурдной. От солдат гвардии этого ожидаешь — крупные мужчины, созданные для того, чтобы надзирать и наказывать, сила была их неотъемлемой частью.

И я подумала, а Лиза равна им по силе, или все же они превосходят ее, потому что изначальные их данные различались?

— Прости, — сказала она. — Так мы идем?

Я кивнула. Я не была напугана, нет. Я была в пугающей ситуации, но после Дома Жестокости, полного кровожадных, голодных тварей, одна единственная Лиза казалась мне

вполне переносимой.

Мы пошли по бульвару. Лиза наблюдала за своими туфельками, чьи носы блестели на солнце, она шла, заводя одну ногу за другую, смешным, нелепым и очаровательным образом.

— Как так ты нашла меня по запаху? — спросила я. — Что это значит?

— Это значит, что я тебя унюхала.

Она не была глупой, но ей нравилось говорить так, словно она дурочка. Это был вопрос стиля, вопрос ее образа.

— Ты знаешь, что я имею в виду.

Лиза сказала:

— Я запоминаю человеческие запахи. Отто, к примеру, я могу найти за тысячу километров.

— Думаю, ты преувеличила.

— Ну, немного преувеличила. Но я правда хорошо его нахожу. Он дал мне твою зажигалку. Я знаю запах твоих пальцев и сигарет.

— Так вот, кто ее утащил.

— Отто любит брать чужие вещи.

— Но тогда почему его не могут найти?

Лицо у Лизы стало самодовольное, и она простодушно сказала:

— Потому что он лучше других. Отто умеет прятаться.

— Ты имеешь в виду, что он хороший стратег и тактик?

Лиза засмеялась.

— Нет, он плохой стратег, а тактик из него еще хуже. Но он может скрывать не только свои мысли. Никто из них не вспомнит его запах, даже если они будут спать с его вещами. Вот они и бесятся. Они, значит, идеальные солдаты, которые должны справляться с любой задачей. А не могут! Хотя Отто плохой стратег, плохой тактик и способен дважды за день упасть, наступив на развязанные шнурки. Но они ничего не могут с ним сделать.

Она выглядела по-детски радостной, и я поняла, что мне вовсе не хочется ни бежать, ни звать на помощь. Лиза вызывала у меня приятные чувства. Она была странной, но в ней не было оглушительной неправильности. А может я просто слишком устала бояться чего бы то ни было.

— Как ты питаешься? — спросила я. — Ведь у тебя нет...

Живых людей, чтобы лакать их полную страха и боли кровь. Некоторое время мы шли молча. Небо совсем прояснилось, теперь по нему растекся глубокий, яркий синий цвет, такой сильный, что, казалось, дождь просто смыл с неба всю пыль, обнажив самую его суть.

Духота испаряющегося с земли дождя казалась пьянящей, пахло землей и зеленью. Бульвар был почти пуст, люди, в основном, спешили с работы домой, им было не до красот природы. Мы прогуливались по залитому солнцем асфальту между ровными рядами деревьев. Лиза расправила платье, потеревила многочисленные кружева и только потом сказала:

— Крыски, мышки, кролики. Но это маленькие существа. Их мало. Поэтому я всегда голодная.

Она помолчала, втянув мой страх, сказала:

— Это маленькие существа. Они умирают от этого.

Большие, подумала я, иногда тоже. Розовый язычок Лизы скользнул по губам. Во всех них было нечто животное. И если до этого момента мне казалось, что это привнесено извне,

какая-то странная, чужеродная часть, то теперь я понимала — она человечна. Все они человечны. У нас внутри, у каждого из нас, сидит голодный зверь, но в этом нет ничего иного, чем мы сами.

Таков человек, и нет смысла сравнивать его с хищниками, потому что человек — тоже хищен. Они не были сбалансированы, оттого их животная природа, всем нам присущая, казалась более явственной.

Но она не была иной, чем, скажем, моя собственная. Я не была кем-то другим, стремясь причинить кому-то боль или желая почувствовать внутри себя член Рейнхарда. Я была такой же жадной и чувствительной. Но я не умела этим пользоваться.

— Отто говорит, я не должна трогать людей.

— Наверное, Отто прав, — ответила я задумчиво. Я позволяла ей вести себя, следовала за шуршанием ее кружев и мягким голосом.

— Но это неважно, — сказала Лиза. — Все неважно, кроме того, куда мы с тобой сейчас поедем.

И я подумала: надо же, ей, наверное, никогда не бывает страшно. Она может ходить по ночам, не боится солдат, не боится преступников, не боится, что ее собьет машина. Мы вышли к остановке и стали ждать трамвая. Когда он зазвенел вдали, и я взглянула на рельсы, из которых словно рвалось в мир второе солнце, Лиза сказала:

— Только одиноко немножко.

Я вспомнила о связи, важной и неразрывной, которая была между Рейнхардом, Маркусом и Хансом. Фратрия.

— Отто сказал, у меня есть братишки.

— Трое.

— Да, трое. Рейнхард Герц, Маркус Ашенбах и Ханс Бергер. Они, наверное, меня ищут.

Я замолчала, надеясь, что трамвай подойдет, и мы сможем продолжить этот разговор позже. Но неожиданно, ровно перед тем, как двери трамвая распахнулись перед нами, я сказала:

— Рейнхард знает о тебе. А это значит, что знают и другие. По крайней мере, он говорил о том, что ты пропала.

— Я не пропала, — сказала Лиза. — Отто меня спас.

Она легко вскочила на подножку трамвая, театрально приподняла ногу, показав мне высокий каблук, а затем, засмеявшись, прошла в салон.

Я последовала за ней. Мы сели среди неприветливых, уставших людей, и Лиза принялась болтать ногами. Потом она наклонилась ко мне и сказала:

— От тебя им пахнет. Моим братом.

— На самом деле ты зря тоскуешь, они не самые приятные люди.

Лиза склонилась ко мне, прошептала мне на ухо:

— Потому что они жуткие?

В шепоте ее было нечто пугающее, похожее на змеиное шипение. Но когда она отклонилась чуть назад, я увидела, что Лиза улыбается.

— Нам недалеко ехать, — сказала она. Легкая и прекрасная, Лиза была похожа на фарфоровую фантазию маленькой девочки, или на сахарную фигурку, венчающую свадебный торт. Она не могла существовать, как и Рейнхард. Идеальная девочка из чьего-то странного сна.

— Я просто не понимаю, — прошептала я. — Чего от меня хочет Отто?

— Он хочет, чтобы у тебя не было проблем.

— В таком случае, он опоздал.

— Ну, да. Я так ему и сказала: ты опоздал, Отто, у всех опять из-за тебя проблемы глупыш. И разве тебе не страшно приглашать их к себе домой? Они же могут тебя предать!

Она прижала руки к сердцу, словно в нем достигла цели вероломная стрела. Лиза чуть откинула голову и высунула розовый язычок, потом воспрянула.

— Ты привлекаешь слишком много внимания.

— Забудь об этом. Никто ни на кого не обращает внимания. Все слишком заняты тем, чтобы его не привлечь.

— Если ты этим не занята, у тебя, наверное, освободилось много ресурса для того, чтобы заняться чем-то полезным.

— Ты только притворяешься злой, — сказала Лиза, надув губы. — На самом деле ты пугливая и жалостливая.

Но я не притворялась злой. Интересно, стоило счесть это комплиментом или оскорблением? Я выгляжу, как человек, который притворяется плохим, хотя не ставлю себе такой цели, но значит ли это, что я плохой человек?

Я смотрела в окно, размышляя над этим вопросом, а Лиза перебирала мои волосы, трогала их, заплетала и распускала.

— А ты кудрявая, когда они короткие?

— Я не помню.

За окном проплывали цветущие деревья и дома с аккуратным арками, потемневшие от времени — трамвай пересекал старые кварталы, аккуратные и нервные улочки, наполненные запахом цветочных лавочек и булочных. Невысокие постройки, растягивавшиеся иногда на половину улицы, балкончики с кованными решетками и замкнутыми, поросшими плющом уютными двориками, все это я любила.

Подлинный Нортланд с его бездушно серой и громоздкой архитектурой начинался чуть дальше, а здесь все было попыткой вернуться к жизни, какой она была до войны. Эрзац прошлого сам давно ставший прошлым.

Мы вышли на остановке, Лиза сказала:

— Знаешь, я всегда хотела сестричек вместо братиков.

— Да. Я тебя понимаю. Моя мечта в этом плане исполнилась.

Я засмеялась, и хотя эта шутка была понятна мне одной, она доставила мне истинное удовольствие.

— Брат и сестра. Эти слова соединяют, да? Или даже этот смысл вышел за пределы слов. Мне кажется, я кожей чувствую, что такое брат.

Лиза чуть передернула плечами, словно ей внезапно стало зябко, а потом метнулась в булочную. Здесь пахло теплом, хлебом и сахарной пудрой, так что я с удовольствием подождала, пока Лиза возьмет булочки с корицей. Она протянула одну мне, от другой откусила, а третью оставила в бумажном пакете. Наверное, для Отто.

— Спасибо, Лиза.

— Не за что, — сказала она. — Я даже не подумала, что нужно сказать мне "спасибо".

Мы прошли вдоль улицы до перекрестка, свернули, а Лиза все крутила головой по сторонам, словно была здесь впервые.

— Бесконечное число самых прекрасных форм, — сказала она.

Я некоторое время думала над тем, что она имела в виду, словно над самым серьезным

вопросом. Так бывает, когда перечитываешь написанную тобой фразу беспричинно и множество раз, пока не находишь там ошибку, которую мозг приметил раньше, чем осознал.

— Это из "Происхождения видов".

— Ага, — сказала Лиза. — Оттуда.

Все это было безумно, чрезвычайно важно. Происхождение видов, эволюция, бесконечное число самых прекрасных форм.

Бесконечное число форм. Но прежде, чем мысль эта оформилась в нечто последовательное, Лиза взяла меня за руку, втащила в один из дворов. Он был просторный и зеленее зеленого от прошедшего дождя.

Лиза взбежала по лестнице вверх, волоча меня за собой.

— Я сейчас упаду!

— Я тебя держу!

Она была такой быстрой, что в путешествии с ней смешались все цвета и контуры. Все стало акварельным, превратилось в набор мазков. От этой скорости я даже начала терять сознание, и к тому времени, как я очнулась, мы были уже высоко-высоко. То есть, высоко для двадцати секунд путешествия. Из окна я видела бульвар с высоты пятого этажа.

— Голова не кружится? — обеспокоенно спросила Лиза.

— Меня сейчас стошнит.

— Это со многими в первый раз. Отто тоже стошнило. И...

В этот момент я начала падать, но Лиза подхватила меня.

— А ты очень слабая.

Пахло прохладным камнем и пылью. На последнем этаже жилой была лишь одна квартира. Номера остальных давным-давно стерлись, а звонки покрылись старинной пылью. Пространство было темное, но, несмотря на всю свою заброшенность, неуловимо приятное.

Палец Лизы с длинным ноготком уперся в золотистую кнопку звонка, единственную, которая не скрылась под вуалью пыли. Нам открыл Отто, безо всякой осторожности, которая должна была быть свойственна государственному преступнику. На нем была мятая майка и парадные брюки со стрелками.

— О, — сказал он. — Привет, Эрика.

Отто выглядел так, словно меня не ждал. Он почесал затылок, потом по-щенячьи смущенно повел головой. Лиза кинулась к нему и одарила его звонким поцелуем.

— Проходи, Эрика. Я приготовлю тебе чай.

— Спасибо, — сказала я. — Но ради этого не стоило подсылать ко мне девушку-солдата.

Девушку-солдата? Я не знала, как ее называть. Они всегда были солдатами, гвардией. Я не видела других подобных существ, не входивших в эту систему. Так что у Лизы не было четкого определения.

Я прошла в квартиру вслед за Отто, ожидая увидеть пристанище вечного студента — заваленное книжками, далеко не идеально чистое и бестолковое пространство вечного вдохновения. Это было ожидаемо, но этого не произошло.

Коридор был уставлен стеллажами, на которых ряд за рядом, словно жутковатая армия, стояли фарфоровые куклы. Их лица были фотографически точны, фарфор, однако, превращал эти великолепные подобию человеческого в посмертные маски. Безупречные платья, атлас и кружева в самых невероятных сочетаниях и расцветках, казались произведениями искусства. Я словно попала в музей. И в то же время в этом сходстве кукол

с людьми было что-то чудовищно жуткое.

Мастерство, которое столь велико, что порождает красоту равную ужасу. Я восхитилась и почувствовала страх одновременно, выдохнула.

— О, — сказал Отто. — Это моя коллекция. Тебе нравится? Вот это ты.

Он указал куда-то направо, и я прошла чуть дальше, чтобы увидеть куклу удивительно похожую на меня. Он повторил мои черты в миниатюре, казалось, каждую веснушку воспроизвел, форма губ, цвет глаз — все было сделано так идеально, словно он только на меня и смотрел. Кукла даже в миниатюре воспроизводила мои пропорции — маленький рост, большая грудь, узкие бедра, так что я поняла, что Отто пялился не только на мое лицо. На мне было пастельно-голубое платье с обхватывающими горло кружевами воротника. Как и все другие, оно было чудовищно старомодным и отчасти напоминало то, что носила Лиза. Разве что в нем было еще больше вычурности и длины.

— А вот тут Лили, — сказал Отто. — И Ивонн.

Я посмотрела влево, куда он указал, и увидела своих миниатюрных, фарфоровых подружек. Даже родинка над губой Ивонн присутствовала там, где ей и полагалось. На кукле Лили было чудесное розовое атласное платье, блестящее серебристыми нитями, Ивонн была в рубиновом бархате.

Я увидела, что на туфельках кукол болтаются бирки с именами, на белой ткани золотистыми нитями прошиты вензеля.

— Здесь все женщины, которых я когда-либо знал.

Я отчего-то вспомнила, как Рейнхард упомянул о поджогах, которые Отто, возможно, устроил в Хемнице.

— Только, пожалуйста, не убивай меня, — сказала я. — Я никому не скажу, что ты серийный убийца.

— Конечно, не скажешь, — пожал плечами Отто. А потом, наверное, понял, как это звучит, и быстро добавил:

— Потому, что я не серийный убийца.

Мы все замолчали. Я многозначительно оглядела стеллажи. Они были в этой квартире словно бы вместо стен — тянулись в кухню, уходили в комнаты. Я бы не удивилась, если бы куклы обнаружались даже в ванной.

— Да, — сказал Отто. — Я понимаю, как это выглядит.

А я вдруг поразила масштаб. Каждая женщина, которую он когда-либо знал. Мама, родственницы, подружки во дворе, одноклассницы и девочки из параллельного класса, продавщицы в магазинах, библиотекарьши, медсестры.

Он запомнил их так хорошо и точно, сумел воспроизвести таким непостижимо прекрасным и пугающим образом. Отто Брандт был без сомнения самым талантливым человеком, которого я когда-либо знала. У него был великий дар, который не отличал гениальности от помешательства.

— Хорошо. Зачем ты, в таком случае, украл мою зажигалку? Ты ведь не думал, что с помощью нее твоя Лиза когда-нибудь будет меня искать.

— Не думал, — ответил Отто, пожав плечами. — Я вообще ни о чем таком не думал. Просто мне хотелось иметь что-нибудь твое.

Он засунул руку в карман и вынул оттуда тюбик губной помады.

— А это принадлежит Ивонн.

— Так, — сказала я. — И где сейчас Ивонн?

Отто замолчал. Лиза вдруг запрыгала вокруг меня.

— Можно я хоть капельку ее пораню! Только капля! Она так боится!

Отто посмотрел на меня долгим, темным взглядом, а потом сказал:

— Ивонн на кухне. И нет, Лиза, это же живой человек!

Вся эта волшебная, тягучая сила его взгляда мгновенно опала, оказалась безделушкой.

Отто почесал затылок и сказал:

— Извини, я задумался.

И я поняла, что это был старый, добрый Отто. Паренек, который никого и никогда не обидит, даже не знает, как это делается. Отто обезоруживающе улыбнулся, получилось у него это до того грустно и нелепо, что я вдруг обняла его.

— Я очень рада, что с тобой все в порядке.

— Не обнимай меня. Я серийный убийца.

— Ты врешь, просто у тебя гаптофобия.

— Ладно, хорошо, только перестань меня обнимать.

Я отстранилась, и Отто обратился к Лизе.

— Зачем ты ее вообще сюда привела?

— Потому что ты сказал, что хочешь увидеть ее.

— Я не так сказал. Я сказал, что хочу узнать, в порядке ли она. И если в порядке, то не надо было ее трогать.

— Она грустная сидела на скамейке.

Отто, словно забыв обо мне, прошел на кухню, и я последовала за ним. Куклы сопровождали меня на всем протяжении пути. Мне казалось, что стеклянные глаза следят за мной. Отто совершенно виртуозно воспроизводил оттенки радужек. Это не были коричневые, зеленые или синие цвета, как у обычных кукол.

Словно бы настоящие, человеческие глаза — с переливами, пятнышками, неравномерным, изменчивым оттенком. Будто в каждую из этих стекляшек была поймана живая, бьющаяся душа. Ткани, стекло, фарфор — все это стало в руках Отто существом почти живым, почти дышащим. Пойманные девочки, еще немного, и они станут настоящими, еще чуть-чуть, и их будет жалко.

Я смотрела в лица, различающиеся так же сильно, как и человеческие, и гадала, кто эти женщины, как их зовут, кем они работают, и что любят. Почему Отто выбрал для них именно такие наряды и крал ли он их вещи?

— Знаешь, — сказала я. — Ты все-таки очень странный.

Ответила мне Ивонн.

— Я сама ему всегда это говорю.

Кухня была маленькая, тесная, не то что бы убогая, бедная, но скромная на грани. Ивонн здесь явно не нравилось, а вот Лили пыталась изобразить благодарность. Перед ними были две кружки с горячим чаем и миска с лимонными печеньями. Мы широко друг другу улыбнулись.

— Как же я рада, что вы живы! Что вы здесь делаете?

— А не понятно было сразу? — спросила Ивонн. — Решили жить с Отто, он же такой видный мужчина.

— Прячемся, — сказала Лили мрачно. Палец ее коснулся покрывшейся трещинками ручки чашки, и Лили вздохнула с тоской, а затем попыталась улыбнуться еще шире, так что даже у меня скулы свело. — А как ты выбралась? С твоей подругой все в порядке?

— Да, — сказала я. — Сложная история. Мне помог Рейнхард.

Лили вдруг вскочила.

— Ты видела Маркуса? С ним все в порядке?

Я задумалась. Стоило ли считать, что с Маркусом все в порядке после того, что я видела и слышала о нем. Наверно, нет. Но у Лили стал такой сияющий, готовый к радости взгляд, что я сказала:

— Более чем.

Лиза протиснулась между Лили и Ивонн.

— Спасибо, сестрички. Так вы волнуетесь друг за друга? Продолжайте! Я не хочу мешать!

Лиза оперлась подбородком на ладони и выжидающе посмотрела на меня. Отто прошелся по кухне, потом в странный момент и самым нелепым образом отодвинул передо мной стул.

— Садись, я сделаю тебе чай. Кофе нет. Ничего нет.

Отто посмотрел куда-то вдаль, в серый квадратик маленького окна, словно вместе с кофе в мире не стало любви, прощения и спасения.

Ивонн взяла с подоконника свои тонкие сигареты и закурила. Обе они были в красивых платьях с кружевами, и я подумала, что Отто делает вещи и для живых женщин. Аккуратные платья, ничуть не хуже роскошной одежды фрау Бергер. Ивонн явно была собой довольна. На этой скромной и тесной кухне она смотрелась словно бы ожившая картинка из журнала, переворачивая страницы которого, обитателям этой квартиры полагается только завистливо вздыхать.

А потом я поняла — на Ивонн и Лили были те же платья, что и на куклах, которых показывал Отто. Он поймал мой взгляд, быстро сказал:

— Совершенно случайно у меня нашлись платья их размеров. Я хорошо шью.

— Совершенно случайно, — сказала Ивонн, и мне показалось, что она сейчас обольет Отто кипятком. У нее бывал совершенно зверский взгляд, и хотя Ивонн ничего страшного не делала, теперь я представляла, как легко она может отправить человека в нокаут.

— Но мы не об этом, — быстро сказала я, села и оказалась прямо напротив Лизы. Ее круглые, зеленые глаза с интересом меня изучали, а потом она послала мне воздушный поцелуй.

— Так как вы выбрались? — спросила я, не в силах отвести взгляд от Лизы.

— Она, — Ивонн кивнула на Лизу. — Нас и вытащила. То есть, некоторое время мы просто стояли, прижавшись к стене и не понимали, что нам делать.

— Знакомо, — сказала я. — У меня тоже что-то подобное было.

— Да, — сказала Лили. — Затем я предложила просто лечь и умереть.

— О! — сказала Лиза. — Вот здесь вступаю я! Отто сказал мне выручить вас, потому что знал, что вы в беде. Я думала и тебя спасти, но потом решила, что не пойду внутрь, где много моих братьев. В конце концов, думаю они могли бы почуять меня. Я ведь чувствую их.

— Словом, Лиза нам помогла. Она была такой...

— Быстрой? — спросила я. Лили кивнула и с благоговением посмотрела на Лизу, та вскинула голову.

Отто, который стоял у окна все это время, вдруг обернулся и принялся сцеплять и расцеплять пальцы.

— Я не хотел, чтобы все так получилось.

— Как ты узнал, что мы там? — спросила я. Отто пожал плечами. Потом со злостью отмахнулся от дыма сигареты Ивонн.

— Потому что я читал мысли Карла.

— Здорово, — сказала я. — То есть, ты можешь и то, и другое.

— И даже больше, — сказала Лили. — Он просто уникален.

Она обернулась к Отто, сказала:

— Это не значит, что я одобряю твои увлечения или считаю тебя приемлемым для общества.

— Резонно, — кивнул Отто.

Мы некоторое время помолчали, а потом Отто начал рассказывать таким тоном, словно бы мы втроем (вчетвером, если считать Лизу) собирались его избить. Отто говорил, глядя куда-то поверх нас, на одну из кукол. Я подумала, может быть это его рукотворная мама. Отто был, пожалуй, самым странным человеком, которого я когда-либо встречала. Но он волновался за меня, за Ивонн, за Лили, он поил нас чаем и пытался помочь. Я вдрут испытала давно забытое, может быть даже в детстве, чувство искренней теплоты к человеку, с которым не была близка, не дружила по-настоящему и, честно говоря, не так давно проклинала его.

Я ела лимонное печенье, пудрово-сладкое и нежное, слушала историю Отто, еще более странную, чем стоило бы предполагать. Отто даже назвал дату своего рождения, хотя это было совершенно необязательным условием. Биография его предстала передо мной, словно история болезни.

Отто говорил, что мама его утверждала, будто бы отец его был солдатом. Сам Отто однако не был в этом уверен, свою маму он охарактеризовал как "странную", и я поняла, что если уж этот эпитет пришел в голову Отто, то скорее всего она была сумасшедшей, каким-то чудом избежавшей Дома Милосердия. Отто не опускал унижительных подробностей бедного детства в и без того небогатом городе Хемнице, которое ему, к тому же, портили люди, выступающие против поджогов. Отто с детства любил смотреть на женщин не так, как это делают другие мальчики. Женщины казались ему прекрасными в совершенно мифологическом смысле.

Он любил создавать их, как другие создают стихи или картины. Словом, Отто не хватало только начать душить животных для того, чтобы считаться полноценным проектом серийного убийцы. Он с гордостью упомянул, что никогда никого не мучил. Потом, правда, задумался и сказал, что все же почти никогда.

Ивонн велела ему побыстрее переходить к делу, и Отто перескочил от раннего детства к юности, когда он обнаружил в себе умение читать чужие мысли и скрывать от других свои. Куратор в их школе так и не смог выяснить, кто поджигает мусорные корзины. Затем Отто понял, что может и контролировать мысли других людей. К примеру, он мог заставить их не думать о чем-то. Таким образом, его соседи так никогда и не сказали, что поджогами занимался именно он. Создавалось впечатление, что все эти великие открытия в жизни Отто происходили исключительно сообразуясь с его пироманией. Однако, Отто упомянул, что болезненную тягу к огню преодолел. Затем он задумался и снова добавил, что преодолел ее только почти.

Поймав взгляд Ивонн, Отто продолжил свой рассказ. Он, словом, сумел скрывать ото всех, что обладает парапсихологическими способностями, пока не случилась великая патриотическая акция. Он и сам не ожидал, что попадет в проект "Зигфрид", да еще и не с

той стороны, с какой рассчитывал. Так Отто понял, что умеет не просто многое, а еще больше.

Он создал одного солдата и сделал это неплохо, так что начальство подумывало перевести его в Хильдесхайм, как молодого и перспективного сотрудника (и перевело). Отто, однако, не имел никаких амбиций, ему просто хотелось делать кукол. Маяться с переездом он точно не желал. Так что Отто решил побыстрее присмотреть себе нового подопечного, чтобы остаться в Хемнице.

А дальше, он так и сказал, Отто случайно забрел в женское крыло Дома Милосердия. Там было много девушек, и ему хотелось посмотреть на них. Отто заставлял сотрудников не думать о нем и ходил, запоминая черты женщин, словно призрак. Пока не увидел Лизу.

На этом месте Лиза захлопала в ладоши.

— Это была любовь, — сказала Лиза. — Любовь, как духовно-жертвенная практика! Любовь, которая превзойдет рождение и смерть! Любовь, которая не обречена на исчезновение, как и все остальное!

— Ну, — ответил Отто. — Ты меня смущаешь.

Они быстро улыбнулись другу другу, и я подумала, что они самая милая пара на свете. Он создал ее, отчасти, из своего разума. В них было нечто общее. Но ведь и Рейнхард скопировал часть моего сознания. Так нас учили: часть от нас, а часть — то, что было присуще изначально, некая сумма характеристик, которые проявились бы в той или иной степени, если бы не болезнь.

В общем, Отто полюбил ее и захотел ей помочь. Но ему, во-первых, нельзя было выбрать Лизу, а во-вторых Отто совершенно не устраивала перспектива превратить ее в существо, подобное другим солдатам. Он хотел вылечить ее.

Я посмотрела на Лизу. У Отто не вполне получилось, и все же Лиза казалась мне более цельной, чем, к примеру, Рейнхард. Она не была разорвана, хотя и была разъединена. Мне было сложно представить себе, что именно с ней не так (или наоборот — как надо), однако это чувствовалось. Я не в полной мере могла осмыслить свои впечатления, они крылись где-то в глубине меня, там, где, наверное, прятался мой дар, сотворивший Рейнхарда.

Отто же продолжал рассказывать. Теперь-то ему была совершенно необходима поездка в Хильдесхайм. Он украл Лизу и отправился покорять столицу с рекомендательным письмом и девушкой с органическим поражением мозга. Он поселил Лизу в квартире, доставшейся ему от тетки пару лет назад и игнорируемой до того момента. Сам Отто всеми силами искал решения. А когда нашел — тут же претворил его в жизнь.

— Вот как получилось, — сказала Лиза. — Я лучше, чем мои братья.

— Ну, спасибо, — сказала Ивонн. — Ханс, по крайней мере, наверняка никого не перебивает.

Этого не отнять, подумала я.

— В общем, — сказал Отто. — Вот так. А теперь я прячусь.

Ивонн засмеялась:

— Напомни мне, это потому, что ты хочешь использовать свою силу для улучшения проклятого Нортланда?

Лили ткнула Ивонн локтем в бок.

— Вообще-то он нас спас. Имей хоть каплю благодарности.

— Я тоже тебя спасла. И где твоя благодарность?

Я почувствовала легкую обиду. Ивонн и Лили так сблизилась за эти сутки, словно бы

мы расстались на год.

— Я хочу, чтобы мы с Лизой могли спокойно жить, — сказал Отто. Он вдруг неожиданно нервным движением отодвинул стул, сел за него и взял миску с печеньями, приподнял ее, словно хотел закинуть в рот все разом, а затем поставил на место и нерешительно взял одно единственное печенье.

— Я его понимаю.

— Не сомневаюсь, Эрика.

Отто Брандт был, пожалуй, самым примечательным человеком эпохи. Он обладал способностями, которые могли перевернуть Нортланд с ног на голову. Но его одного было мало, а кроме того, для Отто все это значило отказ от собственной жизни. Я понимала его, понимала, потому что и сама хотела бы спрятаться. Так что я тайно порадовалась, что в крошке Эрике Байер не было вовсе ничего необычайного.

Это ведь очень много — вся жизнь. Вместо того, чтобы делать то, чего Отто по-настоящему хочет, ему пришлось бы заниматься тем, чего хотят все остальные.

— И что? — спросила Ивонн. — Мы будем жить в групповом браке до конца наших дней?

— Ты вправду этого хочешь? — спросил Отто. Лиза закатила глаза.

— Она шутит, мой милый. Вернее, она очень злится, и поэтому пытается пошутить, чтобы тебе не вмазать.

— Да, я читаю ее мысли.

— Как же вы очаровательны, — сказала вдруг я. Все разом замолчали и посмотрели на меня.

— Прошу прощения. Хотите послушать, где я была?

Никто не выказал особенного интереса, кроме Лизы. Но я, неожиданно для себя самой, глядя в ее зеленые, темные, внимательные глаза рассказала все. Словно бы я вскрыла загноившуюся рану и постепенно освобождалась от ужаса и грязи внутри меня.

Я рассказала о Доме Жестокости, о солдатах, о том, что я видела и чего совершенно не хотела видеть, о том, что мне рассказал Рейнхард, о сильнейшей связи между ним и его фратрией, и о том, что Рейнхард и остальные ищут Отто.

Я испытывала к этим людям теплое, нежное желание защитить их. Оно было вдвойне ценным потому, что мы не были близки. Значит, Нортланд не все во мне уничтожил, я еще способна быть человеческой.

Это были хорошие люди (и не совсем люди, если говорить о Лизе), и я не хотела подвергать их опасности.

— Да, — сказал Отто. — Про солдат я много знаю. То есть, про Лизу. Но она не должна отличаться от них способностями. Обостренное чутье, сила, скорость, способность к регенерации.

Я вспомнила, как затянулась ранка Рейнхарда, которую я оставила ему.

— Про способность к регенерации Карл ничего не говорил, — сказала Лили. Когда она произнесла это имя, губы ее скривились, словно бы она выплюнула ругательство.

— Да, еще он не говорил про то, что они могут провести почти час под водой и замедлить свое сердцебиение практически до одного удара в минуту.

— Даже не хочу знать, как вы это выяснили, — сказала Лили. Я тоже не испытала жгучего желания выяснить обстоятельства, при которых Отто и Лиза получили это знание.

— В общем, мы настоящие машины для убийства, — сказала Лиза со звенящим

восторгом. — Но если мы не питаемся, то хуже себя контролируем. Тут я впереди них. Они вряд ли смогут себя сдерживать, когда станут голодными. А я могу. Я же всегда голодная.

Мы болтали еще довольно долго, и я впервые за много-много лет чувствовала уют, в этой кухоньке, где то и дело свистел чайник, гарантирующий горячий чай, и где мы с трудом умещались впятером, и где не было ничего, кроме лимонных печений.

Когда на улице совершенно стемнело, я сказала:

— Думаю, мне пора. У меня дома подруга, я не хотела бы оставлять ее одну. Тем более с моим братом.

— Да, ты рассказывала, — ответила Ивонн. — Тебе-то есть куда идти. Надо было отсосать Хансу, пока он был слабоумным. Тоже мог бы меня запомнить.

Я скривилась, вызвала мысленный образ Ивонн, спасавшей меня из Дома Милосердия, и не без труда успокоилась.

— Вам нужны деньги? — спросила я.

— Да, — сказал Отто. — А то мы теперь все пропавшие без вести.

Я достала из кошелька несколько крупных купюр, щедрость показалась мне освобождающей, приятной до сентиментальных слез. Дешевая благотворительность, даже хорошее в тебе, крошка Эрика Байер, имеет природу избегания. Только положив деньги на стол, я поняла, в чем настоящая проблема.

— Но если меня вызовут к Карлу? — спросила я. — Или еще к кому-то из кураторов?

— Точно! — сказал Отто. — Совсем забыл.

Он встал и подошел ко мне. Взгляд его темных глаз снова показался мне пугающим, и в голову мою, в растревоженный этим взглядом разум, пришла абсурдная мысль, что Отто все-таки серийный убийца. Он наклонился ко мне.

— Только расслабься. Чем дальше ты меня вступишь, тем лучше я все сделаю.

— Говоришь, как стоматолог, который домогается пациенток, — сказала я как можно быстрее, чтобы скрыть нервозность. Шутка вышла дурацкая, как и все те, которые сказаны не вовремя, просто для того, чтобы не молчать.

Я не отвела взгляд и попыталась расслабиться. Глаза у Отто были того орехового, теплого оттенка, который должен был внушать доверие. Однако нечто, скрывавшееся, казалось, в пульсации его зрачков пугало меня. Он слишком легко мог установить связь с моим разумом. Наверное, обычные люди, не принадлежащие к органической интеллигенции, ничего бы не почувствовали, кроме смутного беспокойства.

Я ощущала, как Отто проходит сквозь барьеры, отделяющие меня от него, как он роется внутри моих мыслей, одну за другой цепляет их, словно вещи. Он был аккуратен, он не говорил в моей голове, как Карл, и максимально нежно обращался с содержимым моего разума.

Но все же он присутствовал в самой личной части меня. Это было нечто вроде полостной операции или проникающего ранения. Я толком не поняла, что он делает, смятение и ощущение проникновения за мои внутренние границы были похоже на визг сигнализации, за которым все остальное становилось совершенно неразличимым.

Все закончилось так же неожиданно и необычно, как и началось. Отто сказал:

— Закрой глаза.

И я закрыла. Под веками кружево сосудов было, словно вуаль, такое непривычно яркое.

— Теперь никто не прочитает тебя. Этого хватит дней на пять. Потом придешь сюда, хорошо, Эрика?

Я кивнула. Вот что было странно: я не смогла отследить, просьба это или настоящий приказ.

Глава 13. Встречные тенденции

Мы втроем лежали на кровати и смотрели в черный, безрадостный экран телевизора.

— Может, кто-нибудь возьмет пульт? — спросила я. — В конце концов, мой дом, мои правила.

— Нет, — ответила Роми. — Я объелась.

Вальтер потянулся.

— Прости, милая, я не чувствую себя в силах.

— Какая тоска, — сказала я. — Не стоило вас пускать.

— Дай еще орешков.

— Ты же сказала, что объелась.

— Я объелась до того, чтобы идти за пультом, а не для того, чтобы дальше не есть.

— Вальтер, передай ей орешки.

— Да, сестрица.

Мы решили устроить себе спокойный вечер с фильмами и закусками, но до фильмов дело так и не дошло — слишком уж капитально нас увлек первый пункт плана. Чипсы, орехи, сладости, крохотные замороженные бутербродики, которые надо разогревать в микроволновке, чудесные пирожные, покрытые липкой помадкой и аккуратные сырны шарики — я никогда не обращала внимания на весь этот мусор, слишком яркий, чтобы обладать еще какими-то достоинствами. Роми, однако, требовала от нас приобщиться к самой дешевой, привлекательной и вредной еде на свете.

— Ты сидишь на инсулиновой игле, — сказала я.

— Ну, это все равно лучше, чем другие иглы, на которых я сидела.

Мы с Роми пошли в супермаркет, и пока я набирала в корзину еду для подростков, Роми бродила вдоль полок, рассматривая товар за товаром с самым придирчивым видом. Когда мы вышли, Роми вытрясла из длинных рукавов своего свитера, который она носила даже в жаркую погоду (и я впервые поняла, почему), пачку бекона, упаковку покрытых глазурью орешков и коробочку мармеладных мишек. Казалось, рукава ее свитера не подчинялись законам физики, пространство в них преломлялось так, как ей хотелось.

Вальтер все это время пытался убрать квартиру, однако, когда мы пришли, он стоял у окна и повторял:

— Что-то случилось. Все кончено?

Снова и снова, пока мы не отвели его в ванную и хорошенько не умыли. Я никогда бы не справилась с ним без Роми. Она всегда была сильнее меня. У жизни с Роми и Вальтером были свои преимущества, как и свои недостатки. Меня раздражало отсутствие личного пространства. И хотя впечатления привнесли в мой политический роман несколько обширных новых глав, писать приходилось в ванной. С другой стороны, с ними я не была одна. В мире были люди, с которыми я могла шутить, смеяться. Люди, которые загрузят, если я умру от аневризмы, или во сне мое дыхание остановится. Люди, которые помоют посуду. Люди, о которых можно заботиться. Люди, которые могут заботиться обо мне.

Это было здорово, пока я не вспоминала, что мы заперты втроем в этой квартире, и мы понятия не имеем, каким образом сложится наша дальнейшая жизнь. Все было смутным — история с Рейнхардом, будущее Роми, вышедшей из крысиного сообщества, но не вошедшей

в добропорядочный Нортланд, жизнь Вальтера, бросившего свою работу.

Безопасность временного убежища в моей квартире давала нам всем надежду. Мы жили в этом хрупком мире, который ценили больше всего на свете.

А где-то далеко точно так же ждали своей участи Отто и Лиза, Лили, Ивонн. Их безопасная зона была еще меньше, регулировалась еще более странным образом, а судьба их, в случае обнаружения, еще мрачнее. Я волновалась за них, но не знала, как могу им помочь. Меньше всего проблем, в любом случае, было у меня самой. Но я винула себя, потому что мне все равно хотелось покоя. Я чувствовала себя так, словно никто в целом свете не находился в ситуации более нервной и шаткой, чем крошка Эрика. Хотя на поверку я оказывалась окружена людьми, жизнь которых повернулась еще более опасным образом.

Мой бесконечный эгоцентризм раздражал меня до предела, даже сильнее, чем манера Вальтера брать мою косметику, чем привычка Роми не выключать свет в ванной, чем воспоминания о том, как Отто залез внутрь моего разума.

Воспоминания, которые никому не были доступны. Прошло три дня с того момента, как я уехала от Отто с ощущением легкого головокружения, и я все еще чувствовала себя запертой шкапулкой.

Это было чувство предельной безопасности, посреди водоворота, в котором я вращалась, оказалась одна единственная константа — они не узнают. Никто не узнает об Отто. Я не думала, что Рейнхард на самом деле ждет от меня помощи в поисках Отто. Скорее он просто пытался убедить кенига в том, что я могу быть полезна.

И теперь, когда я была полезна как никогда, у него не было способов добраться до драгоценных мыслей, которые хранились во мне. Иллюзия контроля, почти власть.

— Ты что засыпаешь? — Роми толкнула меня в бок.

— А что еще делать? — спросила я. В этот момент ответ на мой вопрос спустился, видимо, из сердца Вселенной, потому что зазвонил телефон. Вальтер молча снял трубку и передал ее Роми, а Роми вручила телефон мне, так что провод проходил через нас троих, и Роми то и дело теребила его, как струну.

— Да?

— Собирайся, Эрика. Внизу тебя ждет машина.

Голос Рейнхарда отозвался внутри приятным томлением, словно все мое тело желало услышать его, словно каждый нерв откликнулся на его опосредованное присутствие. Язык во рту, сердце в груди — все охватила секундная дрожь. Три дня его не было в моей жизни, но ни одна частица моего тела его не забыла. Мне стало неприятно. Примерно так, хотя в терминах много более красноречивых, Роми описывала опыт своей зависимости от наркотиков.

Когда ты знаешь, что это разрушает тебя, говорила она, но в тебе нет вовсе ничего, что стало бы этому противостоять.

— Давай начнем с того, что ты поздороваешься и объяснишься, — сказала я.

— Здравствуй, Эрика. Я хочу увидеть тебя, поэтому садись в машину, и она привезет тебя ко мне.

Я чувствовала, что он улыбается. Всей кожей чувствовала, как иногда люди ощущают взгляд, обращенный на них.

— И ты считаешь, что я приеду?

— Ввиду устройства мира, с которым я ознакомился в течении последних трех недель, однозначное предсказание будущего становится невозможным из-за множества факторов,

находящихся в сложной системе взаимозависимости.

— Я хочу тебя поцеловать.

— Потому, что я релятивист?

Я бросила трубку вовсе не потому, что мне захотелось быть роковой, манящей и взбалмошной. Мне стало стыдно. Роми и Вальтер услышали эту дурацкую фразу, выцарапанную из любовных романов. Я обернулась к ним, но они словно были заняты выискиванием орешков с дополнительной каплей шоколада или глазури.

— Я уезжаю, — сказала я.

— Да, милая, я так и поняла, — сказал Вальтер. — Не переживай, в твоё отсутствие мы будем вести себя хорошо.

— Если сможем, — сказала Роми. — Кстати, передай пульт, раз уж встала.

Я подавила в себе желание швырнуть в Роми пульт и аккуратно положила его на тумбочку. Так, чтобы Роми пришлось ещё потянуться, чтобы достать его.

— Я не хочу, чтобы тебя настигли последствия гиподинамии, — сказала я. Вслед мне отправился залп из орешков.

— И убери это!

Я закрыла дверь, чтобы избежать повторной атаки.

Мне снова захотелось быть красивой для Рейнхарда. Я надела нежно-зеленое, с орнаментом из экзотических цветов платье, затянула лаковый пояс и посмотрела на себя в зеркало. Юбка, чуть открывающая колени, заставляла меня чувствовать себя смелой и развратной.

— О, — сказала я. — Крошка Эрика Байер, вот оно твоё сексуальное освобождение! Наконец-то твоё мама может тобой гордиться.

Мне хотелось над собой посмеяться, но я слишком старательно прихорашивалась для этого. Я вдруг ощутила себя зрительницей собственной жизни. Словно бы я орудовала пуховкой, нанося пудру, но я и сидела на диване, рассматривая себя, свои нелепые попытки быть не той, кем я являюсь.

Когда я вышла из квартиры, мне захотелось, вопреки обыкновению, спуститься на лифте, чтобы меня никто не увидел.

Была летняя, сочная ночь, приносящая прохладу и спокойствие в этот изменчивый мир. Водитель ждал меня у черной машины с тонированными стеклами. Я вежливо поздоровалась и села, а потом подумала: что если это не та зловещая машина, что мне нужна?

А если она увезет меня в какое-то жуткое место, очередной гнойник Нортланда, полный его личинок? Впрочем, подумала я, какая разница, ведь в Нортланде, если подумать, пока нет других мест.

Но они будут. Несмотря на то, что Отто не хотел заниматься переустройством мира — сам шанс обыграть Нортланд давал мне надежду. Я с удовольствием думала об Отто, зная, что эти мысли останутся только моими.

Окна были затемнены, так что я ехала, как и в прошлый раз, перед тем, как попала в Дом Милосердия, в сплошной черноте. Так что, когда водитель открыл передо мной дверь, количество огней поразило меня так, что глаза заслезались. Я прошла вслед за водителем, и управляющий в красной ливрее дал мне ключ, даже не спрашивая, кто я. Либо это был очень плохой работник, либо Рейнхард слишком подробно описал меня ему.

Только оказавшись в мраморно-хрустальном нутре гостиницы, я поняла, что даже не увидела её названия. Это было симптоматично для моей нынешней жизни. Крошка Эрика

Байер не знает, где она, и не понимает, по какой причине здесь находится. Я прошла к лифту мимо зала, где длинный фуршетный стол надвое разделял просторное помещение, полное красивых, блестящих от украшений и самодовольства людей. Многие были солдатами, больше половины. Я подумала, что лет через пять настоящих мужчин здесь не будет.

С ними были женщины в длинных, кружевных платьях, отчаянные кокетки в бриллиантах, красавицы, знающие толк в политике, дочери богатейших людей своей эпохи. Я должна была почувствовать себя лишней в своем милом платьице для прогулки в летнем парке.

Но я не почувствовала. Эти женщины, во всей их блистательности и благополучии, всего лишь обратная сторона женщин в Доме Жестокости. И я, замершая на середине шкалы, была среди них.

Между нами не было на самом деле никакой разницы, все мы были предметами потребления, объектами рынка. У нас была разная стоимость. Одни из нас были институционально приговорены к боли, для других это был вопрос индивидуальный, частный вопрос о причинении страданий.

Словом, несмотря на то, что казалось, будто оснащенные бриллиантами и деньгами женщины защищены, я была далека от мысли, что это на самом деле так. Рейнхард сказал, что в Доме Жестокости может оказаться любая. Можно увеличить свои шансы, будучи крысой, а можно попасться, выйдя на вечернюю прогулку по бульвару в компании степенного семейства и маленькой собачки.

Благообразные кружева, крупные купюры и чистые, как слезы, бриллианты никого не спасут.

Я вошла в лифт, обтянутый красной тканью, и с содроганием вспомнила о Доме Жестокости. Посмотрев на бирку ключа, покоившуюся в моей ладони, я нажала кнопку, обещавшую мне путешествие на пятый этаж. Коридор, в котором я оказалась, был пустым, освещенным мягким золотом нескольких люстр, и каким-то тревожно депрессивным. Я подумала, что в таких местах должны частенько совершаться убийства. Алая кровь на белых простынях, смерть в бесконечно чужой комнате и шум далекой вечеринки, сопровождающий шаги убийцы. Детективные штампы меня несколько испугали, так что я постучала в дверь с опаской. Когда Рейнхард открыл мне, я поняла, что вовсе не знаю, что сказать. Он чуть посторонился, чтобы я вошла, но мне никак не приходило в голову сделать шаг. Я смотрела на просторную комнату, словно из фильмов. О, эта роскошная пошлость двухэтажных номеров, о эти кровати с балдахинами и тяжелые шторы для тех, кто кутит до самого утра. В ванной, наверняка, было и джакузи. И всюду зеркала в позолоченных, а может и золотых рамках. Все здесь было излишним — лампы над кроватью в абажурах с тончайшим узором, резные ручки тумбочек в форме роз, орлы, сжимающие в клювах дагаз, по обе стороны карниза.

— Безвкусица, — сказала я. — Роскошь становится китчем, если в ней нет умеренности.

Рейнхард втащил меня в комнату, чуть приподняв, и я уцепилась за него. Несколько секунд мы смотрели друг на друга, и я поняла, что образ его помню до мельчайших деталей, в болезненной этой точности было что-то злое, словно бы я пленила его, удержала в подвалах своего разума против воли. Я не знала, что полагается делать в такие моменты. Я не знала, правильно ли я смотрю на него, и есть ли вообще способ смотреть на него правильно.

Взгляд его был нечитаем, наверное, потому, что чувства его не были самым прямым

образом связаны с разумом. Глаза не только зеркало души, куда больше они отражают ум. При всей прозрачности его слов, при всей связи, которая была у нас, разум его оставался для меня закрыт. Тайный сад, где за высоким забором я видела только кромку прекрасного.

Я хотела бы проникнуть в его разум, как тогда, в моей фантазии с пилой для трепанации и старым, добрым Рейнхардом.

Вдруг я опустила перед ним на колени, прижалась щекой к жесткой ткани его брюк. Я не понимала, что именно заставило меня вести себя подобным образом. Это было влечение вовсе не поддающееся словам, не плавящееся под напором все упорядочивающего языка. Я поцеловала его колено, спустилась ниже. Сапоги его блестели, начищенные, словно бы новые. Я поцеловала отблеск света на черной коже, маленькое солнце посреди наступившей тьмы.

Я не знала, зачем он позвал меня. Почему Рейнхард не мог танцевать сейчас с любой женщиной в том красивом зале, а потом уйти с ней сюда? Он, в конце концов, любил разнообразие. Девушки в шелковых туфлях, усыпанных бриллиантами, должны были привлекать его, он ведь так любит драгоценности. Да, конечно, я не знала, зачем он позвал меня. Но я знала, зачем я приехала сюда.

Я провела языком по подошве его ботинка, когда он чуть приподнял ступню. Взглянув на него снизу вверх, я увидела, что Рейнхард прикрыл глаза от удовольствия, словно я ласкала его.

Власть — это проекция сексуальной иерархии на социальные отношения. Ах, крошка Эрика Байер, ты ведь больше не девственница, прекрати искать всюду сексуальный подтекст.

Я крепко схватила его за щиколотку двумя руками, снова прижалась губами к холодной коже его сапога, а потом он вдруг сказал.

— Я знаю, что ты встречалась с Отто Брандтом.

Я остановилась, снова посмотрела на него.

— Что?

Я села на полу самым нелепым образом, оставив даже жалкие попытки были сексуальной и порочной.

— Ты вправду думаешь, что я не следил за твоими передвижениями? Мы были в курсе каждого твоего шага.

Снова это страшное "мы", уродливое слияние разумов, копошащиеся в ране насекомые.

— Конечно, в какой-то момент нужно было отпустить тебя, чтобы Отто Брандт вышел с тобой на связь.

Мне стало вдруг очень обидно, но еще больше страшно.

— Что с Отто?

— Он жив и здоров, а кроме того находится там же, где ты его и оставила.

И я поняла — никто не читал моих мыслей. Они не знают про Лили и Ивонн. Рейнхард Маркус и Ханс видели Лизу Зонтаг, и они поняли, к кому Лиза ведет меня. Но почему они не забрали Отто сразу? Почему не забрали его даже спустя три дня?

— Более того, я постараюсь, чтобы так все оставалось и дальше.

— Ты меня заинтриговал.

Голос у меня был грустный, попытка казаться спокойной и циничной провалилась. И тогда я спросила напрямик:

— Чего ты хочешь?

Он резко поднял меня с пола, сделал вид, что задумался.

— Трахать тебя, пока мы не уснем.

— Прекрати ломать комедию. Ты должен сказать мне, какого черта ты не арестовал проклятого Отто Брандта!

— А ты хочешь, чтобы я это сделал?

— Я хочу понять, что происходит! Я хочу снова жить в мире, где все ясно! Я хочу, чтобы с теми, кто мне нравится, все было в порядке! Я хочу...

И я поняла, что собираюсь произнести "тебя", но прежде, чем я успела это сделать, Рейнхард поцеловал меня. Губы его были теплыми, но нежность быстро сменилась болезненной страстью. Я и сама вцепилась в него. Это был короткий и болезненный поцелуй. Я оттолкнула его.

— По-твоему я собираюсь заниматься с тобой...

— Чем?

— Чем-либо, пока не я понимаю, что происходит с моей чертовой жизнью?

— А разве кто-то понимает, что со всеми нами происходит в этом путешествии под названием "существование". Или я неправильно оценил ситуацию?

Он взял меня на руки, легко, как игрушку, и на этот раз я сама поцеловала его, уткнулась носом в висок с нежностью, которой было совершенно не место ни в этом разговоре, ни в этих отношениях.

— Скажи мне, что происходит, Рейнхард!

— Заметь, я тебе в этом не отказывал. Я просто не хочу делать этого сейчас.

— Значит, ты хочешь расслабиться и отдохнуть, а я все это время должна думать о том, что...

Он опустил меня на кровать, а потом рука его скользнула к тумбочке. Он взял плеть. Я живо, так что и сама не заметила, как, переместилась на другой конец кровати. Я тут же замолчала, чувствуя только животный страх, желание забиться под одеяло или закрыться в ванной. Я прошептала:

— Рейнхард, ты ведь понимаешь, что я никак не могу навредить твоим планам. Или Нортланду.

Он облизнул губы. Ах, крошка Эрика Байер, до чего легко испугать тебя, лишит тебя голоса.

А потом он кинул плеть мне и, благодаря адреналину, сделавшему мою реакцию тоньше и быстрее, я поймала ее.

— Будь моей гостьей, — сказал Рейнхард.

Я взялась за рукоять плети, тяжелую каким-то по-особенному приятным образом, другой рукой огладила семь тонких кожаных ремешков, расхлывшихся от нее. Казалось невозможным, что они могут причинить боль. А потом я заметила крошечные, острые шипы, рассеянные по ремешкам. Я тронула один из них подушечкой пальца, затем надавила сильнее. Ничего особенного, но удар заставит их оставлять ранки.

— Я не понимаю, — сказала я, продолжая оглаживать плеть. На самом-то деле я, конечно, все понимала. Я медленно встала с кровати, сбросила туфли и босая прошла по комнате. Паркет был такой гладкий, словно времени для него не существовало. Он выглядел импозантно, и этому способствовала некоторая старомодность. Однако ни единой занозы, ни темного пятнышка на нем, никаких несовершенств, которые красят все сущее рано или поздно. Вечное, первозданное совершенство, блестящее, покрытое лаком. Я смотрела себе

под ноги, предпочитая думать о паркете.

— Нет, — сказал Рейнхард. — На самом деле ты прекрасно понимаешь. И ты хочешь этого.

Я ничего не сказала, но он задал вопрос, который мне никогда не хотелось произносить вслух.

— Почему тебе этого хочется? Потому что то, что принято называть "человечностью" не вполне сообразно, собственно, человеческой природе.

А потом он встал на колени. Он, в своей прекрасной черно-серебряной форме, встал на колени, но даже так был лишь на голову ниже меня. Я вертела плеть в руках, не решаясь делать с ней что либо, но и не решаясь бросить ее на пол. Я смотрела на Рейнхарда, он был красив, он был богат, он владел миром.

Он, в конце-то концов, не чувствовал боли. Но Рейнхард позволял мне унижить его, по крайней мере символически. Я обернулась. За спиной у меня в золотой рамке был портрет Себастьяна Зауэра, имплицитно подразумевающий кенига. Развевавшееся на портрете знамя лишало его чего бы то ни было личного. Это было изображение государства, а не человека. И если бы я отошла чуть в сторону, все стало бы правильным.

Солдат на коленях перед государством, превратившим его в машину для убийства. Но между Рейнхардом и Нортландом была я, босая, в летнем платье и с плетью, зажатой в ладони.

Я размахнулась и ударила его, но рука моя быстро ослабла, и плеть лишь едва хлестнула его по щеке.

— Продолжай, — сказал он. — Но это интересный выбор.

Я криво улыбнулась ему, взвесила плеть в руке. Ему не будет больно, подумала я, он просто издевается надо мной, хочет посмеяться на тем, как я пытаюсь сохранить чувство собственного достоинства. Я дразнила себя, словно собаку. Возьми-ка эту палку, крошка Эрика Байер, и пройдишь вдоль забора, собранного из твоих страхов, предубеждений и комплексов. Выдержит ли цепь тогда?

Ему не будет больно.

Он пугает меня, ему нравится проверять меня на прочность. Ему весело, потому что он может сделать со мной все, что угодно, и это бурное море вероятностей заставляет меня дрожать от ужаса перед ним.

Однажды я так сильно любила его. До того, как он стал кем-то, кто питается страхом. Рейнхард был чем-то иным, бесконечно внешним по отношению ко всему, что я знала.

Он был кем-то, кто наблюдал за нами, и я вдруг поняла, что окончательно лишилась его, уступив этому существу, холодному, крайне изощренному, завораживающему и ужасающему. Странному.

В отличии от Рейнхарда, он умел говорить, однако целью его не был коммуникативный акт в привычном для меня смысле. Он имел с людьми намного меньше общего, чем казалось. И если он и обладал чем-то человеческим, это были слабости. Трогательные слабости богача.

Но в нем не было способности к милосердию, не было умения чувствовать вместе с другими. Он был насмешкой над тем человеческим существом, о котором я заботилась. Рейнхард прежде, не обладая моим языком, как и все люди, искал одобрения и любви, он хотел тепла, потому что замерзал в своем неврологическом одиночестве.

Рейнхард сейчас был расщепленным надвое, разрезанным напополам, искаженным

человеческим образом. И если ему будет нужно, он не задумываясь уничтожит моих друзей. Все, что у нас есть — его хрупкая благодарность ко мне. Тонкая мембрана между его абсолютной властью и моей беспомощностью.

Так кто такой на самом деле Рейнхард Герц? Ужас в его первозданном виде, отчужденная от нас, людей, чудовищность, потому что других монстров в нашем мире нет. Он кажется всем нам чуждым, потому как мы не хотим такими быть.

Человеческая тьма, втиснутая в униформу и институционализируемая во власть.

Никакого смысла в рамках традиционного рассудка в Рейнхарде не было. Потому что в той темноте, откуда все мы пытаемся вырваться, никакого рассудка нет.

И все его слова ложь хотя бы потому, что единственный их смысл, предназначение — скрыть на время ужас, который проник в него. И этот ужас — часть Нортланда, политическая система, экономика, искусство — все пропитано им.

Тогда я ударила Рейнхарда со всей силы. Он коснулся пальцами щеки на щеке. Она медленно бледнела. И я ударила снова, я била его опять и опять, чтобы понять, что он такое, чтобы самой погрузиться в то, что породило его.

Он смеялся. Я хлестала его по щекам, и с неизбежностью появилась кровь. Видимо, я рассекла его десну, потому что зубы его показались мне розоватыми. Раны затягивались быстро, но кровь оставалась. Ее становилось все больше и больше, и это казалось совершенно сюрреалистическим в отсутствии каких-либо видимых повреждений.

Скрытое отвращение.

Тоска и тошнотворное ожидание боли.

Я била его снова и снова, и он наслаждался тем, что я вела себя, как он. Я била его с ожесточением, надеясь подчинить, и в то же время зная, что это невозможно. Когда ему наскучило это, он вдруг перехватил меня за запястье, так быстро, что я едва заметила движение. Он подтянул к себе мою руку, сцеловал гранатово-красные капли с моих пальцев, а потом так сжал мое запястье, что я выпустила плеть.

Он медленно встал, прошел к столу и взял бутылку шампанского. Неторопливо откупорил ее, а когда золотая жидкость с шипением поспешила освободиться из бутылки, он вылил ее на себя, смывая с лица кровь. Я подумала, а ведь это шампанское стоит, наверное, так же дорого, как ночь в номере роскошного отеля.

— Хочешь? — спросил он. Я покачала головой. Рейнхард взял с собой бутылку, прошел к кровати, снова схватив меня за руку.

— И что ты почувствовала?

— Удовольствие, — сказала я. — И страх.

Он толкнул меня на кровать, открыл какую-то обитую красным бархатом шкатулку. В ней были конфеты. Он взял одну, запил ее шампанским.

— Интересно. Но тебе понравилось?

Мне было сложно ответить на этот вопрос. Рейнхард взял еще одну конфету, поймал меня за подбородок. Я открыла рот, и он положил конфету мне на язык. Солено-карамельная, божественно мягкая сладость, казалось, растворяется у меня во рту.

— Что это?

— Карамель с соленым маслом.

Я невольно улыбнулась, сладость была до того хороша, что почти заглушила страх. Рейнхард сделал еще глоток шампанского, поставил бутылку. И я вдруг спросила:

— Я тебе вообще нравлюсь?

— Странный вопрос. Тебя бы здесь не было, если бы ты мне не нравилась.

Я сама продолжила эту фразу, проявила ее внутреннее содержание: возможно, тебя бы вообще нигде не было.

Он вдруг подтянул меня к себе за ногу, принялся расстегивать пуговицы на моем платье. Я перехватила его за запястья, и несколько секунд мы смотрели друг на друга. Я никогда не представляла себе, что взгляд может быть сортом ласки, частью любовной игры.

— Хорошо. Мне нравится, что у тебя большая грудь.

— Ты что издеваешься?

— Да.

Я попробовала сесть, но он удержал меня.

— Да, ты мне нравишься, Эрика. Ты нежная, пудрово-пыльная, если уж использовать поэтические сравнения, испуганная, хрупкая. Мне хочется прикоснуться к тебе, мне хочется целовать тебя, потому что когда-то ты дала мне очень многое. И хотя сейчас я не в силах оценить твоего дара по-настоящему, у меня осталось желание быть с тобой.

Он уткнулся носом мне в шею.

— Мне нравится, как ты пахнешь, мне нравится все — твой страх, твой парфюм. Мне нравится трогать тебя, нравится, что у меня может быть что-то настолько...

Он принялся стягивать с меня платье, медленно, словно раздевал меня в первый раз.

— Беззащитное, — закончил он, погладил меня по шее, пальцы его чуть надавили на жилку, в которой билась вся моя жизнь. — Убить тебя даже слишком легко.

Он с нежностью поцеловал меня в губы, и я ответила ему. Приподняв меня, Рейнхард стянул с меня лифчик, а затем и белье. На этот раз он был очень ласков со мной, словно я и вправду была очень, очень хрупкой.

Впрочем, наверное, для него это и было правдой. Мне вдруг показалось, что это наша первая близость, и я испытала соответствующий стыд. Страх перед ним заводил меня, но в то же время обездвиживал. Рейнхард целовал мою шею, плечи. Звенящая струна его нежности казалась мне опасной. Словно он был на грани того, чтобы причинить мне боль или искусно делал вид, что раздумывает об этом.

На этот раз он вел себя со мной так, будто я по-настоящему принадлежала ему. Все происходило мучительно медленно. Он рассматривал меня, трогал, целовал, пробовал на вкус, словно я уже была отдана ему на всю вечность.

— Ты умеешь усилить напряжение, — сказала я шепотом. Я не могла говорить вслух, потому что его прикосновения словно лишали меня голоса. Изредка он вдыхал мой запах, и я не знала, что его привлекает — мое возбуждение, готовность для него, или мой страх, тоже своего рода готовность, а может быть и то, и другое.

Он долго ласкал меня прежде, чем позволил мне начать его раздевать. Это было странно, будто бы мне позволялось снять с него кожу. Я осторожно расстегивала пуговицы на его черном пиджаке, одну за одной, словно это тоже были ласки. Я расстегнула его пояс, стянула с него сапоги. Я чувствовала себя так, будто вместе с формой забираю и его власть, будто он станет беззащитным передо мной. Я впервые в его новой жизни видела Рейнхарда без сопутствующих атрибутов доминирования. Мне казалось, что таким образом я смогу быть с ним смелее. Однако я все еще робела перед ним, даже когда он оказался совершенно обнажен. Как только я сняла с него одежду, он снова опрокинул меня на кровать. Ласки его стали мучительнее, пальцы Рейнхарда то проникали внутрь, то покидали меня, он целовал мою грудь, подтягивал к себе за бедра, чтобы я была ему удобнее. Я словно вся

принадлежала его рукам.

Удовольствие было тягучим, как та карамельно-масляная конфета, обезоруживающе сладким. Я понимала, что он наслаждается мной как выпивкой или едой в ресторане, но эта дегуманизирующая нота давала мне право на наслаждение, лишала стыда. Я и сама трогала и целовала его, и то, что между нами происходило, впервые напоминало любовную игру.

Посреди этих неспешных, казалось вечных ласк, он вдруг резко раздвинул мне ноги, подался вперед, и я ощутила его член, готовый проникнуть в меня. На этот раз он не вошел в меня быстро, и я поняла, что боюсь. Проникновение, момент соединения с ним, пугало меня, а его член казался слишком большим для меня. И хотя мое тело уже принимало его прежде, все внутри болезненно сжалось.

— Расслабься, — сказал Рейнхард. Он то и дело облизывал губы, взгляд его был затуманенным. Он легонько шлепнул меня по бедру.

Я знала, почему именно боюсь. И он тоже знал. В этот раз все происходило медленно, слишком медленно, чтобы я могла предоставить моему телу контроль над разумом. Рейнхард протянул руку, коснулся большим пальцем моих губ. Этот жест показался мне полным нежности, едва ли не любовным. Рука его спустилась ниже, Рейнхард стал массировать мне грудь, и это вызвало внизу живота приятные, обжигающие спазмы. Он чуть двинулся, преодолевая ослабевшее сопротивление моего тела. Казалось, Рейнхард легко может управлять моими реакциями, с физической точки зрения знает меня лучше меня самой. Я сильно, до слез зажмурилась. Рейнхард гладил меня, ласково, словно бы непокорность моего тела вовсе не вызывала у него нетерпеливого раздражения.

Он ласкал меня, вынуждая мое тело поддаваться ему с жадным, влажным желанием.

— Поцелуй меня, — прошептала я, и он выполнил мою просьбу. Осторожно прикоснулся губами к моим губам, словно бы мы с ним состояли в самых целомудренных отношениях. Когда он проник в меня до конца, я застонала от прекрасной, тянущей боли внутри.

Рейнхард двигался медленно, давая мне почувствовать удовольствие от его присутствия во мне, а не только от его ласк.

Мы были любовниками. Эта мысль билась в моей голове снова и снова, совпадая с током крови у меня в висках.

Я обняла его, потянулась к нему, чтобы уткнуться носом ему в плечо. Мне нравилось ощущать его силу, в этом был безупречный, политический подтекст, неизменно заводивший меня. Теперь каждое его движение приносило особенное удовольствие, я стонала уже не сдерживаясь, снова и снова, и Рейнхард не закрывал мне рот. Мне нравилось предавать саму себя, нравилось быть женщиной, которая на все готова ради того, чтобы ощутить в себе солдата. Циничное самоуничтожение, однако, скрывало чувства, которые мне не хотелось показывать даже себе.

Постепенно Рейнхард стал двигаться быстрее, тогда, когда это было желаннее всего. Я чувствовала себя беззащитной перед наступающей разрядкой — он делал это со мной, и я не могла ничего противопоставить удовольствию. Мы кончили почти одновременно. Императив инстинкта заставил его войти в меня как можно глубже, а меня принять его с жадностью, прижаться к нему как можно ближе. Я ощутила, как он изливается в меня, едва придя в себя после оргазма. Некоторое время я гладила его лицо и шею, наслаждаясь слабостью, которая, казалось, нахлынула на него после разрядки. Если подумать, это мужчины во время секса отдают и теряют. Рейнхард оставил поцелуй на моем плече, затем

отстранился и лег рядом. Он потянулся за шампанским, а я смотрела в потолок, пытаюсь поймать взглядом все блики на хрустальной люстре.

— А что если я забеременею от тебя? — спросила я. — Мы ведь не делаем ничего, чтобы этого не случилось.

Я впервые задумалась о том, почему ни капли не волнуюсь по этому поводу. Рейнхард неторопливо закурил.

— Если ты забеременеешь от меня, это будет хорошо. В таком случае, мне не придется делить тебя с твоим мужем. Если это случится, ты сможешь подать заявление, и тебе перестанут искать биологически точного спутника жизни.

Мы одновременно развернулись друг к другу, и я коснулась носом кончика его носа. Крошка Эрика Байер, ничто так не продлит ощущение неловкости, как стереотипный романтический жест. Это было почти так же несвоевременно, как моя первая любовь в средней школе.

Рейнхард протянул руку, нащупал конфету в коробочке и снова поднес ее к моим губам. Я улыбнулась. На меня вдруг, должно быть во всем были виноваты эндорфин и окситоцин, нахлынула невероятная нежность к нему. Мы целовались и ели конфеты, я обнимала и гладила его. Мне казалось, что моя нежность приносит ему удовольствие, а может быть даже радость.

Сам Рейнхард, казалось, не умел проявлять несексуальную нежность. Он трогал и целовал меня так, словно мы все еще занимались любовью, и его ласки были передышкой перед тем, как снова войти в меня.

Я поймала его руку, поцеловала костяшки пальцев.

— Что ты делаешь?

— Политизирую секс.

Он засмеялся. В этот момент он почти напоминал человека. А я снова подумала о том, кем Рейнхард мог бы быть. Лиза ведь куда более цельная, чем он. У Отто кое-что получилось.

— Любишь власть, иерархию, прибыль и фальшь?

— Мне сразу стало жарко.

Я прижалась к нему, почувствовав, что у него снова стоит. Я прикоснулась к нему рукой, с любопытством и желанием.

— Так что насчет Отто?

— Если это была попытка шантажировать меня сексом, то она оказалась довольно нелепой.

— Возможно, это была попытка проверить, возбуждает ли тебя Отто Брандт.

Он усмехнулся, затем выражение его лица стало серьезным. Таким я увидела его в первый раз у кенига.

— Итак, ты хочешь узнать, что будет с твоим маленьким другом? Феномен, который он представляет собой располагает к долгой жизни в Нортланде. По крайней мере, Отто Брандт требует определенного времени на изучение. Все это звучит довольно цинично, правда?

— А кроме того трагически.

— Поэтому я и сказал, что не хочу говорить об этом сегодня.

Он перехватил меня, легко поставил на четвереньки, так что я даже не успела ничего сообразить, потянул за волосы, удерживая меня в этом положении, а потом вошел. На этот раз он сделал это быстро, и тело мое приняло его легко и покорно. Я была хорошо смазана

его семенем и собственной влагой, так что проникновение показалось мне невероятно легким.

Я вцепилась пальцами в простынь, потянула ее. Я поняла, зачем это делают женщины в порнофильмах. Чтобы скрыть неловкость происходящего. На этот раз я не успела дойти до разрядки, кончив в меня, Рейнхард завершил все пальцами.

Мы возвращались друг к другу снова и снова, эта ночь казалась мне бесконечной. И если сначала в голове моей снова и снова крутились мысли о нем и обо мне самой, и обо всем, что происходит с моей жизнью, то теперь осталась только усталость, дрожь и напряжение в ногах, и не угасающее несмотря ни на что желание. Он проникал в меня пальцами, языком, раз за разом доводил до иступления. Я и не заметила, как легко, еще легче, чем в прошлый раз, брала в рот его член, как просто оказалось ласкать его рукой. Я не думала о том, что мы делали все это. Я вообще ни о чем не думала, удовольствие стало единственным доступным мне языком.

К рассвету мне стало казаться, что на мне нет места, которое он не целовал бы и не кусал, как, впрочем, и на нем не осталось не отмеченных мной участков. Я едва двигалась верхом на нем, и он помогал мне, удерживая меня за бедра, но мне не хотелось останавливаться. В конце концов, Рейнхард повалил меня на кровать и продолжил двигаться сам. А мне казалось, что эта ночь не повторится больше никогда в моей жизни, и я хотела получить от нее все. И хотя у меня едва находились силы даже для стонов, я двигалась ему навстречу в каком-то бессознательном стремлении к наслаждению. Кончая, я крепко вцепилась в него, оставив так быстро заживающие царапины на его плечах.

А затем мы сделали это снова, и на этот раз у меня не сохранилось никаких воспоминаний, кроме сладостного, пульсирующего ощущения внутри.

Я вправду не помнила, как именно заснула.

Глава 14. Утрата легитимности

Я, в конце концов, проснулась от непрестанно повторяющегося звука рассекаемого воздуха. Еще не открыв глаза, я поняла, что в постели со мной никого нет. Это было обидно, словно вся ночь оказалась лишь моей эротической фантазией. Я безуспешно пыталась ощутить тепло Рейнхарда, воспоминания были смутными, но мне казалось, что я заснула в его объятиях.

Я не решалась открыть глаза, хотя было ясно, что крошке Эрике Байер, в сущности, нечего бояться. Если все это время ей снился долгий сон о патологическом нарциссе, которым стал Рейнхард и презабавных сексуальных приключениях, то стоит всего лишь рассказать об этом Нине и получить порцию наводящих на размышление вопросов.

В конце концов, я сочла лучшим выходом из положения (в принципе, практически любого) перевернуться и накрыться одеялом с головой. Так я и сделала. Пребывая в той части моей жизни, которая не имеет ни точности бодрствования, ни спокойствия сна, я думала о том, что если все, что произошло со мной, было только сном, и сейчас наступит утро, в которое я должна буду разделить его, я откажусь.

Не потому, что не люблю его, а потому что люблю так сильно, что становится больно в груди.

А затем я услышала:

— Я знаю, что ты проснулась.

Это явно не был старый-добрый Рейнхард.

— Доброе утро, — добавил он. Я с трудом высунула голову из-под одеяла.

— У тебя безупречная интуиция?

— Нет, но я слышу биение твоего сердца.

Рейнхард был в этот ранний (или мне так казалось) час при полном параде — сверкающий черный с кровавым пятном нашивки, да он даже фуражку надел. В этом было что-то мальчишеское. Рейнхард фехтовал с невидимым соперником. Движения у него были легкие, очень умелые, по-своему театральные. Он невероятно хорошо представлял себе действия своего противника и, казалось, не давал себе поблажек. Я совсем не разбиралась в техниках фехтования, я видела выпады и увороты, и движения шпаги такие быстрые, что, казалось, они серебрили воздух.

— Доброе утро, — сказала я. — Мне казалось, что мы встретим его в одной постели.

— Мужчины, — ответил Рейнхард, затем усмехнулся чему-то своему. — Им лишь бы воевать. Разве не ты это когда-то говорила?

— Ты забыл все мои назидания по этому поводу.

— Такова моя природа. Война, даже самая маленькая, благороднее унылой череды политических компромиссов.

Рейнхард вдруг засмеялся. Он казался мне самую малость рассинхронизированным. Рейнхард сделал выпад, лицо его осветилось самодовольным, победным выражением.

— Ты хотела поговорить об Отто, — напомнил он. — И скажи, что хочешь на завтрак.

— Ничего, — сказала я. Отчего-то я считала неправильным завтракать в роскошном отеле, куда без Рейнхарда меня никогда в жизни не занесло бы. В ресторане я не была такой щепетильной, однако мне казалось, что с тех пор прошло много-много времени. Я протянула

руку, взяла из коробки последнюю конфету и неторопливо разжевала ее. На этот раз от карамели свело зубы — вот она расплата за несоответствующую статусу роскошь.

— Но я хотела поговорить об Отто, — милостиво добавила я. Рейнхард оперся на шпагу.

— Да-да. Так вот, история Отто Брандта несколько...

Он вдруг резко уклонился от невидимого удара, перехватил шпагу.

— Не совсем честно! — сказал он.

— То есть, ты мне врешь.

— Нет, я не об этом. Я хотел сказать, что эта история несколько шире. Ты помнишь

Кирстен Кляйн? Пламенную революционерку и секс-рабыню кенига, порядок соблюден правильно.

Я кивнула, хотя Рейнхард на меня не смотрел.

— Как думаешь, она смогла бы повернуть все это дело с полицейским управлением Хильдесхайма, а затем собственным таинственным исчезновением, если бы руководствовалась исключительно политическими тезисами профессора Ашенбаха?

Рейнхард галантно поклонился пустоте перед ним, и я вдруг все поняла. Он фихтует не с воображаемым противником. И даже не с одним единственным. Они так точно и слажено чувствуют друг друга, что эта легкая разминка между членами фратрии легко может проводиться на расстоянии. Они чувствуют друга друга и видят, словно наяву.

Я вдруг подумала, как это страшно — не уметь ничего скрыть даже от самых близких людей. Как чудовищна предельная близость, когда самые тайные, самые глубинные твои порывы становятся всего лишь сообщениями в чужой голове.

— При всем уважении, — продолжил Рейнхард. — Этого было недостаточно. Фройляйн Кляйн воспользовалась помощью нашего общего знакомого. И Маркус воспользовался. Именно поэтому они не смогли вытащить из него ни единой мысли о Кирстен Кляйн. Так что Отто Брандт был в беде еще до того, как сбежал от Карла.

Мои руки похолодели, я сжала одеяло так сильно, что костяшки пальцев стали совершенно белыми.

Рейнхард указал на меня кончиком шпаги.

— Так вы говорили об этом?

Затем он совершил неопределенно-быстрое движение и оказался за два метра от меня, так стремительно, что я едва это заметила.

— Нет, — сказала я, взглянув на Рейнхарда. Я не лгала, мы и вправду не говорили об этом. Отто, который, казалось, был так честен с нами, скрыл часть своей биографии. С каких-то позиций она, безусловно, была важнейшей.

— Досадное упущение с его стороны. Так вот, Отто Брандт в большой беде. И мы все равно его найдем. К примеру, я бы мой поехать туда прямо сейчас!

— Не надо!

Я была не слишком-то красноречива, зато последовательна. Рейнхард пожал плечами:

— Да, я тоже не думаю, что хорошо навещать в гости без предупреждения. Знаешь, как мы сделаем, Эрика? Ты сейчас придешь в себя, может быть все-таки позавтракаешь, потому как завтрак — фундамент удачного дня, а затем поедешь к Отто Брандту и предупредишь его, что мы там скоро будем.

Он посмотрел на меня, убедился в том, что я решительно ничего не понимаю, а затем сказал:

— И, может быть, у Отто Брандта будет шанс избежать наказания.

— Ты имеешь в виду, что хочешь отпустить его? Ты хочешь помочь мне? Нам?

— Ты переоцениваешь мое милосердие. Мне нужно поговорить с Отто Брандтом. И я обещаю, что в результате этого разговора, он не попадет вместе с нами к кенигу.

— Почему я должна тебе верить?

— Ты не должна. Я просто предлагаю тебе несколько утешить беднягу Отто. Раз уж ты прониклась к нему такой симпатией, почему бы тебе не принести ему добрую весть?

Рейнхард отбросил шпагу, а затем нарочито медленно подошел ко мне, взял меня за подбородок.

— Чего ты от него хочешь? — спросила я.

— Того, что и все окружающие. Того же, чего хотела и Кирстен Кляйн, к примеру. Помощи.

Он говорил нарочито небрежно, так что ложность или истинность его слов окончательно превращалась в предмет личного выбора. Я покачала головой.

— Я тебе не верю.

Но правда была еще сложнее — я не знала, верить ему или нет.

— Хорошо, — сказал он. — В таком случае наш визит будет для Отто Брандта неожиданным.

Снова это мерзкое "наш", снова они как общность, сплавленная сущность.

— Мне нужно в ванную, — сказала я быстро, надежно завернувшись в одеяло и в несколько скованной манере прошла по комнате, наугад ткнувшись в одну из дверей, за которой оказался кабинет.

— Прошу прощения, — сказала я.

— Ничего.

Я с самым независимым видом пошла к другой двери, надеясь, что за ней меня будет ждать ванная. Мое желание было чутко воспринято Вселенной и, если учесть, что перед нами, согласно теории вероятности, всегда открыты сотни миллиардов вариантов того, что может скрываться за дверью, я была благодарна.

Я сбросила с себя одеяло и включила душ. Некоторое время я была слишком сосредоточена на эротическом (или процесс этот обратный, так что стоило назвать его антиэротическим) занятии, я смывала с себя семя Рейнхарда. Складывалась забавная ситуация, мне нравилось заниматься с ним любовью, нравилось пахнуть им, мне нравились даже пятна его спермы на моих бедрах, при этом Рейнхард оставался источником опасности для людей, которых мне хотелось бы защитить. В этой диалектике была особенная магия, которая привносила долю вожделения в дела и некоторое количество проблем добавляла к вожделению. Когда следы Рейнхарда сошли с меня, я смогла думать о перспективах. Надо сказать, ничего ободряющего не случилось за эти три минуты. Нужно было ехать к Отто и говорить ему, чтобы он и девочки убирались из квартиры как можно быстрее. Отто, впрочем, стоило завести телефон, и все могло бы закончиться менее трагично.

Но разве Рейнхард не понимал, что я предупрежу Отто и посоветую ему скрыться как можно скорее? Вероятнее всего Рейнхарду было все равно. Любые мои попытки действовать и решать нечто самостоятельно приводили к тому, что я двигалась ровно в ту сторону, куда он хотел.

Истинным протестом в таком случае был бы отказ от любого действия. Если я и вправду хотела не участвовать ни в одном из его планов, сегодня утром мне стоило отправиться в кафе, заказать по-летнему сладкий штрудель и выкурить пяток сигарет, совершенно не

переживая обо всем, что происходит. Но я не могла поступить подобным образом, и он это знал. Я не могла жить с жестоким знанием о том, что ничего не сделала для Отто, даже если сделать было, собственно, ничего и нельзя.

Я снова замоталась в одеяло, вышла из ванной, пожалев, что не взяла с собой одежду. Рейнхард стоял у окна, он на меня не смотрел, и я смогла одеться без мучительных спазмов неловкости, вполне ожидаемых в условиях моей психической жизни.

Только застегнув все пуговицы на платье, я сказала ему:

— Так чего ты хочешь? Что тебе нужно от Отто?

Я вовсе не надеялась, что он ответит. Рейнхард не имел никаких слабостей передо мной, а жуткое ощущение чуждого, иного разума мешало мне представить, что он способен сказать что-то из сочувствия ко мне.

Рейнхард повернулся. Он достал портсигар и неторопливо закурил, дым поплыл по комнате.

— Ты кое-что забываешь, Эрика. Нортланд — это не только и не столько насилие. Это еще и некоторые интересные возможности. Подобное сочетание и рождает империю.

— Спасибо, что говоришь со мной загадками, перед этим пригрозив моему другу.

— Так он тебе уже друг? Это интересно.

— Нортланд в том числе финансовая империя, — сказала я. — Вопрос в деньгах?

— В капитале.

Я прошла мимо него, не зная, стоит ли целовать его на прощание. Он поймал меня за руку, а затем крепко прижал к себе.

— А если я пойду, скажем, к Карлу и сдам тебя.

— Значит, ты сдашь и Отто, — сказал Рейнхард, коснувшись губами моей макушки. — Но что еще важнее, ты не причинишь мне вреда по своему желанию.

— А ты мне?

Он поцеловал меня в висок, заставив чуть отклонить голову. Затем я легонько оттолкнула его, словно пытаюсь опровергнуть тезис о том, что я не способна причинить ему вред. Я шла к двери, ощущая его взгляд, но не могла обернуться. Да и не нужно было.

Я ведь все равно не понимала его значения.

Моей гордости хватило на то, чтобы выйти из гостиницы, затем я побежала. Желтые пятнышки такси расплывались у меня перед глазами от напряжения. Я влетела в одну из машин, быстро назвала улицу и вцепилась в спинку переднего сиденья. Таксист посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и я выпалила:

— Я опаздываю на работу!

Некоторое время мы ехали молча, затем таксист заговорил. Он журчал, словно радио. И я подумала, что могу гордиться собой. На некоторое время мне удалось лишиться дара речи человека от природы довольно болтливого. Речь его обладала тем приятным качеством, которое часто присуще таксистам и парикмахерам. Он не требовал на свои вопросы никаких однозначных ответов, я могла вовсе не складывать звуки в слова, мычать нечто утвердительное или отрицательное вне зависимости от смысла сказанного.

Мне так хотелось помочь Отто, но в то же время я не чувствовала в себе достаточной силы для того, чтобы сделать нечто из ряда вон выходящее. У меня даже не было возможности что-то подобное помыслить.

Я чувствовала себя так, словно меня заперли в аквариуме, и теперь я плавала, просматриваемая со всех сторон, изолированная, в сущности, как рыба, лишь отрывочно

интересная зрителям. В фокусе были совсем другие люди. Собственно, следовало представить себя рыбой в аквариуме, стоящем посреди ресторана. Блюдом для была не я. По крайней мере, на данный момент.

Как только машина остановилась, я выскочила из нее, оставив деньги таксисту и крикнув ему:

— Сдачи не надо!

Я неожиданно быстро нашла нужный мне двор, бегом поднялась по лестнице, удивляясь тому, насколько выносливой могу быть в сложной ситуации. На звонок я жала без перерыва, демонстрируя, насколько срочно мое дело. Никто, однако, не открывал, причем довольно продолжительное время. Первой моей реакцией был страх — Рейнхард уже добрался до них.

Затем я, впрочем, с облегчением подумала, что они могли переехать по независящим от меня обстоятельствам, тем самым оборвав ниточку, которую Рейнхард протянул от меня к Отто. Когда мне открыла Лиза и с визгом бросилась обниматься, я постаралась вырваться, быстро осознала, что это невозможно и только тогда заговорила:

— Отто в большой опасности!

Лиза мгновенно стала серьезной. Я и не думала, что ее кукольное лицо может отразить такое напряжение. До этого мне казалось, что на нем навсегда застыла фарфоровая безмятежность. Теперь же Лиза казалась в чем-то схожей с Рейнхардом. Я увидела Отто, он выглянул из кухни, когда я вошла в коридор.

— Рейнхард, — сказала я. — Он едет сюда.

Отто выругался, но как-то без страсти, без особенного страха. Я услышала из комнаты голос Ивонн:

— Что?!

Но больше всего в тот момент меня занимала Лиза. Она смотрела на меня так, словно не просто ударит, убьет меня. Ее зеленые глаза потемнели, а губы чуть скривились. Лицо словно бы ничего не выражало, но злость ее я чувствовала каждой клеточкой своего тела, сжавшейся в ожидании удара.

— Это не я! Я ничего не говорила ему! Я даже не могла! Он следил за мной!

Отто вклинился между мной и Лизой.

— Так, — сказал он. — Ладно.

— Вам нужно уходить, пожалуйста.

Лиза сказала:

— Я соберу вещи.

Голос ее совсем изменился. Я прошептала Отто:

— Я вовсе не хотела. Пожалуйста, я ничего ему не говорила.

— Пожалуйста, что? — спросил Отто рассеянно. Казалось, он ничего не боится. Как только в коридоре появились Лили и Ивонн, я снова выпалила, словно заводная игрушка:

— Я не говорила ничего. Он сам узнал.

— О, — сказала Лили. — Понятно.

Она обхватила себя руками.

— Естественно, мы уедем, — сказала она. — Может быть, раз уж ты приехала сюда с этой чудесной новостью, ты можешь предложить нам какое-нибудь место, где мы могли бы остаться?

Фраза была нарочито длинной, словно закончить ее означало для Лили перейти в какое-то иное, страшное состояние.

Ивонн сказала:

— Нужно было отправить в постель к врагу меня.

— Так, — сказал Отто. — Давайте-ка просто успокоимся. Хорошо? Мы все сейчас успокоимся.

А потом мы все вздрогнули, услышав звонок в дверь. Лиза замерла на пороге комнаты, в руке у нее был большой чемодан, который девушка ее комплекции должна была поднимать с трудом.

— Наверное, прятаться под стол было бы глупо, — сказал Отто. Мы с Ивонн и Лили кинулись к нему, пытаясь удержать, но Отто мягко освободился от наших рук и пошел к двери.

Что толку было не пускать их? Запертая дверь задержит их всего на секунду.

— Прячьтесь! — прошептала я, а потом поняла, что и это глупо. Солдаты чувствуют и помнят запах любого человека, которого учуяли однажды. Было бы странно предположить, что Маркус не узнает Лили, а Ханс — Ивонн. Однако, когда я обернулась, Лили и Ивонн уже не было рядом. Думаю я, даже полностью понимая безнадежность этой затеи, последовала бы их примеру, если бы только мне тоже угрожала опасность.

Отто открыл дверь. На пороге стоял Рейнхард, чуть позади него я увидела Ханса и Маркуса.

— Добрый день, герр Брандт, — сказал Ханс. — Приятно с вами познакомиться.

— Отто, рад видеть тебя в добром здравии, — сказал Маркус. Мне казалось, он наслаждается пародией на себя самого. Отто отошел от двери, пропуская их внутрь.

— Должно быть, сподручнее будет говорить на кухне, — сказал Рейнхард. Взгляд его остановился на мне, затем скользнул по Лизе.

— А вот и юное дарование.

— Фройляйн Зонтаг, — сказал Ханс. — Вы, наверное, думаете, что можете нас задержать. Однако против троих солдат вы мало что сумеете сделать. Может быть, не будем тратить наше время?

Лиза осторожно поставила на пол чемодан и прошла на кухню. Она сказала с улыбкой:

— Я сделаю чай!

Когда Лиза проходила мимо Отто, она сжала его руку с нежностью и волнением.

— Как вы, наверное, знаете герр Брандт, — продолжил Ханс. — Мы здесь не для того, чтобы вас арестовать.

— Однако, у тебя серьезные проблемы с законом, — добавил Маркус. — А кроме того, здесь не все участники нашего маленького представления.

Он втянул носом воздух с хищным удовольствием, затем прошел в комнату и вернулся, ведя под руки Лили и Ивонн. Маркус показался мне симпатичным парнишкой, с которым хотят гулять девушки. По крайней мере, его улыбка говорила о чем-то таком. Я вдруг снова почувствовала себя зрительницей. Люди проходили мимо меня, у всех были свои проблемы, свои решения, свои цели. На кухне мне даже не хватило места. Я встала, оперевшись на косяк двери, наблюдая за теми, кто был вовлечен в эту ситуацию непосредственно. Рейнхард устроился у окна, Маркус удерживал Ивонн и Лили, Ханс сидел за столом напротив Отто, а Лиза хозяйничала у плиты. Если бы все они были изображены на картине, у нее определенно было бы название вроде: "неудачные переговоры" или "всеобщая неловкость".

— Итак, — сказал Рейнхард, рассматривая Лизу. — Герр Брандт, вы почти самый необычный человек, которого я знаю.

— Почти? — спросил Отто.

— Обидно? — улыбнулся Маркус. — Ты привык думать, что никого невероятнее тебя нет, правда?

Ханс сказал:

— Однако, мы не об этом, герр Брандт.

— Как вы видите, мы не пришли сюда, чтобы арестовать вас.

— Более того, мы даже не хотим трогать твоих подруг.

— Как вы можете заметить, мы настроены дружелюбно. Это значит, герр Брандт, что вы могли бы...

— Теоретически.

— Да, теоретически, ты мог бы сохранить твою Лизу, твоих друзей, все это, — Маркус кивнул на кукол — Великолепие. Словом, твою жизнь.

Слушать их было странно. По отдельности они казались, по крайней мере до определенной степени, автономными. Сейчас они продолжали фразы друг друга не с помощью безоговорочного понимания. В этом, казалось, вовсе не было близости.

Наоборот, каждый из них был излишним. Собственное "я" Рейнхарда, Ханса или Маркуса в этом диалоге было не так значимо, как "я" их фратрии, их коллективная воля. Это вызывало инстинктивное отвращение, судя по всему, не у одной меня. Отто, Лили и Ивонн тоже скривились, а вот на лице Лизы появилась обида. Она разлила по чашкам чай, с капризным видом поставила их на стол.

— И что мне нужно сделать? — спросил Отто. — Что-то ведь нужно? Вы же не просто так пришли ко мне.

— Ты должен освободить Кирстен Кляйн, — сказал Маркус. На секунду я подумала, что он делает это для Кирстен Кляйн. Но Рейнхард добавил:

— Мы обязательно оценим вашу помощь в соответствующих терминах свободы и возможности.

И я вспомнила, что у Маркуса не может быть ничего своего.

— Зачем вам это? — спросил Отто. Он отодвинулся на стуле подальше, к окну, но, увидев рядом Рейнхарда, сместился влево, где стоял Маркус. Тогда Отто встал и подошел к Лизе.

— Это, герр Брандт, не должно быть вашим делом, — сказал Ханс. — Впрочем, если вас не интересует это маленькое условие...

— Маленькое?

— План мы разработаем вместе, — сказал Рейнхард. — Единой командой, так сказать.

Рейнхард посмотрел на меня, я отвела взгляд.

— Меня интересует, — сказал Отто. — Я просто не понимаю...

Он помолчал, Рейнхард и все остальное терпеливо ждали, пока он что-нибудь скажет. Наконец, Отто закончил:

— Ничего.

Я была с ним абсолютно солидарна.

— Это хорошо, — сказал Ханс.

— Потому что обеспечивает вашу безопасность. Вы всего лишь должны сделать то, что мы просим.

— И что тогда? — спросила Лиза. Они одновременно посмотрели на нее.

— Тогда мы устроим вам бессрочный отъезд из Хильдесхайма, — сказал Рейнхард. —

Так далеко, что вы сможете быть уверены, что вас никогда не найдут. Ни типичные розыскные мероприятия, ни своеобразные парапсихологические методы не помогут вашим врагам.

Отто нахмурился. Я не была уверена, что так вообще бывает. Из Нортланда некуда было деться. Но Рейнхард выглядел так уверенно и знал куда больше меня.

— Хорошо, — сказал Отто. — Ладно, хорошо.

Маркус улыбнулся, приобнял Лили и Ивонн, бледных от страха.

— Но для надежности нашего союза, мы заберем твоих подруг. Если ты выполнишь свою часть договора, они вернутся целыми и невредимыми. Если нет — они не вернутся. Если ты будешь недостаточно хорош, вернутся какие-то их части, важные или не очень, смотря каким будет результат твоих стараний.

Отто потер виски. Надолго стало тихо, так что собственное дыхание показалось мне нестерпимо, невежливо шумным.

— Но вы обещаете что потом меня никто не тронет?

— Вы больше не увидите Нортланд.

— То есть, умру?

Ханс покачал головой.

— Нет, лучше, намного лучше и куда надежнее.

Глава 15. Товар как спектакль

Они договорились. Я подумала, что никогда не слышала разговора циничнее. У Рейнхарда и его фратрии были все способы воздействовать на Отто, а он ничего не мог сделать с ними.

Вся его сила не распространялась на существ, которые, в принципе, уже перестали быть людьми. Он не мог заставить их уйти. Это в какой-то мере было даже забавно. Отто был самым драгоценным и опасным человеком в Нортланде, но основной его товар, солдаты, был ему неподвластен.

Решили, что вытаскивать Кирстен Кляйн должен не Отто, потому как он слишком ценен. С другой стороны у самого Отто был другой аргумент: он не собирался никого убивать.

Но он мог заставить другого человека совершить любое преступление. Был такой старый-старый фильм, немой, черно-белый и жуткий. Кажется, он назывался "Кабинет доктора Калигари".

Все мы здесь сомнамбулы, которых можно заставить делать что угодно. Кому-то, впрочем, придется поучаствовать в приведении этой метафоры к суровой реальности.

В конце концов, Отто сказал, что будет думать, как сделать все тихо и безопасно.

— Не надо тихо, — сказал Рейнхард. — Наоборот, пусть шума будет столько, сколько получится, а может даже чуть больше.

— Подумай, — сказал Маркус. — Это представление, спектакль.

— И если вы сумеете грамотно его обставить, ваше имя войдет в историю.

— Я не хочу в историю, — сказал Отто, затем посмотрел в окно, словно бы история поджидала его у подъезда. — Но я подумаю, да. Я очень хорошо подумаю.

Напоследок мы с Ивонн и Лили встали перед Отто, и он заглянул в глаза (и разум) каждой. Я чувствовала себя героиней какого-то приключенческого романа, мы были похожи на тайное общество с его странными, против воли сближающими ритуалами и опасными секретами.

— Вот, — сказал Отто. — Теперь никто не узнает об этом разговоре.

— Но вы, — он кивнул на солдат. — Можете сказать.

И я поняла, что это значит. Это значит, что я не могу.

— Девушек мы забираем с собой, — сказал Маркус. Я заметила, что с Лили он обходится бережнее, чем с Ивонн. Они все помнят. Впрочем, для Ивонн это могла быть и плохая новость. Я окончательно уверилась в призрачности своего участия в этой истории, однако Рейнхард, выходя, схватил меня под руку. Я обернулась и увидела, что Лиза смотрит вслед солдатам не только со злостью, а с какой-то завистью или, может быть, тоской.

Они должны были существовать вместе. Не жить вместе, быть может даже не испытывать друг к другу что-то особое, вполне вероятно, что они не нуждались больше ни в любви, ни в принятии. Но сама форма их существования подразумевала совместность. Или лучше сказать совмещенность.

Она нуждалась в них или в других таких же. Таковы были особенности их вида. Выживают ли пчелы или муравьи по одиночке? Какой-нибудь придиричивый энтомолог, наверняка, сказал бы, что существуют виды пчел, которые предпочитают одиночество.

Однако, моя метафора простиралась скорее в сторону ульев и муравейников, а также их обитателей.

Одинокая пчела — не пчела. Она теряет свою самость, заключенную во всеильном "мы". Для меня сама мысль об этом была жуткой, но, возможно, такой же чудовищной казалась, к примеру, Рейнхарду идея бесконечного в своем одиночестве, пустого Эго.

Страшно мне не было. Более того, я чувствовала облегчение, потому что теперь меня, Ивонн и Лили не разделяли привилегии. Свои привилегии можно только посчитать, а вернуть их теперь не получится никак.

Как только Рейнхард вывел меня из подъезда, он сказал:

— Ты сейчас отправляешься домой.

— Что?

— Ты разочарована? Мне стоило удерживать тебя в качестве заложницы?

Я взглянула на Лили и Ивонн, которая посмотрела на меня так, что стало холодно где-то в области печени.

— Нет, — сказала я. — Просто...

— Насчет твоей свободы я договаривался с кенигом.

Я снова ощутила себя маленькой девочкой, которую мама ведет к знакомому врачу, громко рассуждая о том, как он пропустит их без очереди.

— Да, — сказала я.

— Не буду предупреждать тебя о том, что будет, если ты кому-нибудь что-нибудь скажешь.

— Потому что я не сделаю этого.

Он усмехнулся. Я вдруг взглянула вверх и увидела, что Лиза смотрит на нас. Заметив, что я вижу ее, Лиза помахала мне. Я уныло повторила ее движение, снова взглянула на Рейнхарда. Его красивое лицо казалось мне совершенно безучастным. Я вдруг подумала, он ведь так смертельно бледен, потому что большую часть жизни не выходил на улицу. Некоторая болезненность оставалась в нем и до сих пор, это было трогательным, настоящим.

Я захотела поцеловать его, но вместо этого мы оба сделали шаг назад, расходясь, словно мы завершили танец. Я посмотрела на девочек. Лили не ответила на мой взгляд, а Ивонн продолжала излучать ненависть такой силы, что мне пришлось срочно развернуться и идти, уже не оглядываясь. Я слышала, как они посадили Лили и Ивонн в машину.

Была ли я виновата в этом? Можно было предположить. В конце концов, если раскручивать эту цепочку до конца, я вполне могла оказаться виновной во всем, что произошло с момента моего рождения.

Я решила оставить себя в покое и ни о чем, совсем ни о чем, не думать. Мимо меня проехала черная машина, блестящий, плотоядный жук. И я подумала, если Лили и Ивонн — заложницы, Рейнхард, Ханс и Маркус не должны вредить им, пока Отто делает, что положено.

Рейнхард дал мне свободу, у нее была своя цена. Я впервые подумала о том, считают ли Маркус и Ханс правильным его со мной общение. Я поняла, что это важно. Без этого не понять ни Рейнхарда, ни моего нового положения.

Впрочем, стоило быть благодарной за то, что у меня был шанс вернуться домой. Теперь я знала, насколько это много.

Так прошла неделя, от Рейнхарда не было никаких известий, как и от Ивонн и Лили. Я стала невидимой, мне не пересылали лавандовые повестки, меня не вызывали на работу. Я

была призраком в собственном доме, так что иногда меня посещали предположения о том, что я просто умерла и началось мое длительное и бессмысленное посмертие.

Мне нравилось быть незаметной. Нравилось целыми днями сидеть дома, читать, писать и курить. Роми и Вальтер продолжали жить у меня, и мы представляли уже целую когорту призраков. Я отдала Роми один из своих костюмов, чтобы она не выделялась, когда выходит из квартиры. Впрочем, надо признать, что она делала это редко. Но все же чаще, чем Вальтер, который не покидал дом вовсе.

Он проводил свои дни перед зеркалом, примеряя платье за платьем, которые я покупала для него, делая вид, что у меня есть высокая, тощая тетушка, у которой так много дней рождения. Я почти смирилась с тем, кто он есть. Этого, впрочем, нельзя было сказать о Вальтере.

Мои искалеченные родные и близкие требовали внимания и любви, и иногда мне казалось, что я не могу столько им дать. А иногда я думала, что нет никого счастливее меня. Я практически покинула Нортланд, оставаясь в самом его сердце. Мои близкие, чьи девиации являлись дисквалифицирующими в нашем великом обществе, могли жить рядом со мной и не бояться. Почти, разумеется, потому что совсем не бояться не мог никто. За эту неделю я хорошенько отдохнула. Казалось, я никогда прежде так не расслаблялась. И хотя Роми и Вальтер пробуждали во мне некоторую воинственность, я была рада, что они со мной.

Я часто думала о Лили и Ивонн, об Отто, даже о Лизе. Я думала о том, что вполне могу поехать к Отто, но боялась застать там Маркуса или Ханса, боялась показать, что я лезу не в свое дело. Кроме того, я, с присущим мне малодушием, хотела скрыться как можно дальше.

У меня была своя уютная норка, и всякий раз, думая об Отто, я представляла, как легко могу потерять ее. Так что самыми смелыми из всех моих поступков в эту неделю абсолютной свободы были прогулки по бульвару.

Но и этим я гордилась. В конце концов, я не думала, что после всего вообще способна буду выйти из дома или даже вылезти из-под одеяла.

Воистину, величайшая сила духа просыпается в нас, когда наступают трудные времена. Я выходила в прохладные и прекрасные лунные ночи, когда людей вокруг было мало, а звезд над головой очень, очень много. Роми говорила, что люди действительно начнут считать меня призраком, если я буду появляться только по ночам.

Однако, ночь казалась мне надежным временем. И она позволяла подумать в тишине, а это в моей жизни, застигнутой врасплох Вальтером и Роми, стало очень ценно. В одну из таких прогулок запах лип казался мне нестерпимо сильным, каким-то по-особенному нежным. Аккуратные липы источали спокойствие и стабильность, которых мне так не доставало.

Я шла между ними, представляя себя королевой, шагающей между своих подданных, вытянувшись вверх с почтением и благоговением. Глупые, самодовольные фантазии забавляли меня, но в то же время я почти верила во все, что происходило в моей голове.

Когда я слышала позади шум подъезжающей машины, то, конечно, испугалась. Однако по зрелому измышлению следующей секунды поняла, что это, вероятно, Рейнхард. Когда я обернулась, то вместо черной машины, увидела ослепительно белую. Она подмигнула мне фарами.

Я пошла дальше, имея в арсенале иллюзорную надежду на то, что ничто не имеет ко мне никакого отношения. Мысль была такая приятная, что тревога схлынула, словно волна,

впрочем, уже разрушившая берег. Я шла, наблюдая за собственной тенью в свете фар. Запах лип больше не казался мне успокаивающим, теперь в нем была тревожность, яркая, пронзительная нота, заставлявшая сердце биться сильнее.

Теперь это был страшный запах. Впрочем, все стало страшным. Я поспешила распрощаться с тревогой. Я и мой преследователь играли в определенного рода игру, где каждый старается как можно дольше сохранять хрупкость отстраненности. Машина следовала за мной, я шла вперед, делая вид, что не придаю ей никакого значения.

Конечно, я сдалась первой. В конце концов, не осталось ни одной причины для того, чтобы обманывать себя. Ушла надежда, ушла гордость, ушел даже страх. С каждым шагом я пустела, и когда не осталось ничего, что мне хотелось бы скрыть, я остановилась. Свет фар слился со светом, растекшимся у ближайшего фонаря, когда машина приблизилась. Я не оборачивалась, стояла, замерев, словно одна из тех кукол, которых с такой любовью и тщательностью создавал Отто. Машина поравнялась со мной, затем замерла, и дверь почти неслышно открылась. Часть меня желала услышать голос Рейнхарда, представить все это как очередную сексуальную игру между нами. Но некоторая основная идея, составлявшая Эрику Байер, заключалась в том, что если что и случается неожиданно, то оно непременно представляет собой нечто не очень хорошее или даже очень плохое.

Я закрыла глаза. Пассивное сопротивление для малышей, не способных собрать взрывчатку, как Кирстен Кляйн. Впрочем, где была Кирстен Кляйн, и где была я?

Действительно, где я была? Меня взяли под руки, я ощутила знакомую силу солдат. Когда меня усадили в машину, и она тронулась, я еще некоторое время держала глаза закрытыми. Бегство от собственных органов чувств казалось мне спасительным. Оно, однако, не могло быть тотальным. Я ощущала ход машины, плавный, приятный, чувствовала запах дорогого парфюма. Аромат был почти невесомый, настолько прозрачный, что даже непонятно, мужской или женский. В нем были нежные, водные ноты, сочетавшиеся с горьковатым деревом и цветочной, словно бы нектарной сладостью, так что в первую очередь мне парадоксальным образом представилось хрустально-чистое озеро, буйная зелень, волнуемая ветром, нежное птичье пение, разносящееся вокруг несколько жутковатым образом.

Никто меня не торопил, и я могла наслаждаться этим сказочным пейзажем перед моим мысленным взором даже чуть дольше, чем хотела. В какой-то момент картинка стала тревожащей.

Открыв глаза, я увидела Себби Зауэра. Он сидел передо мной, на лице его играла безупречно-прекрасная улыбка, чистая, как вода в озере, так хорошо представившемся мне. Салон машины был так же белоснежен внутри, как и снаружи. Здесь было просторно, светло и тревожно, как на рассвете. На откидном столике рядом с Себби стояла фарфоровая чайная чашка, наполненная спелой вишней. Она была такой же белой, как и все вокруг, так что полевые цветы, между которых притаился помпезный дагаз, казались на ней невероятно яркими. Себби выбрасывал косточки в приоткрытое окно машины. Костюм на нем тоже был белый, а его гипнотический взгляд был обращен к стеклу, но сила его все равно заставляла меня искать контакта.

Рядом со мной сидели двое солдат. Во всем схожие с Рейнхардом — та же форма, та же неестественная точность движений, та же тщательная эстетичность. Между ними мне было тесно, неожиданно вместо страха я ощутила прилив возбуждения, вспомнив о том, как принадлежала одному из таких же существ в постели, о том, сколько его семени было во

мне.

— О, избавь меня от своих архаических фантазий, Эрика.

— Прошу прощения.

Себби обратился ко мне на "ты", и это задавало тон беседе. Я не знала, зачем он здесь, хотя у меня и было (надежно скрытое ото всех) подозрение, что дело в Отто. Себби взглянул на меня, глаза его были искрящимися, неизменно-веселыми.

— Как продвигается ваша с Рейнхардом работа?

— Спасибо, хорошо, — сказала я. — Но ведь вы и так можете узнать.

Он взял вишню за зеленый хвостик, покрутил в руках, а затем отправил ее в рот.

— Предположим, — ответил он. — Ты, наверное, скучаешь.

Я пожалала плечами. Себби засмеялся.

— Я знаю, что скучаешь. Рейнхард и его фратрия занимались скучнейшими делами, связанными с крупными финансовыми потоками. Сейчас они едут в Хильдесхайм. Будут здесь примерно через час.

— Мне об этом знать не полагается?

— Безусловно.

Себби снова засмеялся. В его смехе было нечто звеняще жутковатое. Затем он выплюнул косточку, попав ровно в небольшое отверстие приоткрытого окна.

— Спасибо вам за сведения, — сказала я. — В любом случае. Если я нужна вам...

Себби отмахнулся от меня, словно от назойливой мухи, затем его рука легла на колено, и я смогла насладиться его безупречным маникюром. Такие аккуратные ногти, подумала я, что он почти кажется хорошим человеком.

Чистота равно благо — старая сцепка в старом сознании. Теперь чистота присуща всему от борделей до фабрик смерти.

— Нет, разумеется, ты мне не нужна, Эрика! Если ты еще не заметила, то женщина вроде тебя мало что из себя представляет: ты не обладаешь исключительными способностями, умом, внешностью или добротой.

Он разгибал пальцы, перечисляя, выражение его лица было преувеличенно забавным.

— Теперь ты поблагодаришь меня за эти характеристики?

— Нет, — сказала я. Во мне вдруг проснулась странного рода гордость, мешающая мне принять слова Себби. — Если бы я была вам не нужна, вы бы не искали меня.

Он подмигнул мне так, словно мои слова понравились ему. Себби был настоящим, солдаты, сидевшие рядом со мной с их неестественной неподвижностью напоминали мне о том, что такое искусственное. Однако в Себби было и нечто беспокойное, как если бы он содержал в себе странные искры безумия или волшебства.

Себби откинулся назад, чуть запрокинул голову. Пальцы его забарабанили по коленкам.

— Да-да-да. Дело в том, что случайным образом твоя, вызванная комплексами, привязанность к идиоту привела к некоторым забавным реакциям в нынешнем офицере Герце. Все это ничуть не делает тебя значимой для меня и тем более для истории. Однако, ты значима для него. Тебе это нравится, так?

— Полагаю, вы приписываете мне желания, которых у меня нет. Я не хочу быть значимой.

— А чего же ты хочешь?

И я ответила так честно, что это могло бы быть дерзостью. Я сказала:

— Я хочу домой.

Но Себби только широко улыбнулся, вытянул ноги, положив их на колени одному из солдат.

— Конечно, хочешь. Я знаю все, чего ты хочешь. Но речь не о тебе. Не о твоих жалких желаниях, страхах, привязанностях, целях и идеях.

Я вдруг улыбнулась. О, эта чудесная склонность нарциссических людей приписывать всем свое желание грандиозности и страх ничтожности. Себби и Рейнхард были не так уж далеки друг от друга.

Себби вздохнул.

— Вот, стоит заткнуть тебе рот, и ты начинаешь хамить мне мысленно. Ну да ладно, мы здесь не для того, чтобы ссориться. Дело в том, что ты имеешь некоторый доступ к офицеру Герцу, кажешься ему важной. И я хочу это использовать.

— Вы хотите подкупить меня? Но зачем, вы ведь можете получить все, что я знаю.

— Подкупать? Тебя?

Лицо Себби приняло капризное, злое выражение, затем он взял вишню, свет, забеливший точку на ее боку, кажется, развлек его.

— Знаешь, я всегда был богат. Это забавно, многие люди думают, что если ты богат, то с тобой не может случиться ничего плохого. Мы жили в особняке под Нордхаузенем. Красивое было место, и рядом такой лес — сочный до невероятности.

Себби говорил так искренне, с такой заразительной радостью, что я не могла не слушать его.

— Да, наш чудный дом был один на всю округу. Дальше только густая зелень, ручьи и озера. Совершенно дикое место. Его противоположностью был сад.

Себби закрыл глаза, но взгляд его словно бы не исчез, он держал меня.

— Там были розы, белые и красные. Моя матушка любила розы. Розы и снотворные порошки. И меня. Я был самым счастливым мальчиком на свете. Вы, — он кивнул солдатам. — Никогда не поймете, что значит быть любимыми с самого начала. Но да вам и не надо!

Он снова посмотрел на меня.

— Моя мать души во мне не чаяла. Однако, она была слабее моего отца.

— Зачем вы рассказываете мне такие личные вещи?

— А почему нет? Мы все равно едем, заняться, в принципе, нечем, а тебя слушать мне неинтересно.

— Понимаю.

— Мама называла меня птенчиком. Очень меня любила. Что до отца — он был единственным наследником крупного состояния. Только и делал, что проживал его. Мне никогда не нравилось, что на богатых бездельников смотрят сквозь пальцы.

Я подумала было, что Себби и сам такой, но его взгляд остановил мою мысль.

— Так вот, папенька очевидным образом спятил еще до моего рождения. Маме доставалось всегда. Я помню, однажды он воткнул ей в руку нож за ужином. Я тогда попытался ее защитить, но стало больно и мне. Нож был очень красивый — с цветами на рукоятке, такая тонкая работа по металлу, каждая линия идеальна. На нем тоже были изображены розы. Отец избивал меня, резал, а иногда он любил подносить огонь к моим пальцам. Я знал, что если отдерну руку, то мне будет больнее. Я всегда был хорошим мальчиком. Но однажды, мне тогда было двенадцать, я вдруг швырнул в него пепельницей. Это была отчаянная злость, которая не видит последствий. Я сделал это, и пару секунд был

вне себя от радости. А потом отец схватил меня. Он привязал меня к кровати. Я смотрел на потолок, расписанный позолотой, и думал, что сейчас он что-нибудь мне отрежет. Отец обещал, что я никогда больше не забуду о послушании. А я думал, придется мне жить без пальца или, скажем, без кисти. Отец принес из кухни ножницы для мяса. Некоторое время он сидел на стуле рядом со мной, словно я был больным ребенком, а он боялся за меня и любил. Он смеялся, прижимая лезвия к моим пальцам и запястью, оставляя царапины. Я плакал. Чтобы отвлечься, я смотрел на картины, развешанные по стенам. Знаешь, многие из них были подлинниками. Тогда я научился ценить искусство. Оно вправду обладает обезболивающим эффектом. Это то, чего многие не поймут.

Я ощутила себя очень неловко. Эти подробности из жизни Себастьяна Зауэра казались совершенно лишними, но в то же время в них была магическая, возбуждающая сила. Отчужденный от мира дом посреди леса, красота драгоценной старины, безумный мужчина, имеющий контроль над маленьким мальчиком. Искусство и извращенность. Богатство и сумасшествие.

— А потом отец взял меня за руку, и я понял, на этот раз он не шутит. Если только все предыдущее вправду можно было назвать шуткой. Ножницы тоже были сказочно красивые, серебряные, с изящными завитками на рукояти. Их лезвия были готовы сомкнуться на моем указательном пальце. Я отвернулся и стал смотреть в окно. Ветер трепал белые занавески, за ними был лес, такой огромный, зеленый и свободный.

Я подумала, что чувствую себя Ниной Рохау, вынужденной слушать чьи-то болезненные откровения, не имея к ним, по сути, никакого отношения.

— Когда я услышал, как лезвие погружается в тело, я подумал, что это мое тело, только боль еще не чувствуется. Однако ее вовсе не последовало, и я не чувствовал слабости. Я обернулся и увидел маму. Папа падал, а она стояла. У нее в руках был нож, измазанный красной, как вишневый сироп, кровью. Она была растрепанной, испуганной и очень сильной. Этим же ножом она перерезала веревки, которыми отец привязал меня. Затем она издала крик, полный отчаяния, и снова вонзила в отца нож. Это уже не было нужно, но мама повторяла свое отчаянное движение опять и опять, а я сидел на кровати и смотрел. Я болтал ногами.

Обилие подробностей, не всегда значимых, делало рассказ Себби еще более жутким. Мальчишка, садист-отец, окровавленный нож, лес, картины, смерть, смерть, смерть. Я пугалась в импульсах, которые его слова вызывали у меня.

— Зачем вы рассказали мне это?

— Мы так и оставили его лежать там. Он разлагался, его тело желтело, пухло, растекалось жидкостями в той красивой комнате долгое-долгое время. А мы закрыли ее на красивый ключ и делали вид, что ничего не происходит.

— Я не понимаю, чего вы добиваетесь.

Себби взял еще одну вишню и засмеялся.

— Да, собственно, ничего. Просто к слову пришлось.

Он съел вишню, сплюнул косточку и щелкнул пальцами. Солдаты схватили меня за руки. Я попыталась вырваться, скорее инстинктивно, чем действительно полагая, что у меня получится.

— Ты, Эрика Байер, разменная монета. Ты — товар. Любовь — это товар. Любовь заставляет людей делать невозможное.

Себби подался ко мне и погладил меня по щеке, в этом жесте не было никакого

сексуального подтекста, словно бы он скорее видел во мне идею, чем человека. Я попыталась укубить его, но он разжал мне челюсти, достал из кармана пузырек и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, влил его содержимое мне в горло. В своем желании не дать ему сделать это, я зашла слишком далеко, раскусила тонкое стекло пузырька, и осколки поранили мне десны. Себби почти заботливо вытаскивал их, все еще держа мою голову. Он навалился на меня всем телом, однако в его поведении был очищенный ото всякой сексуальности садизм.

Когда он отстранился, меня трясло от страха. Жидкость была горькой на вкус, казалось, что она даже подслащена моей кровью. Себби влил в меня что-то и, судя по его словам, он хотел шантажировать Рейнхарда. Я не знала, как эта жидкость подействует на меня, но чувствовала приближающуюся опасность. Распад моего тела или разума, суть которого я еще не понимала, пугал меня до слез. Расхожая фраза о том, что нет ничего хуже неизвестности обрела смысл.

— Передай офицеру Герцу, — сказал Себби. — Что ему не стоит интересоваться моими делами. Если выживешь, конечно. В том случае, если нет, ты сама станешь молчаливым посланием. Он поймет.

Начало его фразы дало мне надежду, ее конец разбил эту хрупкую конструкцию вдребезги. Я ощутила, как меняется мое состояние. Быть может, я не поняла бы этого, если бы Себби подлил мне этот яд. Но сейчас весь мой организм был настроен на ужас, который несла с собой жидкость, оказавшаяся во мне. Дискомфорт сменился глухой болью в пищеводе и легкой тошнотой.

— Вот мы и приехали, — сказал Себби. И прежде, чем я успела что-либо сказать (мир стал медленным, расплывчатым), Себби помахал мне рукой.

Солдаты снова подхватили меня, но я больше не сопротивлялась. Машина остановилась, и они выкинули меня из нее. Я приземлилась на мягкий газон, его влажная, холодная нежность почти принесла облегчение. Затем боль усиливалась, пока меня не стошнило. Я увидела на газоне большое, темное пятно, во рту возобладал привкус крови. А кроме того, я почувствовала, как что-то влажное, горячее, капает мне на руки. У меня из носа шла кровь. Страх заставил меня заплакать. Я все еще была в сознании, и мне необходимо было использовать эти минуты (а может даже секунды) для того, чтобы попытаться спастись. Я позвала на помощь, но мой крик был прерван новым приступом тошноты. Вкус крови во рту стал нестерпимым. Я попыталась подняться, шатаюсь, встала, наткнулась взглядом на луну и скользнула ниже. Я была совсем рядом с забором, дом за ним не был мне знаком. Это было утилитарно-роскошное многоквартирное сооружение. Здесь, наверное, и жил Рейнхард. Улей. Муравейник. Я сделала пару шагов к воротам, затем пошатнулась, упала и некоторое время самым бестолковым образом пыталась остановить кровотечение из носа. Я доползла до ворот, приподнялась и долго нажимала на звонок, оставляя на кнопке темные пятна. Этот звонок был моим единственным голосом, потому как кричать у меня больше не получалось — от страха я могла исторгнуть из себя только всхлипы (и очень-очень много крови).

Я подумала, что это конец. Я умру, я умру, я умру. Не было ничего страшнее этой мысли, состоявшей из двух слов. Я обняла прутья ворот, стараясь удержаться, хотя я уже упала. Я пыталась удержаться не на ногах, но на земле.

Мне так не хотелось умирать, я подумала, что не дописала свой роман, не попрощалась с теми, кого люблю, никогда не была матерью, не прочитала множество книг. Я не была и не стану, не узнала и не узнаю, не научилась и не научусь — это знание заставляло меня тонко

всхлипывать, и я подумала, что слабость, та самая, окончательная, станет спасением хотя бы от отчаяния. Я предприняла даже несколько попыток перелезть через забор, одна из них закончилась тем, что я упала на спину, и передо мной оказалась луна. Сначала она была серебряной, а затем показалась мне красной, почти рубиновой. В этой дымке было и его лицо. Я не услышала шума подъезжающей машины, я не услышала его шагов. Рейнхард возник словно бы из ниоткуда. Я хотела попросить его помочь мне, но с губ сорвалась только кровь.

Выражение его лица показалось мне совершенно незнакомым. Оно не было свойственно ему раньше, когда он был слабоумным, не было свойственно ему и после, когда он стал солдатом.

Рейнхард был испуган.

— Себби, — сказала я неожиданно ясно, и это вызвало новый приступ тошноты. Я перевернулась, выпустила из себя кровь и подумала, он не сможет мне помочь. Никто не сможет, даже мой сильный Рейнхард. Это вызвало новый приступ страха. Краем глаза я увидела Ханса и Маркуса.

— Я же говорил, — сказал Маркус. — Что от нее будут проблемы.

— И что ты будешь с ней делать? — спросил Ханс. Они стояли надо мной, и я смотрела на их сапоги, стараясь перестать бояться. Рейнхард молчал. Я почувствовала на себе его руки. Он пытался остановить кровь тем же нелепым образом, каким это делала я.

— Не знаю, — сказал он вдруг. — Она такая маленькая. Она же сейчас умрет.

И я поняла, что ему страшно ко мне прикасаться. А меня лихорадило и трясло, и я подумала, только возьми меня на руки, пожалуйста, я не хочу умирать совсем одна.

Ханс сказал:

— Я заведу машину.

И я подумала, а им ведь тоже не безразлично умру я или нет. Не из-за меня — из-за Рейнхарда. Я закрыла глаза, и Рейнхард взял меня на руки. Осторожно, словно крохотного, больного зверька.

Я почувствовала, что он поднял меня, прижалась к нему в приступе неожиданного, детского страха высоты. Рейнхард с осторожностью обнял меня, словно хотел согреть, но боялся повредить мне косточки (вовсе не в них заключалась моя нынешняя хрупкость). И тогда я подумала: Себби был прав. Рейнхард любил меня. Эта мысль вызвала внутри спазм, но и только. Все мои чувства стали до предела физиологичными. Я не заметила, как мы с Рейнхардом оказались в машине. Я не почувствовала и тепла — мне все еще было холодно. Рейнхард прижимал меня к себе.

— Я не хочу умирать, — говорила я всякий раз, когда мне удавалось что-нибудь сказать. Ханс вел машину, Маркус сидел рядом с ним. Они молчали, напоминая мне тех солдат, что держали меня в машине Себби.

Рейнхард гладил меня по волосам, я как никогда чувствовала его присутствие.

— Все будет хорошо. Мы едем ко врачу. К очень хорошему врачу. Все будет хорошо. Хорошо, да.

— Выглядишь забавно, — сказал Маркус.

Но Рейнхард не обратил на меня внимания. И я почувствовала, что он укачивает меня, легко-легко. Когда-то давным-давно, когда у Рейнхарда еще не было речи, чтобы сказать, что его волнует, я раскачивалась вместе с ним, чтобы показать, что сочувствую ему и хочу помочь.

Я так боялась, так плакала, и это было все, на что у меня еще оставались силы. Я смотрела в лицо Рейнхарда и видела любовь, нежность и страх перед тем, чтобы повредить меня. Это приносило короткие вспышки облегчения.

— А если она погибнет? — спросил он.

Маркус ответил:

— В таком случае, ее больше не будет. А ты что думал?

Казалось, они не приспособлены, чтобы ощущать такие вещи, а тем более говорить о них.

А потом я вдруг увидела, что его лицо изменилось. Он усмехнулся, затем оскалился. И я поняла, что Себби был куда изощреннее, чем мне казалось. Он хотел не только испугать Рейнхарда, он выбрал для этого самый отвратительный способ. Я истекала кровью, и я боялась.

Я зеркале заднего вида я могла смотреть на то, каким голодным и безжалостным становится выражение его лица. Искренняя, живая, испуганная нежность сменилась глумливым голодом, так ему свойственным.

Ханс сказал:

— Да, это все невероятно не вовремя.

А потом Рейнхард склонился ко мне, и я почувствовала, как он слизывает кровь с моих губ. Это было отвратительно, в этом не было нежности.

Затем во все хлынула темнота, и я почувствовала теплое облегчение.

Все кончилось. А потом я долго сидела на каком-то диване рядом с Роми и Вальтером. Мы были в комнате, которая, казалось, принадлежала нам, хотя я ничего о ней не знала. Шел дождь, и его стук сливался со стуком чьих-то шагов снаружи, за дверью.

— Кто это? — спрашивала я.

Роми говорила:

— Наверное, стоит включить телевизор.

— Кто там? — спрашивала я.

Вальтер говорил:

— Думаю, мы заперты здесь навсегда.

Комната так напоминала гостиничный номер — дешевый, с облезлыми обоями и диваном, который обнажил пружины. Я сидела между Вальтером и Роми. На Вальтере были красивые, блестящие чулки и атласное платье. Оно очень ему шло. Его красные губы с идеальным контуром шевелились, но я не поняла, что он говорит.

Я спросила:

— Кто там за дверью?

А Роми спросила:

— Почему идет дождь?

Она медленно, с какой-то жутковатой раскоординированностью, встала, а затем снова села на диван, словно действие ее было совсем бессмысленным.

— Их много за окном, — сказал Вальтер.

— Кого?

— Стены здесь красные. Но не везде.

Мне захотелось заплакать, но я не смогла.

— Они ходят внизу, за окном, — сказала Роми. — Их много. Все в них.

Она принялась тереть колени, словно от грязи.

— Так кто там? — спросила я. — Кто за дверью, Роми?

Я снова услышала шаги, они вызывали тревогу, в обрамлении дождя казались еще страшнее.

— Каждый день, с утра до вечера.

Здесь пахло сладостью и железом крови, и я подумала, что где-то есть ее источник. Стены ведь красные, подумала я. Посмотрев окно, я обнаружила за ним только темноту.

— Где они? — спросил Вальтер. Позвонили в дверь, затем затрещал телефон.

Я вдруг поняла, что вот она моя жизнь теперь: стуки, шаги, бесконечные звонки, мир в пределах комнаты, а за окном ходят неизвестные мне существа.

Но одно из них так близко. Спокойные, жуткие, нечеловечески мерные шаги. Шаги убийцы, подумала я.

— Или убитого, — сказал Вальтер. — Никогда не знаешь точно.

Тогда я встала и сказала:

— Мне нужно посмотреть, кто там ходит.

— Это из-за дождя, — пожала плечами Роми. — Не ходи, он выпотрошит тебя.

В этой унылой комнате я двигалась медленно, словно даже воздух здесь был тяжелее. А когда я подошла к двери, она вдруг открылась сама.

Глава 16. Завершенное разделение

Все было белое много-много раз подряд. Я открывала глаза, и в меня бился неудержимый свет, такой, что я не могла его переносить. Слабость и боль у меня внутри росли от этого света, и я предпочитала игнорировать его.

Я не знала, мертва я или нет. В сущности, я просто не мыслила подобными категориями. Сознание обрывалось, затем восстанавливалась, но во всем этом была спасительная пустота. Никаких мыслей о смерти, я даже не знала, что это такое.

Единственное, что занимало меня по-настоящему — белизна передо мной, и чтобы больше ничего не болело. Иногда я чувствовала, как в меня проникает игла, чувствовала мерзкое ощущение входящей в меня через капельницу жидкости.

Еще я ощущала, как кто-то берет меня за руку. Я не помнила его имени, но знала, что этот человек очень дорог мне. Что я нуждаюсь в его тепле. Это тепло и было, пожалуй, всем, что я помнила о жизни.

Затем все изменилось, вместо белого все стало золотым. И я подумала: это из-за меня? Сознание не стало яснее, но теперь тепло возвращалось чаще. Однажды я почувствовала, что его руки дрожат. Я подумала: Рейнхард. И почти в тот же момент ощутила вдруг, как он поцеловал меня в лоб.

Когда он уходил, тоже не было пусто. Я стала различать чужое присутствие, и хотя открывать глаза все еще было невероятно сложно — боль походила на сирену, она оглушала и пугала, на смену зрению вдруг пришло чувство другого порядка. Все мои прежние ощущения были такими смутными, что руководствоваться ими не осталось никакой возможности. Однако, нашлось иное. Внутри у меня словно звенела тончайшая антенна, улавливавшая потаенные потоки человеческого в комнате. Я не слышала, но я ощущала, когда кто-то приходил ко мне. Слова казались, в большинстве своем, бурной речкой, где тонул всякий смысл, оставалось только журчание. Сердце было как солнце, оно видело всех и с большой высоты, но визуальные образы были здесь не причем.

Я узнавала: Маркус, Ханс, Рейнхард. Затем: Ивонн, Лили, Лиза. Иногда: Отто.

Я подумала, где Роми и Вальтер? А когда слабость накатывала на меня с новой силой, мы втроем снова оказывались в той пустой, лишенной покоя комнате с единственным темным окном. И вопрос отпадал сам собой.

Он ухаживал за мной, словно за ребенком. Они сидели рядом, полные скуки и тайного волнения, принадлежавшего не им. Девочки приходили ко мне с тонкой, прозрачной грустью, одетые в нее, как в шифон.

Я не видела их, и любые слова были от меня далеки, но само присутствие стало для меня чувством.

В конце концов, становилось все яснее, что я не умираю. Вместе с этим знанием приходили и воспоминания о смерти. Смерть — это страх, распад, ужас перед небытием. Она оказалась совершенно нестрашной, потому что там, где я распалась, перестала быть, по крайней мере в психическом смысле, никакого страха не было. Не было ничего, в том числе и ужаса, который должен был отделить меня от мира.

Как выяснилось, это делали совершенно другие вещи: теплое спокойствие и уверенность в надвигающейся темноте. Я не знала, сколько времени прошло, и как оно

вообще идет.

Однажды Рейнхард лег рядом со мной, и я могла ощущать его тепло долго-долго. С одинаковой вероятностью я могла пребывать в этом странном состоянии два дня и два года. Я подумала, а что если крошка Эрика Байер впала в кому, и все безвозвратно и страшно изменится, когда я очнусь.

Эта тревога значила, как ничто другое, что я вновь становлюсь самой собой. Из кого-то, наделенного способностью только воспринимать, я выросла в того, кто снова умеет осознавать. И это, в конце концов, привело меня к тревожным спазмам мыслей, столь для меня характерных.

А первыми словами, которые ворвались в мое сознание, были слова Лили:

— Знаешь, Маркус, я вправду боялась, что от тебя ничего не останется.

Меня все это несколько оскорбило. Мой статус в этом обществе окончательно приблизился к некоей растительной культуре, раз при мне обсуждались столь личные вещи. В то же время я ощутила аморальное любопытство, которое подавило во мне все крохи возмущения. Интерес к жизни и таким ее проявлениям, как Лили со своей занудной моралью, вспыхнул с новой силой. Я почувствовала желание перевернуться, спина затекла. Также меня посетило приятное чувство голода. Все это, впрочем, затихло, как только Маркус, смеясь, ответил:

— У меня для тебя, как и для идеалисток, на тебя похожих, как всегда плохие новости.

Наглость и злость Маркуса вовсе не казались мне странными. Хотя в той, другой, жизни это был кроткий и честный человек, в нем должно было содержаться нечто такое, что заставляло его проявлять сейчас похожую на огонь, постоянно поддерживающую его злость.

Маркус, в конце концов, содержал в себе ту грязь, что вытаскила наружу Лили. Это было правдой о солдатах, они не брались из ниоткуда. Содержимое их разумов мы вытаскивали наружу, мы отрывали друг от друга уже существующие части. Быть может, Маркус потратил значительную часть своей жизни на то, чтобы относиться с уважением ко всем живым существам, на то, чтобы быть, а может казаться, лучше, чем он есть.

И это Лили разрушила, вместе с определенными связями в его мозгу, плотину, сдерживавшую море не самых приятных чувств. С этой точки зрения действительно было забавно, и я поняла, почему Маркус засмеялся.

Так всегда бывает. Ты всю жизнь пытаешься отмыться от грязи, которая в тебе есть, а затем окунаешься в нее с головой и понимаешь, что никогда даже близок не был к тому, чтобы стать по-настоящему чистым. Удовольствие Маркуса от того, чтобы больше не выдумывать себя было очевидным.

Судя по всему, они стояли у окна, свет приходил оттуда же, откуда голоса. Медленно, но верно, я ощутила, что они находятся в другом конце комнаты, достаточно далеко от меня. Однако это знание все равно не позволило мне открыть глаза. Я слишком боялась спугнуть их.

Лили сказала:

— Я знаю, почему ты хочешь вызволить Кирстен Кляйн.

— Забавно, что ты так думаешь.

Голос его был наполнен все той же горячей злостью, однако мне казалось, что Маркус бережнее с Лили. Может быть, это было обманчивое впечатление, возникшее оттого, что не так давно я видела Маркуса, поджигавшего людей. На этом фоне практически любое общение с ним, исключаящее огонь, станет казаться приятным.

— Маркус, — сказала Лили своим серьезным, очаровательным в этой безапелляционной беззащитности тоном. — Ты можешь ничего от меня не скрывать.

— Хорошо, договорились, ничего не буду скрывать. Вчера я заставил человека выпить хороший шнапс, а затем взять в рот горящую спичку. Это было весело, но как-то мелко для человека вроде меня. Хотя и отсылало к минету, как к форме социально-политической активности.

Я представила выражение лица Лили, так что мне с трудом удалось не засмеяться. Пережитый опыт умирания, надо признать, сделал меня циничнее. Лили, однако, вместо того, чтобы развернуться и уйти, как она делала это, когда нечто в мироздании оскорбляло ее глобально и необратимо, вдруг сказала:

— Маркус, я создавала тебя. И я знаю, что ты за человек. Я видела.

— Нет, ты думаешь, что знаешь. Хотя это тоже приятно. Ты ведь моя маленькая фанатка, так?

Они говорили на "ты", и это было показательно. Связь между нами и солдатами, которых мы создали, была неизбежной. Она не обязательно была любовной, но она была сильной, мощной и истинной. Возможно, мы были последними настоящими людьми, которые могли быть им близки.

Я подумала, что Маркус легко, без раздумий убил бы Ивонн, но не причинил бы ни малейшей боли Лили. Так что его грубость казалась практически забавной. Видом защиты.

— Эрика рассказала нам о тебе и Кирстен Кляйн.

— Маленькая сучка. Нужно будет задушить ее подушкой, пока Рейнхард не вернулся.

Я мысленно выругалась. Лили никогда не отличалась какой-то особенной тактичностью, однако я надеялась, что она не станет пересказывать Маркусу то, что я про него узнала хотя бы из уважения к моей болезни. Может быть, она считала, что я теперь не жилец?

Все стало казаться мне таким забавным. Быть может, разум, придя в себя, решил, что мир вовсе не такая серьезная штука, какой я его представляла.

— Прекрати.

Я услышала щелчок портсигара, затем кто-то, скорее всего Маркус, закурил. Я с наслаждением втянула носом запах табака.

— А, да, конечно. Если уж ты попросила, я постараюсь забыть все свои мелкие обиды. Кирстен Кляйн волнует меня меньше всего на свете. Даже меньше, чем твоя подружка Эрика, потому что жалкий страх Рейнхарда передается и мне.

Я почувствовала себя польщенной и оскорбленной одновременно.

Некоторое время Маркус и Лили молчали. Наконец, она сказала:

— Я не уйду. Можешь думать обо мне что хочешь. Можешь даже говорить, что хочешь. Но я не хочу тебя потерять.

— Еще раз?

— В первый раз.

Все эти глубокомысленные, драматические разговоры развлекали меня, словно телешоу. В Маркусе однако оставалось что-то отвратительное. Мне хотелось помыть руки. Слово в самом голосе его содержалось все то, что он прежде пытался скрыть, и оттого оно ощущалось загрязняющим. Они снова замолчали, и я подумала, что если так пойдет и дальше, то пора явить себя миру хотя бы потому, что оставаться наедине с собой будет невыносимо. Но Маркус вдруг сказал:

— Мы были друзьями.

— Что?

— Ты ведь слышала, что я сказал, так? Я хорошо ее помню. Сначала она была моей маленькой поклонницей, как ты. Я уходил с работы, и она ждала меня возле университета. Ей хотелось обсудить то, что казалось мне тогда важнее всего на свете. Ей вправду было интересно. Она была совершенно непохожа на людей, окружавших меня. В ней не было бюрократической бездушности академика или ленивого безразличия студента. С ней мне нравилось не только говорить, но и слушать. Мы очень быстро подружились.

— Ты не называешь ее по имени.

— Зачем?

— Она была твоим другом, Маркус.

Я услышала его смех.

— Ты, значит, считаешь, что можешь вернуть мне человечность занудными, задушевными разговорами.

— Ты только что почти доказал это.

— Нет. Но ты, дорогая, меня не дослушала. Я хотел завершить эту чувствительную тираду оглушительным крещендо: мне плевать на Кирстен Кляйн, жива она или мертва меня не волнует. Она — ничто, ее мысли и чувства — ничто. Все — это только сила. И теперь сила это я, это Рейнхард, это Ханс. Из нас не делают сумасшедших фанатиков Нортланда, Лили, милая. Из нас делают эгоцентриков, почти солипсистов.

Он говорил об этом с такой страстью, в которой я даже усмотрела надежду. В конце концов, Лили сказала:

— Значит, ты не хотел ей помочь.

— Нет. Жизнь разочаровывающая штука в этом плане. Но я могу сказать тебе кое-что, что тебя порадует. Я хотел помочь Отто. Кирстен Кляйн и я не можем ничего о нем рассказать. О его причастности к...

Маркус замолчал, видимо демонстрируя борьбу с собой.

— Моя фратрия знает об этом через меня. У них запрета на разглашение этой информации нет. Однако мы с Кирстен в некотором роде заложники собственных знаний. И, понимаешь ли, дорогая Лили, мы хотим изъять Кирстен Кляйн прежде, чем она сможет рассказать о твоём дружке что-то полезное.

— То есть, вы делаете это для него?

— Ты снова меня не слушаешь. Прежде, чем она сможет рассказать что-то полезное нашему врагу. Сама Кирстен Кляйн здесь имеет не больше значения, чем кассета с важными сведениями.

— Ты мне врешь.

Я подумала, что Лили сейчас стоит, скрестив руки на груди, с выражением отчаянного неодобрения на лице. Мне захотелось улыбнуться.

— Думай, что хочешь.

— Даже если ты, Маркус, считаешь, что говоришь чистую правду, ты на самом деле лжешь. И я рада, что это так.

— Я думаю, что ты защищаешься от мысли, что я держу тебя в заложниках. Что я, и такие как я, владеем четырьмя пятыми имущества в нашей прекрасной стране, что надо мной нет законов, потому что я — закон для вас, что я могу совершать то, что для вас будет преступлением, что я управляю, а вы подчиняетесь. И ты, Лили Бреннер, с твоими

способностями, главной из которых является все-таки усидчивость, создана для того, чтобы создавать и обслуживать таких, как мы. Будь я на твоём месте, безусловно я стремился бы к сладостной иллюзии, что созданное мной все-таки, хоть частично, кое-как, любимым доступным образом, человек.

И прежде, чем Лили ответила, Маркус сказал:

— Наше с тобой дежурство, кстати, закончено. Посмотри, не умерла ли она там.

Лили подошла ко мне, склонилась, и пока ее волосы щекотали мне лоб, я пыталась придать себе бессознательный вид. А еще я подумала: Маркус ведь чувствует, что мое сердце бьется. Потом я слушала их удаляющиеся шаги, затем скрипнула и закрылась дверь. Наверное, Маркус сказал все это не просто так. Не только для Лили, но для и меня.

Он знал, что я очнулась, может быть, чувствовал по моему дыханию или по биению сердца, как Рейнхард. Он хотел сказать мне, что моя привязанность к Рейнхарду — ложь. Что я обманываю себя во всем.

Быть может, это было правдой. Но для Маркуса куда выгоднее убедить меня в том, что так и обстоят дела. Он не хотел этих чувств. И я впервые подумала, по-настоящему серьезно, о том, что делу Рейнхарда с Хансом и Маркусом, и в них отзывается все, что он чувствует ко мне. Быть связанным с человеком, совершенно тебе безразличным, чужими чувствами, должно быть, очень мучительно.

Я улыбнулась. Если я и могла отомстить им за то, кто они есть, то уж точно не упустила бы этой возможности. И чужие, навязанные им чувства стали моей маленькой мстью.

Эта мысль успокоила меня, и вместе с ней я еще ненадолго заснула. Мне больше не снилась странная комната, не снились Роми и Вальтер. Все было темным и спокойным, пока не зазвучала музыка.

Она была страстной, ворвалась в меня, в мой мозг, словно сноп искр, словно продолжение огня, принесенного Маркусом. Это был Вагнер с присущей ему болью, восходящей к кульминации вместе с нотами, с его мещанским восхищением прошлым, с его волей, заставить сердце биться в такт с мыслями и чувствами человека, погибшего задолго до войны, но принесшего ее с собой, с этой музыкой. Она оживала под пальцами, словно труп, исходящий соками и густой, черной кровью. В этом была не только мерзость, но и победоносная сила. Чьи-то пальцы воспроизводили эту музыку так страстно, словно ее играл сам Вагнер.

Гибель богов. Как символично.

Во всем этом было столько гибели. Столько тоски по золотым богам и героям. Столько страсти.

До самого конца я не верила, что играет Ханс. Мне не казалось, что он способен с таким восторгом воплотить в жизнь Вагнера. А потом я вспомнила, что когда-то Ханс любил гонки, что до страшной аварии он, вероятно, знал, какими острыми становятся чувства, когда скорость все возрастает и возрастает.

Незапятнанный временем Вагнер сходил с его пальцев, вмещая в себя все, чем был Ханс до того, как от него осталось только то, что пожелала фрау Бергер и то, в чем нуждался Нортланд.

Когда он закончил играть, мне захотелось заплакать.

— Я знаю, что вы очнулись, — сказал Ханс. — Маркус передал мне. Прошу прощения, что прерываю ваш сон.

Я молчала. Мне не хотелось говорить с человеком, который мучил Роми. Пальцы Ханса

изъяли из фортепьяно еще несколько мелодичных звуков. Теперь я знала, по крайней мере, что в комнате, где я лежу, есть музыкальный инструмент. Уже за это мне стоило быть благодарной Хансу.

— С моей стороны было невежливо играть, пока вы спите. Однако, вы отдыхали достаточно. Я подумал, что это вас развлечет.

Я сильнее зажмурилась. Мне хотелось оттянуть возвращение в этот полный проблем мир. По крайней мере, до прибытия Рейнхарда. Ханс вздохнул:

— Понимаю ваше нежелание со мной общаться. Тем не менее, я рад, что вы присоединились к нам снова.

Эта радость не принадлежала ему. Я, как объект в бесконечной Вселенной, обладавший столь ограниченным количеством смыслов, значила для него совсем мало.

— Я полагаю, — продолжал Ханс. — Что все мы вместе, включая существ менее разумных, вроде животных или, тем более, растений, составляем единую общность. Поэтому сказать, что жизнь приветствует вас, не будет большим преувеличением. Мы все стремимся к выживанию, творчеству и размножению, пытаюсь распространить себя в мире. Жизнь — это экспансия. У нашего непередаваемо огромного сообщества — одна цель. Так что, пожалуй, я способен рационализировать радость, которую приносит мне то, что вы очнулись, фройляйн Байер. Между нами говоря, мне захотелось сыграть вам.

А мне захотелось накрыться одеялом с головой. Только что Маркус утверждал, как мы различны. Теперь Ханс говорил о фундаментальном сходстве всех ныне живущих. Я была согласна с обоими.

Разница между мной и Хансом была минимальна с точки зрения вечности, в которой все однажды обращается в небытие. С такого ракурса все существующее между собой бесконечно сходно, тогда как все прекратившее свое существование с ныне здравствующим так же фундаментально различно.

В то же время качественная разница между мной и Маркусом также была очевидна. Я не обладала, к примеру, сверхчеловеческой силой, мой голод не утоляла кровь, я не решала судьбу страны за чашкой кофе и не умела обращаться с оружием.

Я не обладала властью. Это была сущностная характеристика.

Ханс, тем временем, продолжал:

— Вы, фройляйн Байер, несомненно считаете, что мы воплощаем собой зло.

А что еще они могли воплощать в мире, где даже гражданское право напоминает зло? Нортланд переполнен им, оно движется в нем, как кровь. Рейнхард и его фратрия всего лишь компания живехонько передвигающихся в этих потоках эритроцитов.

— Однако, мы, как и вы, хотим жить и, по возможности, делать это хорошо. Это очень простая установка. Практически императив. И так уж получилось, что мы должны делать это за счет других. Ни один из нас не выбирал.

Я уже слышала это. И как же мне было сложно не ответить.

— Тем не менее, ваш друг герр Брандт в надежных руках. Мы хотим ему помочь. Если все получится, крови будет очень мало.

Он, впрочем, не сказал, что ее не будет совсем.

Ханс закрыл крышку рояля и сказал:

— Отдыхайте. Еще раз прошу прощения.

Странно, когда не отвечаешь людям, они начинают столько говорить. Словно только и ждут того, чтобы ты, наконец, заткнулся. Как мало важного в ответных словах, как они

пусты.

Когда Ханс вышел, я пожалела о том, что не говорила ему ничего. Я тосковала по Рейнхарду, Ханс и Маркус были всем, что у меня от него осталось с момента окончательного прихода в сознание.

Рейнхард появился вскоре. Я рывком села на постели, когда он только открыл дверь. Мы смотрели друг на друга, а потом он подошел ко мне нарочито медленно, почти прогулочным шагом.

— Эрика, — сказал он. — Не ожидал увидеть тебя в добром здравии.

— Отвратительно старомодное выражение, — сказала я. — Не ожидала его от тебя услышать.

А потом он поцеловал меня и обнял совсем по-другому, чем раньше. В прикосновениях его стало столько отчаянной нежности, что она угрожала затопить меня с головой. Рейнхард боялся меня потерять. Он впервые (и первый) боялся меня потерять. И я почувствовала себя особенной, единственной для кого-то. Все это было глупой, гендерно обусловленной фантазией, нужной для поощрения женских паттернов поведения во мне.

Но мне хотелось плакать оттого, с какой любовью и бережностью Рейнхард относился ко мне. Когда он отстранился, впрочем, на его губах играла самодовольная улыбка.

— Ты была не совсем в себе три дня. Так что, пока ты не стала острить на тему всей жизни, я, пожалуй, сообщу тебе, что мир нуждается в твоей помощи.

— Это значит, ты нуждаешься во мне?

— В данном случае я солипсист.

И я подумала, что рада участвовать в чем-либо, пусть даже опасном или бессмысленном. Рада быть частью всего, о чем говорил Ханс.

Рада жить.

Глава 17. Косвенный язык и голоса безмолвия

Мы были в безупречном доме, ровно так я его про себя и назвала. Все это было в высшей степени забавным, потому как я очутилась в месте, так похожем на то, что описывал мне Себби. За каждым окном был лес, и мне казалось, будто дороги отсюда нет.

Все было таким красивым, что, в конце концов, казалось ненастоящим, игрушечным. Тонкость каждой незначительной вещицы здесь была фактически декоративной. Подсвечники, шкатулки, шкафчики, ручки на дверях, все было сделано так, словно не имело никакой другой функции, кроме услаждения зрения.

Все эти вещи должны были быть крошечными, чтобы их можно было поместить в кукольный домик. Все казалось мне неудобным — запутанные коридоры, винтовые лестницы, с которых слишком легко упасть, резные узоры на подлокотниках, куда невозможно на самом деле положить руки.

Так что, несмотря на красоту, все вокруг было каким-то болезненно неудобным. Особенная строгость роскоши. Держи спину прямо, ходи осторожно, а лучше стой на месте. Все удовольствие предназначено для глаз, остальное, напротив, должно содержаться в аскетичной суровости. Даже кровать в моей комнате показалась мне, по зрелому измышлению, не слишком удобной. Зато меня окружали прекрасные картины на стенах, роскошные диваны, обитые черным бархатом, белоснежный рояль, укрытый кружевом. Все было таким прекрасным и чужим.

И хотя комната уже принадлежала мне, я пребывала здесь достаточно долго для того, чтобы оставить дыхание жизни, чувствовалась в ней и интуитивно во всем доме нечто запустелое. Он был словно прекрасный сад, первый год покинутый хозяевами. Состояние этого дома еще не было определено — его нельзя было в полной мере назвать заброшенным, однако некоторая сухая, лавандовая пыльность и тоска уже оседали на каждой поверхности. Этому дому не хватало обитателей.

Встать оказалось тяжелее, чем я думала. Как быстро мое тело забыло о том, для чего было заботливо выпестовано эволюцией. Прямохождение оказалось непростой задачей, меня шатало, как пьяную. Поддерживая меня на очередном, не слишком удачном, повороте, Рейнхард сказал:

— Тебе нужно поесть.

— Вели слугам подать жаркое.

Я махнула рукой, и это непредсказуемо подействовало на мою маневренность. Рейнхард снова поддержал меня, затем взял на руки.

— Это дом Ханса. Ханс утверждает, что таков был его подарок на восемнадцатилетие.

— А мне подарили колечко с лунным камнем.

— А мне дали вторую порцию яблочного пирога. Впрочем, мы не об этом.

Я обняла Рейнхарда за шею, принялась рассматривать подарок Ханса.

— Так я никогда не научусь ходить заново, — сказала я. — Поставь меня.

Я не удержалась и поцеловала его в лоб.

— Меня раздражает мельтешение.

Рейнхард не говорил мне, что от меня, собственно, нужно. Но я не спешила переспрашивать. Теперь, снова перебравшись из глубин своего подсознания в область

реального и значимого, я хотела насладиться этим сполна.

Роскошь здесь отличалась от той, что я видела в гостинице. В ней не было натянутости, что одновременно лишало ее драматичности и особого рода безвкусицы, строящейся на подражании стилю. Здесь все было предельно настоящим. Богатство, как образ жизни многих поколений, представляло собой почти отталкивающее зрелище. Его место было в музее.

Безупречная столовая с длинными окнами, длинным столом, длинными пейзажами на стенах и стульями с высокими, обитыми тканью спинками, даже вышивка на которых стоила так дорого, что прикасаться к ней было кощунством — все это выглядело осиротевшим без сновавших вокруг слуг.

На задрапированном столе обосновались красивые тарелки с разогретыми полуфабрикатами. Я засмеялась.

— Что с тобой? — спросил Рейнхард. — Твой разум безвозвратно поврежден?

— Это абсурд есть сосиски из бумаги и надежд в таком месте.

— Пижама Ханса сделала тебя привередливой.

Я скептически осмотрела себя. Шелковая пижама на мне ощущалась, как перспектива бессмертия или облегчение после долгой болезни (второе, впрочем, было общей характеристикой моего нынешнего состояния). Цвет ее был белый, но шелк поблескивал в электрическом свете, и я казалась самой себе каким-то сказочным существом. Пижама была мне велика, оттого почти потеряла подобие силуэта и казалась просто тканью, в которую меня хитрым образом завернули.

— Спасибо, Ханс, — сказала я.

Они сидели за длинным столом. Ханс, Маркус, Ивонн и Лили с одной стороны, а Лиза — с другой. Она ела конфету за конфетой из хрустальной миски и аккуратно складывала фантики.

— Вам не за что меня благодарить, — сказал Ханс.

— Она тебе даже не подходит, — добавил Маркус. Он то и дело щелкал зажигалкой, но когда Маркус потянулся за салфеткой, Ханс стукнул его по руке.

— Прости, но нет.

А я подумала, что они могут быть почти забавными. Маркус снова щелкнул зажигалкой, посмотрел на меня, сквозь язычок огня и широко улыбнулся.

Рейнхард усадил меня за стол и пододвинул ко мне тарелку.

— Надеюсь, ты потерпишь мещанскую еду.

— Я думала, скорее ты не сможешь с ней смириться.

Рейнхард и вправду не ел. Казалось, сосиски с сыром вызывают у него личную, глубоко прочувствованную неприязнь. Я же накинулась на еду с неожиданным для себя аппетитом. Жирное, жареное, пересоленное на пару минут заняло в моей душе все место. Я ела, забыв о том, где я и с кем, и не было ничего, кроме животного счастья утоления голода.

Быть может, так же чувствовали себя солдаты в Доме Жестокости.

Странное дело, мне не хотелось рассказывать Рейнхарду о том, как я испугалась, о том, как благодарна ему за то, что он был рядом. Все это стало слишком личным, почти постыдным, эти чувства хотелось спрятать. В то же время я хотела быть рядом с ним, физически ощущать его тепло.

Рейнхард тоже не говорил ничего об инциденте с Себби, словно бы все было забыто, и то, что ощущаю теперь я, его совершенно не интересовало.

Лили и Ивонн держались куда менее испуганно, чем раньше. Ивонн пила вино, то и дело подливая в бокал еще рубиновой жидкости из пыльной бутылки.

— Этому вину, — сказал Ханс. — Тридцать четыре года. Думаю, вы пьете его несколько поспешно, фройляйн Лихте.

Ивонн послала ему воздушный поцелуй и снова сделала глоток. Лили возила вилкой по тарелке. Все это напоминало семейную сцену из какой-то черной комедии. Не хватало трупа в ванной.

Все были по-особенному напряжены. Словно бы ждали чего-то. За окном щебетала птичка, был день в самом разгаре, золотой и зеленый, и еще в пятнах цветов. Сада не было, однако дом окружали кусты ирисов и гортензий. Все казалось мне невероятно ярким, словно кто-то щедрой рукой добавил красок в происходящее. Я долгое время не замечала, что Лиза болтает.

Ее голос звенел, струился, был похож на ручей, извинаящийся между камней.

— Я так мечтала об этом, — говорила она. — Так мечтала! Однажды, мне даже снилось, как я нахожу вас. Обычно мне снится еда, но тут мне снились вы.

Сказав слово "еда", Лиза облизала пальцы. Некоторая перемена в ее интонации, грудной, чуточку слишком интимный голос давали понять, о какой именно еде она говорит. И хотя Лиза слизывала с пальцев сахар, слишком легко представлялась на ее языке кровь.

— Снилось, — говорила она. — Что я больше никогда не буду одинока. Это такое тепло. Я никогда не испытывала такого тепла. Ну, может быть, в детстве. Очень давно. Но я плохо помню.

Рейнхард, Маркус и Ханс слушали ее с одинаковыми выражениями лиц — чуть удивленными, несколько скептическими. Казалось, она говорит на чужом для них языке.

— Ну, знаете, — повторила Лиза, подавшись вперед. — Тепло.

Я посмотрела в окно, на нежный кружок солнца, питающий все вокруг, и подумала, что примерно понимаю, о чем говорит Лиза. Ивонн закатила глаза. Лили сказала:

— Лиза, ты, наверное, не уверена.

Лиза тут же обратилась к Лили. Ей было свойственно какое-то особенное, хищное внимание к собеседнику. Лиза снова подалась вперед, протянула руки к Лили, погладив пальцами стол совсем рядом с ней, как игриво перебирающая лапками кошка.

— Почему ты так решила?

— О чем вы вообще? — спросила я.

— Ты все пропустила! Хорошо, что ты выздоровела, теперь я все тебе расскажу. Значит, слушай...

Казалось, Лиза с еще большим рвением играет дурочку. Я понимала, зачем ей это нужно. Ей не хотелось показывать солдатам, что она — достойная соперница. Так было, пожалуй, безопаснее для Отто. Лучший выход для Лизы — не иметь веса в интригах, считаться приложением к Отто, его милой куколкой.

— Мои новые друзья сказали, что могут присоединить меня к себе. Что им тоже кого-то не хватает. Как мне.

Я посмотрела на Рейнхарда, Ханса и Маркуса. Если им и вправду кого-то не хватало, это было незаметно. Маркус снова щелкнул зажигалкой.

Огонь, подумала я, много огня. Он был с радостью поджег весь мир. Ведь, если подумать, этого Маркус и хотел. Раньше, будучи цельным, человеческим, он маскировал эти желания за идеями о тотальной реорганизации общества. Теперь Маркус мог быть

честным с самим собой — он хотел посмотреть, как горит все на свете. Рейнхард вырвал у него из рук зажигалку и закурил.

— Но действительно, Лиза, — сказал он как можно более мягко. — Мы ни к чему тебя не принуждаем. Это предложение, от которого вполне можно отказаться.

Она вдруг вскочила, прошлась вдоль стола, каблучки ее застучали по паркету. Я почувствовала себя бесконечно чужой в этой столовой. Хотя "бесконечно" все же слишком сильное слово — Лили и Ивонн, наверняка, ощущали себя так же. Мы даже пододвинулись друг к другу, испытывая невольную солидарность видов.

Я не понимала ни единого ее чувства. Лиза расхаживала по столовой, не руководствуясь ни одной из известных мне эмоций. А вот Рейнхард и его фратрия все понимали.

— Я люблю Отто, — сказала она. — Так люблю! Как никого на свете! Но он не поймет, никогда-никогда не поймет, как это — быть одной. Он никогда не был настолько один.

Слово "насколько" Лиза выделила, словно оно было лезвием, которым Лиза наносила себе рану. Она зажмурилась, затем распахнула свои особенные, кукольные глаза.

— Я всю жизнь была совсем-совсем одна. Я лежала в комнате и даже не думала ничего. А потом, когда Отто достал меня оттуда, все сразу стало таким сложным и приятным. Но я всегда чувствовала пустоту вот здесь.

Лиза постучала себя пальцем по виску, Ивонн засмеялась, но мы с Лили одновременно шикнули на нее.

— Это как будто у меня не хватало руки или ноги. Или даже больше. Куска моего сердца. Я должна была быть связанной с кем-то. И без кого-то я чувствовала себя крохотной. Не существом, а только подобием существа. Как...

Она замолчала, а затем выпалила.

— Как тератома. Я должна была стать кем-то самостоятельным, но развилась неправильно. Я стала уродливым куском себя. Без разума.

А я подумала, ведь то, что Лиза говорит — абсурдно. Ее разум самостоятелен, эмоции принадлежат ей, и она кажется намного более свободной, чем любой из солдат. Лиза схватила один из стульев, прижала его к себе, словно хотела с ним потанцевать. Его вес был для нее не больше веса плюшевой игрушки, оттого легкость, с которой она обращалась с этой немаленькой вещью, была странной и тревожащей.

— Я часто представляла, что будет, когда я найду таких, как я.

— Фройляйн Зонтаг, — сказал Ханс. — Это изменит вашу жизнь.

— И никто из нас не гарантирует, что эти изменения пойдут вам на пользу.

— Нас будет четверо. Всегда.

Лиза отчаянно кивнула. А я вдруг переглянулась с Лили, увидев в ее глазах отражение собственных чувств. Никто не спрашивал нас. Судя по всему, именно нам предстояло соединить их. Я не знала, как именно и не знала, сумеем ли мы вообще. Я сидела здесь, размышляла на эту тему, однако мои чувства и чаяния никого не волновали. В этом разговоре у нас с Лили и Ивонн было не больше прав, чем у инструментов перед началом работы.

— Да, всегда, — сказала Лиза.

— И ты не пожалеешь? — спросил Рейнхард.

— Не пожалею.

Рейнхард вдруг хлопнул в ладоши, так что я вздрогнула.

— Значит, решено.

Он улыбнулся, то ли изображая, то ли испытывая радость.

— Ванная достаточно торжественное помещение для этого действия?

— Нет, — сказал Ханс. — Я, однако, настаиваю на ней. Вдруг будет много крови.

— Вдруг? — спросила я.

Рейнхард помог мне подняться.

— Твоя задача, — сказал Рейнхард. — Соединить нас. Я не знаю, как это будет происходить. Но это ничего. Маленькие сюрпризы и составляют великую прозу жизни.

Он казался необычайно, обаятельно взвинченным. Покрутил меня, словно в танце, несмотря на мое негодование. Лили и Ивонн встали. Взглянув на Маркуса, Лили словно сказала ему что-то. Маркус пожал плечами.

Ивонн так и не смотрела на Ханса. И хотя связь между ними была такой же сильной, как и между мной и Рейнхардом, Ивонн избегала показывать это. Она чувствовала себя виноватой.

В отличие от меня, она перекроила человека, имевшего прежде жизнь, разум и, возможно, счастье. В отличие от Лили, она сделала это по собственному желанию, все это время брав деньги от фрау Бергер. Наверняка, Ханс помнил это.

Лиза захлопала в ладоши. Вдруг все вокруг показались мне актерами, терпеливо играющими свои роли. Элементы спектакля были повсюду, даже декорации казались слишком прекрасными для того, чтобы полноценно, трехмерно присутствовать в реальности. Несмотря на искренность желаний Лизы, я неожиданно подумала, что ей хочется обезопасить Отто.

Они больше ничего не скроют от нее.

Несмотря на явное ощущение родства между Рейнхардом, его сестрой и Лизой, я почувствовала, что и им выгодно привязать ее к себе. Каждый здесь имел дополнительный мотив, кроме чувств. Словно в старой пьесе, где в самом конце, в хорошенькой гостиной выстреливают все ружья, спокойно висевшие на стенах в первом акте.

Напыщенные слова, насыщенные краски. Мне захотелось хлопнуть в ладоши, и я некоторое время ждала, пока опустится занавес.

Рейнхард, однако, повел меня за собой, представление продолжалось. Мы прошли сквозь темный коридор: бордовые стены, бордовый пол, бордовый потолок и черно-белые фотографии бесконечных Бергеров.

В конце коридора, незадолго до нужной нам двери, я увидела фотографию самого Ханса. Он широко и весело улыбался. На нем была модная гоночная куртка, в руке он крутил очки. В самом этом движении, неловко запечатленном камерой, была веселая наглость, которую шумно не одобряла фрау Бергер.

Ханс, тем не менее, казался очень приятным. Герой романтического фильма или кто-то в этом роде. Он и сам замер перед собственной фотографией. Посмотрел на нее, склонив голову набок.

Я подумала, даже если бы Ханс улыбнулся, у него больше не получилось бы быть похожим на паренька с фотографии. Он им больше не был.

Мы вошли в ванную, и когда Ханс включил свет, все показалось мне совершенно ослепляющим — хрусталь, зеркала, лампы повсюду. Ванная была такой просторной, что могла бы служить мне гостиной. Все сияло. Даже золото кранов от бесконечного света казалось распавшимся на искры.

Я встряхнула головой, чтобы очертания комнаты встали на место. В ванной мы могли

бы поместиться всемером. И, наверное, хватит места даже для Отто. Рейнхард запрокинул голову, рассматривая себя в зеркальном потолке.

— Ханс, — сказал он. — Это потрясающе.

— Потому, что здесь нет ни одной поверхности, в которой ты не можешь себя увидеть? — спросил Маркус. А Ивонн сказала:

— Пожалуй, нужно принести шампанское.

Глаза ее светились чистым, нежным восторгом. Так выглядят, наверное, люди, впервые в своей жизни влюбившиеся.

Несмотря на блистающую красоту ванной комнаты, здесь отсутствие хозяев было еще более очевидным. Никаких зубных щеток, шампуней, кремов. Пространство, которое для всех оставалось чужим.

Я вдруг почувствовала, что мы словно дети, решившие поиграть, пока родителей нет дома. Мальчики и девочки, затеявшие нечто опасное.

— О, — сказал Маркус. — Мы забыли самое главное.

Он прошел к двери, отстранив от нее нас с Лили, и я подумала, что не удивлюсь, если он вернется с пистолетом. Лиза сказала:

— Невероятно! Так красиво! Как... торжественно будет сделать это здесь.

А я подумала, что все настолько же нелепо, как, скажем, свадьба в ванной. Затем я сравнила себя с подружкой невесты в чужой пижаме и успокоилась на этом. Все было гротескно-комедийным, однако хрусталь и зеркала придавали некую пронзительную ноту, невыразимую грусть никому не нужного богатства, одиночество и ощущение ничтожности.

Рейнхард рассматривал себя в каждом зеркале, не спеша прохаживаясь мимо. В этот момент он показался мне очень настоящим. Насколько это слово вообще применимо к нему, я не знала, но ощущение накрыло меня с головой. Рейнхард, быть может, не был человеком, по крайней мере полностью, но в нем было нечто предельно реальное, осязаемое и личностное. Он сказал:

— Девушки, я слышал о подобных операциях. Однако же их технология мне неизвестна. Так что предоставляю вам полную творческую свободу.

Лиза запрыгала на месте:

— Пожалуйста! Пожалуйста! Препожалуйста!

Она запищала так громко, что мне захотелось зажать уши.

— А мы точно уверены в том, что хотим этого? — спросил Ханс. Рейнхард пожал плечами.

— Полагаю, что ко всему можно привыкнуть.

Маркус принес безымянные пузырьки.

— Что-то я не вижу здесь капельницы, — сказала Лили.

— И я не вижу, — ответил Маркус. — Но, по секрету, его можно пить. Только фармакокинетические показатели несколько упадут.

Ивонн покрутила в руке бокал, затем взяла из рук Маркуса один пузырек.

— Значит, шампанское отменяется.

Ивонн откупорила его и наполнила прозрачной жидкостью бокал. Она залпом выпила все, поморщилась и отбросила бокал в ванную. Он звякнул, возвещая о последнем моменте своего цельного бытия.

— Прощу прощения, Ханс, — сказала Ивонн. — Не справилась с чувствами.

— Все в порядке, не стоит извинений.

И если Ивонн издевалась, в тех пределах, в которых могла позволить себе это, то Ханс был вполне серьезен. Маркус поставил пузырьки на столик у раковины, и мы разобрали их. Я долго вертела свой, пытаюсь найти хоть какой-то опознавательный знак. Ничего. Лекарство-призрак.

— Что это? — спросила Лили.

— Если ты думаешь, — сказал Маркус. — Что нам так сразу и известно решительно все, ты ошибаешься.

А я подумала, что наконец-то почувствую вкус этого препарата и узнаю о нем хоть что-то. У него появятся объективные характеристики. Я аккуратно вскрыла пузырек и сделала глоток. На вкус его прозрачное содержимое оказалось соленым, как физраствор.

Я с удовольствием приняла этот ясный признак, отличающий источник моей силы. Пить его было самую малость противно, как морскую воду, но вполне переносимо. Когда я отставила пузырек, Лили только начинала пить. Она предприняла несколько попыток, ей явно было противнее.

Когда закончила и она, Рейнхард, Ханс и Маркус одновременно сняли фуражки. Движения их были настолько синхронными, что стало даже страшновато. В Нортланде никогда не заканчивается военный парад.

Лиза бродила от одного к другому с театральным восторгом куколки, которой играет маленькая девочка. Куколка и солдатики. Мы способны создавать только игрушки.

Мы не знали, что делать. Мы чувствовали себя чужими. Между Лизой и фратрией Рейнхарда что-то происходило. Оно не было видимым и не ощущалось правильно, потому что мы не существовали в той же форме, что и они.

— Так, — сказала Лили. — Я понятия не имею, что нужно делать!

Я кивнула. Никто не обратил на нас никакого внимания. Лиза продолжала ходить от одного к другому, и это уже напоминало какой-то танец. У всего было значение, ускользавшее от меня. А мне было неловко в этой красивой ванной для съемок дорогого порнофильма, среди этих существ, нуждающихся в том, что я не могу дать.

Наблюдать за ними было интересно. Словно я стояла перед клеткой в зоосаду, где жили те, кто имел со мной нечто общее, но совершенно не был мне понятен. Я с наслаждением наблюдала за движением Лизы и странной неподвижностью солдат. А потом Рейнхард поцеловал ее, и я вдруг почувствовала ревность, которая мгновенно стерла все границы между нами.

И я подумала, какой обман, представлять себя зоофилкой в зоосаду, а потом вдруг осознать, как злишься. И хотя поцелуй был целомудренный, адресованный скорее сестре, чем любовнице, я сцепила зубы, ощущая под языком горечь от злости.

Лиза коснулась пальцами его виска, затем лба, и оставила Рейнхарда, подошла к Маркусу. Его поцелуй был куда более страстным. И я подумала, а есть ли в этом всем кровосмесительный оттенок.

Кровь, которая еще не смешалась.

Ханс прежде, чем поцеловать Лизу в губы, прикоснулся к ее руке, выглядело очень трогательно, но Рейнхард, начавший это нежное, полуэротическое взаимодействие не шел у меня из головы. Никто из нас не знал, как правильно, было это все продиктовано желанием или интуицией?

Ивонн склонилась ко мне и прошептала:

— Заводит, неправда ли?

Ивонн обладала прекрасным свойством, которое куда чаще направляется людям добрым и заботливым, она легко считывала эмоции, но пользовалась этим самым отвратительным образом. Я толкнула ее в бок, но выругалась почему-то Лили. И я поняла, что странное ощущение отрешенности, вызванное препаратом, накрывает меня. Заболела голова. Я зашаталась, как пьяная, а затем осела на пол. Рядом легла Ивонн. Лили стояла, оперевшись на раковину, всем своим видом выказывая стойкость.

Рейнхард, Маркус, Ханс и Лиза продолжали свое странное, становившееся все более нежным действо. Меня поразила ошеломительный контраст с Домом Жестокости, слишком невероятный, чтобы в полной мере осознать его. Более того, Рейнхард никогда не был настолько ласков даже со мной.

Препарат, однако, не давал мне злиться в полную силу. Я чувствовала себя очень, очень пьяной, просто мертвецки. Так что даже сосредоточиться на одной точке казалось героическим предприятием.

И я подумала, а если ничего не получится, то все, чем мы обогатим наш жизненный опыт — сомнительная полуэротическая сцена?

Так что могу сделать я? Какова моя роль?

Контурные окончательно расплылись, и теперь мне казалось, что все происходит между гранями огромного бриллианта. Вдруг я неожиданно ясно увидела зеркало, в нем отражались Рейнхард и Лиза. Она целовала его в шею, а он любовался на свое отражение, взгляд у него был по-особенному темный.

Ответ пришел ко мне, как на школьном экзамене, быстро и беспощадно, но очень вовремя. Идентичность.

У них общая идентичность. Мы познаем себя впервые, смотря в зеркало, и чтобы смешать их, нужно смешать их отражения.

Я с трудом поднялась на ноги. Рейнхард тут же посмотрел на меня. Я увидела, что он расстегивает на Лизе платье, и широко улыбнулась. Я знала, что делать, и это наполнило меня превосходством, которое сильнее ревности. Я подошла к зеркалу, отделив Рейнхарда от его отражения. Посмотрела на себя, поправила волосы, а потом врезала кулаком в собственный зеркальный нос. Это было приятно перед тем, как стало больно.

Кровь и отражения. Коктейль. Смещение. Я действовала верно, я чувствовала это, и слабость словно ушла. Я снова занесла руку над зеркалом, но Рейнхард остановил ее. Прикосновение было бережное, но я отметила это с совершенным безразличием. Мне нужно было, чтобы здесь больше не было целых зеркал. Чтобы никто не остался целым.

Рейнхард разбил зеркало вместо меня. Осколки, гораздо более мелкие, посыпались на пол. Следом зеркало с визгом разбила Лили. На нее это, кажется, подействовало крайне благотворно. Она истерически, радостно засмеялась. Маленькие старосты тянутся к разрушению, как никто другой.

Затем все стало странным. Я била зеркала снова и снова, не совсем понимая, когда делаю это сама, а когда за меня их уничтожает Рейнхард.

Света становилось все меньше, а осколков все больше. Мне казалось, что они, как пелена дождя, скрывают меня ото всех других, и в то же время мы были близки, как никогда. Я слышала смех Лили, сосредоточенное дыхание Ивонн, слышала, как танцует в осколках Лиза и, кажется, видела ее силуэт.

Столько стекла, столько зеркал. Пусть ничего не останется. Когда кто-то из солдат запустил куском кафеля вверх, в зеркальный потолок, все действительно стало дождем.

Лили по-ведьмински страстно засмеялась, а я закружилась на месте, не обращая внимания на боль.

Никаких отражений. Здесь мы все. И здесь никого нет. Лампочки выбывали одна за одной, темнота сгущалась, но клочки света вспышками отражались в осколках зеркал, били в глаза, сменяли внутренние образы. Окровавленный Рейнхард, смеющаяся Лили, танцующая Лиза, спокойная Ивонн, Маркус, выпускающий из зажигалки пламя, отражающееся всюду, Ханс с его тоской по дому, который должен быть разрушен.

Все они, все мы. Когда Рейнхард поцеловал меня, я попыталась его оттолкнуть, потому что злилась и ревновала. А потом это перестало быть важным, потому что крошка Эрика Байер на некоторое время завязала со вредной привычкой быть.

Мы целовались, и я чувствовала на губах вкус крови. Я протянула руку и схватила кого-то за руку. Кажется, это оказалась Лили. Я не была в этом уверена, более того, у меня не было даже четкого понимания, что Лили существует. Близость наша тем не менее была реальной, как никогда. Рейнхард подхватил меня на руки, и я почувствовала себя выше, сильнее. Я запрокинула голову, не боясь, что осколки попадут мне в глаза.

Вспышки стали сильнее.

Лиза. Рейнхард. Маркус. Ханс.

Маркус целовал Лили. Не Лизу. Лиза танцевала, прыгая по осколкам с обаянием деревенской дурочки. Ханс с ожесточением крушил зеркала, потому что вместе с его тоской уходило и много боли.

Мне нужно было связать их, мне нужна была нить, проходящая сквозь них.

Вспышки стали все ярче, а точки зрения сменялись и сменялись. Я увидела себя саму в постели, я видела кенига, я видела людей в одинаковой форме, сидевших за длинным столом. Воспоминания, мысли, все мешалось, и я целовала Рейнхарда, потому что мне казалось, что я умру, сойду с ума, если только не буду отвлекаться.

Я поняла, что они видят по-разному. Рейнхард всюду ищет зеркала, Ханс смотрит чуть поверх людей, чтобы не смущать их взглядом в глаза, Маркусу часто кажется, что все пылает где-то вдали. А Лиза видит ярко, как будто кто-то подкрутил ей настройки контрастности. Потом я увидела Карла.

Усилим воли я остановила разум на нем. Карл? Он был словно кадр из фильма. Значит, разум принадлежит Лизе. Или это разум Отто? Я слушала его голос. Он казался мне каким-то удивительно чужим.

Прикосновения Рейнхарда не давали мне погрузиться в это (воспоминание? или все происходило сейчас?) слишком глубоко, иначе я утонула бы.

— Покажи пропуск, — говорил Отто. Голос его приобрел странную механистичность, как и движения Карла. Я узнала место, куда он пришел. Дом Жестокости. Во дворе были цветущие деревья. Без черных машин вокруг все выглядело таким безмятежным.

Карл показал пропуск охраннику. Это был человек, в нем не было ничего необычного. Солдаты появлялись здесь по ночам. Вряд ли у кого-то в Доме Жестокости достало бы сил сбежать.

— Стреляй ему в голову, — сказал Отто. Карл достал пистолет быстро и без единой эмоции на лице. Так не убивают. Так переключаются с места на место вещи, размышляя о чем-то совсем другом.

Он выстрелил охраннику в голову, и я увидела, как кровь и мозги украсили стену.

Все прервалось, остались белые вспышки, затем я познакомилась с самой собой —

бледной, болезненной. Я мотнула головой, мне не хотелось на это смотреть. Но я больше не могла сосредоточиться. Мне хотелось вычленить воспоминания Лизы (принадлежавшие на самом деле Отто, он показывал их ей, как фильм).

Я слышала его холодные приказы, совсем не вязавшиеся с Отто, которого я знала. Иногда в меня врвался гром выстрелов. Я видела кровь. Карл был ранен, его рука кровила. Он не чувствовал боли, потому что Отто запретил ему. Повествование было прерывистым, и выстрелы сменялись пустотой, блеском осколков передо мной.

Затем я увидела, как Карл вводит код на одной из дверей. Кирстен Кляйн была совершенно обнаженной, и Отто не приказал Карлу дать ей одеться. Карл взял ее за руку, упирающуюся, но молчаливую, и Отто сказал:

— Говори: Это я. Я здесь, чтобы помочь.

Он не называл своего имени, но Кирстен каким-то странным образом все поняла.

Чем дальше, тем сильнее мы все стягивали нить между Лизой, Рейнхардом, Маркусом и Хансом, и тем отрывистее становились воспоминания.

Снова выстрелы, украденная машина, сирена, лес.

Долгий-долгий путь.

И вместе с тем — сегодняшний день, прокручивающийся снова и снова. Мы приближались к настоящему. Звон стекла становился все явственнее. Все закончилось, когда связь стала слишком крепкой.

Последним, что я увидела, был окровавленный Карл. В груди у него была дыра, и дышал он со свистом. Кирстен Кляйн пыталась остановить ему кровь. Они были на шоссе.

— Скажи: у меня в кармане адрес. Ты должна поехать туда, — говорил Отто.

Кирстен Кляйн зашептала:

— Подожди, подожди, он умирает!

У нее оказался мелодичный, красивый голос. Он нужен, чтобы петь, а не кричать.

— Скажи: за нами гонятся. Нет времени. Ты должна попасть туда, где я.

Отто казался мне невероятным. Слово страшный, чуждый бог.

Отто сказал:

— Убей себя.

И прежде, чем Кирстен сумела среагировать, Карл выхватил пистолет и выстрелил себе в висок. Так же быстро, как тому охраннику. И я подумала, это ведь не актер, который играет роль Карла.

Это Карла больше нет.

С ним вместе все и закончилось. Я оказалась на руках у Рейнхарда, в темной комнате, полной осколков. Несмотря ни на что, я чувствовала себя счастливой.

Это было усталое удовлетворение от хорошо сделанной работы.

Глава 18. Материализованная идеология

Я чувствовала нечто новое, еще одну нить, протянувшуюся между ними.

— Лиза, — сказал Ханс. — Ты не могла бы уточнить у Отто, далеко ли они?

И я поняла, что Ханс впервые назвал Лизу на "ты". Другого подтверждения мне и не было нужно. Я с опаской посмотрела на осколки внизу, крепко вцепилась в Рейнхарда, но он, кажется, не собирался меня отпускать.

Лиза запрыгала, не обращая внимания на осколки, впивавшиеся ей в ноги. Нежная, маленькая. Русалочка, которая не чувствовала боли, и поэтому победила.

Голос, правда, оставался при ней.

— Братья! Братья! У меня есть братья! Это так здорово! Вы даже не представляете! Хотя нет, представляете, ведь вы теперь мои братья, и вы тоже это чувствуете!

Восторг, охвативший ее, как всегда казался немного наигранным, но сейчас в нем было нечто пронзительно-звонящее. Наверное, с такой же физиологической радостью я вдохнула бы воздух после того, как надолго задержала дыхание.

Ивонн осторожно переступила через осколки, сказала:

— Так, теперь можно и нужно выпить. Где бокалы, Ханс?

— Одну минуту, фройляйн Лихте, сейчас я все покажу.

Ивонн вышла, и все что от нее осталось — приплывшее в ванную облачко сигаретного дыма, которое отогнала от себя Лили. Она покраснелась и выглядела недовольной ситуацией в целом и собой в частности. Маркус с пародийной галантностью подал ей руку, но Лили мотнула головой, затем показала израненные костяшки пальцев.

— Сейчас я тоже все покажу, — сказал Маркус. И когда он приобнял Лили за плечи, я посмотрела на собственные руки. Они тоже кровоточили, но боль была словно бы далеко от меня. Лиза, перепрыгнув через особенно внушительный осколок, мгновенно оказалась рядом с Маркусом.

— Я помогу.

— Правда? Куда же я без тебя.

Что-то в них показалось мне странным. Я не сразу поняла, что именно. Маркус и Лиза все еще оставались невероятно разными. Насколько могут быть непохожи два человека, настолько были непохожи они: повадки, взгляды, слова, все различалось.

Но они шли в ногу.

Все поспешили покинуть блестящую, разбитую ванную. Мы с Рейнхардом остались одни, и когда Маркус и Лиза закрыли за собой дверь, снова стало темно. А я подумала: то, что мы совершили, было опытом, равного которому по своей яркости, возможно, ни у кого из нас не имелось.

И всякий спешил от него избавиться, засушить, словно листик в гербарий, потому что будучи свежими, эти впечатления застили собой все. В сущности, мы любим не столько переживать, сколько вспоминать. Окончательное, причесанное сознанием, событие заставляет нас трепетать, но его изначальная сила частенько бывает слишком велика.

Таково было мое убеждение, практически такое же сильное, как нежелание когда-либо вставать на пол.

Я все еще злилась на Рейнхарда. И я не могла об этом сказать, потому что у меня не

было никаких прав на него, и потому что все это было так глупо по сравнению с тем, что он для меня сделал.

Но он же, по сути, и втянул меня во все беды моих нынешних времен. Я снова принялась раскручивать цепочку, которую можно было вести до сотворения мира. Все это было совершенно неважно.

Я злилась, и он чувствовал это. Мне не хотелось, чтобы он целовал других женщин, даже если в этом не было романтического подтекста. Все это вообще не касалось измены. Я просто не хотела чужих прикосновений на нем, мне было почти противно.

И я вспомнила обо всех тех женщинах, которых он мучает в Доме Жестокости. Я испытала вину, я испытала злость, я взяла свои чувства и хорошенько встряхнула их.

— Ревнуешь меня? — спросил он с удовольствием. — Тебе понравилось?

— Мне все равно, — ответила я, и слова эти дались мне с неожиданной легкостью. Я улыбнулась, широко, так чтобы он увидел это в темноте.

— Мои руки кровоточат, — сказала я, прижав ладони к его щекам. Он втянул носом воздух, что-то варварское, хищное, скользнуло в нем на секунду, такое различимое в темноте. — Тебе это нравится?

— Ты не боишься, — сказал он в следующую секунду очень спокойно, с такой механической точностью, словно назвал цифру, получившуюся в уравнении. — Твоя кровь почти безвкусна.

Затем он резко прижал меня к стене, так что воздух куда-то делся из моих легких. Одной рукой Рейнхард все еще поддерживал меня, другая сомкнулась на моей шее. Я испугалась не его, но его силы, способности сделать со мной что угодно в секунду, прежде, чем я успею что-либо понять.

Рейнхард убрал руку с моей шеи, нежно перехватил меня за запястье и коснулся его губами.

— Вот теперь она сладкая. Знаешь, как мы запоминаем запахи? Кровь. Даже если я не проливал твоей крови, я чувствую ее ток. Пока ты не боишься, у нее прозрачный запах и вкус. Но как только ты испугаешься, все это становится похоже на... засахаренные цветы, фиалки.

— Тебе нравится?

Он слизнул каплю крови, быстро, пока из нее не ушло то, что насыщало его.

— Я предпочитаю нечто более основательное.

Рейнхард поцеловал меня, и я ответила ему. Я так соскучилась по Рейнхарду, словно и во мне жил этот странного рода голод до человеческих существ. На этот раз никто из нас не был нежным, не казался любящим. Рейнхард рванул на мне рубашку, так что пуговицы присоединились к другим частям уничтоженного имущества Ханса на полу. Он припал губами к моей груди, а я судорожно искала пальцами застежку на его брюках. Мне нравилось предвкушение, но в то же время оно было почти болезненным, прикосновения Рейнхарда к груди вызывали внутри болезненную пульсацию.

Ровно в тот момент, когда я сжала в руке его член, дверь распахнулась.

— О, — сказала Лили. Она тут же пропала из поля зрения, остался только квадрат света, слепящий и пробуждающий к жизни блеск осколков вокруг.

— Отто пришел, — выпалила Лили. В ее голосе было куда больше раздражения, чем стыда. Я запахнула рубашку.

— Отнеси меня в комнату, — сказала я. — Мне нужно переодеться.

— Мы скоро будем, — крикнул Рейнхард, но Лили уже не ответила. Я бы на ее месте тоже не задержалась здесь надолго. Я не сомневалась, что Маркус прекрасно знал, что происходит, и отправил ее сюда специально.

— Отнеси меня в комнату, пожалуйста, — сказала я, а потом нежно поцеловала его в лоб. Но вместо того, чтобы отпустить меня, Рейнхард быстро проник в меня пальцами. Я была так возбуждена, а кроме того настолько не ожидала этого, что ему хватило нескольких точных движений, чтобы довести меня до разрядки. Я жалобно застонала, и он с удовольствием поцеловал меня.

— Настоящий мужчина не оставит женщину в беде.

Больше он не говорил ничего, казалось, теперь он куда больше озабочен прибытием Отто, чем моим присутствием. Он оставил меня в комнате, где я, в маленькой уборной, ничуть не напоминаясь разгромленную нами ванную, отмыла руки от крови и обработала их антисептиком, нашедшим свой приют в одном из ящиков вместе с другими лекарствами. Их было много, большинство даже остались нераспакованными. И я подумала, что, вероятно, все их принес Рейнхард и для меня. Затем я быстро приняла душ и без труда нашла свое чисто выстиранное платье.

Пришло время встретиться с реальностью лицом к лицу. Мне не хотелось видеть Отто. Не потому, что я была привязана к Карлу или сожалела о его гибели. Нет, я казалась самой себе на редкость бесчувственной, но я испытывала скорее злорадство.

Однако я прежде не думала об Отто в таких категориях. Он был могущественным. Он был убийцей. Я больше не могла испытать нежной привязанности к его нелепым, неудобным повадкам. Отто был кем-то важным, может быть, даже решающим.

А я знала о том, как легко он убивал чужими руками. Я поделила с ним этот страшный опыт.

Спустившись вниз, я застала Отто сидящим за длинным столом. Он вытянул руки и уткнулся лицом в скатерть. Казалось, он умер или находится в глубоком отчаянии, которое практически является смертью. И я подумала, надо же, Отто все еще остается комичным. После всего, что я видела.

Фокус невидимой камеры, снимающей мою жизнь, сопровождал, однако, не его. Маркус и Кирстен стояли друг напротив друга. Она у двери, он у стола. Между ними было расстояние около метра, и казалось, что оно сейчас запыляет. Маркус больше не игрался с зажигалкой.

На Кирстен была шинель Карла. Ее ступни были грязные, на них налипли листья, казалось, она только что вышла из леса. Маркус был безупречно аккуратен и чист, даже разрушения, которые мы учинили в ванной, будто не оставили на нем никакого следа. Кирстен пришла сюда из другого мира, в окровавленной шинели, босая. Маркус смотрел на нее, словно на призрака. Мне захотелось раствориться в пространстве, разъяться на атомы, чтобы не участвовать в неловкой, полной боли сцене.

Из-за него Кирстен попала в Дом Жестокости. Он предал ее. И Маркус чувствовал по этому поводу больше, чем ему хотелось. Кирстен Кляйн была младше его, и когда-то она ему доверяла. Я вспомнила все, что о ней говорил Маркус.

Они были друзьями.

Теперь она смотрела на него, словно дикий зверек. Кирстен Кляйн, сделавшая для нашей свободы больше, чем кто-либо за последние тридцать лет, задумчиво почесала ссадину на коленке. А я поняла, что восхищаюсь ей. Пусть даже ее усилия были тщетны, но

она показала больше, чем сделала.

Маркус смотрел на нее, затем опустил взгляд. Он показался мне вдруг чуточку более человеческим. Такими нас делает вина, неразбавленное эфирное масло, квинтэссенция способности сочувствовать.

Кирстен Кляйн снова посмотрела на него, а затем сделала пару шагов вперед. Она оставляла за собой грязные следы. Вместо того, чтобы пройти мимо, она вдруг обняла Маркуса.

— Что... что ты делаешь?

Кирстен Кляйн ничего не ответила. Маркус стоял, опустив руки. Сейчас он казался мне сломанной игрушкой. Он низко склонил голову, и я подумала, что он плачет, а потом вспомнила, что этого Маркус больше не умеет.

Кирстен крепко обняла его, в этом не было ничего от связи между мужчиной и женщиной. Кирстен, в шинели на голое тело, казалась на редкость асексуальной. Более того, я подумала, что сейчас она выглядит младше своих лет. Что-то внутри меня пронзительно звякнуло, и мне показалось, что заплачу я.

— Что они сделали с тобой? — вдруг спросила Кирстен. Маркус молчал. У него не было выбора, и она не винила его. Впервые я подумала о том, что дружба может быть сильнее всего на свете. Она не простила его, нет. Но она понимала, что он никогда не поступил бы с ней так, если бы только хоть кто-то из нас мог выбирать здесь, в Нортланде.

Рейнхард вздохнул, качнулся на стуле, затем положил ноги на стол, чем привлек исключительно неодобрительное внимание Ханса.

— Это все очень трогательно, — сказал Рейнхард. — Однако, нам нужно обсудить кое-что с Отто.

Кирстен Кляйн взглянула на него, и я увидела, что она ненавидит Рейнхарда. Он тоже никогда не выбирал. Он не был плохим человеком. Он был чудесным, светлым и никогда не делал никому зла.

Но он не был ее другом.

Кирстен отстранилась, прошла к столу и села рядом с Отто. Маркус так и остался стоять, словно бы у него кончился завод. Лиза смотрела на него нахмурившись, а потом вдруг широко улыбнулась.

Отто встrepенулся, резко подскочил, словно проснулся, когда посреди скучной пары вдруг объявили контрольную работу. Он посмотрел на Лизу, и она развела руками.

Рейнхард широко улыбнулся:

— Отто, дорогой, благодарим тебя за то, что ты спас это юное создание. В первую очередь, ты действовал себе во благо.

Отто пробормотал что-то неясное, затем кивнул.

— Так ты это понимал? — улыбнулся Рейнхард.

— Да. Еще бы.

— Что ж, не благодари в ответ. Хотя Ханс в таком случае расстроится. Отто, дорогой, мы организуем тебе трансфер в самое безопасное место на свете. Только пожелай!

Лиза нахмурилась. Я села на ступеньки, обняла свои колени. Уже второй раз за день реальность погрузилась в это особенное, театральное состояние. Все они стали актерами: Маркус, стоявший у стола с опущенной головой, словно персонаж, от которого увели свет софитов, превратив его в декорацию, Отто с его вычурной нелепостью, расслабленный, ленивый и прекрасный Рейнхард, Кирстен Кляйн, болтающая ногами, сидя на стуле, и Лиза,

так похожая на главную героиню.

Она сказала:

— Отто, мы можем поехать. Это ничего.

Лиза по-детски скривила губы, но за этой умильной гримасой стоял настоящий, взрослый проигрыш. Лиза связала себя с ними, чтобы узнать, что они замышляют. Зачем им Кирстен Кляйн, чего они на самом деле хотят — немногие вопросы, на которые Отто не мог найти ответа. Но, в конечном итоге, кажется, они хотели привязать к себе Лизу.

Что-то вроде самоисполняющегося пророчества или хитрой ловушки с приманкой. Не то мышеловка, не то отсылка к "Песни о Нибелунгах". Мне захотелось поаплодировать.

Я понимала, что Лиза говорит не совсем правду. Глаза выдавали ее. Общность, которую она чувствовала, была частью ее природы. Это ничего страшного в той же степени, что и, к примеру, ампутация.

— Мы оказали вам услугу, герр Брандт, — продолжил Ханс.

— Я о ней не просил.

— Вам и Лизе, — добавил он, в голосе его прозвучала не теплота, но нечто, что могло бы при определенных условиях стать ей.

— Лизе?

Рейнхард широко улыбнулся.

— Разумеется. Мы живем в мире товаров. Здесь все — услуга. Даже контейнирование эмоций Лизы с помощью ощущения объективной ценности ее жизни для существ, подобных ей — услуга. Производство и поддержание ее счастья — услуга.

Отто сказал:

— И что теперь? Я заперт здесь, с вами?

— Нет. Мы тебя не обманывали.

В этом и заключалась основная ирония. Чтобы узнать, в чем они обманывают Отто, Лиза привязала себя к ним. И теперь безопасная изначально сделка превратилась в безвыходную.

— Мы предоставим вам все условия для отъезда, — сказал Ханс. — Вам и фройляйн Кляйн. И Лизе, конечно.

— Если только ты хочешь разлучить ее с теми, кто вправду ее понимает.

Рейнхард поднял палец вверх, затем сказал:

— Что-то такое припоминаю. Если любишь, отпусти. Да?

Отто нахмурился.

— Хорошо. Но вы ведь не этого хотите. Хотите, чтобы я сидел здесь.

— А что? — спросил Рейнхард. — Плохое место? Я бы и сам тут жил.

Отто молчал. Он выглядел очень воинственно. Кирстен положила руку ему на плечо, но он словно бы не заметил ее прикосновения.

— Нормальное, — сказал он. — Но ведь...

Лиза улыбнулась.

— Отто, у них есть, что нам предложить. Вправду есть.

Отто снова уткнулся носом в скатерть, поднял руку, словно был очень пьян, но просил принести ему еще выпивки.

— Вперед, — сказал он. — Мне уже все равно.

Рейнхард закурил, неторопливо затянулся и скинул пепел в один из бокалов на столе.

— Мы предлагаем тебе и Лизе нигде больше не прятаться. Вы останетесь жить в

Хильдесхайме, Лиза будет близка к нам, но ее жизнь будет в ее руках. Ты сможешь не тратить свой невероятный талант на то, чтобы прожить жизнь неудачника, скрывающегося от общества.

Отто спросил что-то, но я не смогла разобрать его слова. Рейнхарду это, впрочем, как всегда не было нужно, он продолжал вещать, словно радио.

— Для этого нужно всего лишь несколько пошатнуть социальное равновесие. Совершить исторический поворот. Я бы назвал это расширением границ гегемонии.

— Рейнхард, ты не мог бы перейти к сути?

— Да, Ханс, сейчас. Так вот, Отто, дорогой мой, практически родственник, ты должен помочь нам вывести на чистую воду еще одного феерического представителя органической интеллигенции. В отличие от тебя, у него меньше силы в ее парапсихологическом понимании, однако больше в государственном. И уж теперь-то, Лиза, милая, прошу подтвердить мои слова, мы всеми силами постараемся обеспечить тебе простую, человеческую свободу.

— Хотя, конечно, мы бы хотели, чтобы ты применял свои способности для воздействия на кенига.

Слова эти были произнесены, и я вздрогнула.

— Речь идет о Себастьяне Зауэре, как ты уже, должно быть, догадался. Нам нужно, Отто, чтобы ты заставил его признаться в том, что он контролирует кенига.

— Разве вы не можете просто убить его?

— Кениг привязан к нему. И нам нужна его санкция. Все должно происходить как можно более официально. Эрика, милая, ты будешь свидетельницей?

— Нет, — сказала я, но Рейнхард не обратил на мои слова никакого внимания.

— Мы не говорим о заговоре, пушек больше не будет.

Рейнхард выставил вперед палец, свистнул.

— Будет так: мы поговорим с кенигом, и ты заставишь Себби Зауэра признаться в том, что он делает. Ты очистишь разум кенига и дашь ему взглянуть на Себби.

Отто приподнял голову, посмотрел на Рейнхарда.

— То есть, я не должен подставлять Себби Зауэра? Не должен внушать кенигу, что Себби его контролирует.

— Заверяем вас, все совсем наоборот, — сказал Ханс. — От вас требуется только рассказать ему правду. Не убеждайте его ни в чем, пусть на его разум ничто не влияет. Колесо истории требует правды для продолжения движения куда чаще, чем лжи. Так вот, об этом колесе, мы его повернем.

Звучало как что-то, в чем я по-прежнему не хотела участвовать.

Глава 19. Всюду и нигде

Но у меня, безусловно, было время на то, чтобы смириться с очередным поворотом моего колеса судьбы, контроль за ходом которого я в последнее время совершенно потеряла.

Всю эту неделю я провела в постели.

Мне не хотелось думать ни о чем, проводить в голове полноценную ревизию мыслей казалось слишком энергозатратным. В конце концов, это означало впустить в свою голову осознание того, что именно делает Рейнхард и его фратрия.

Они хотят поменять баланс сил в Нортланде, они хотят убрать со сцены Себби Зауэра, а это значит, что они хотят перекроить Нортланд.

Я никогда не хотела изменять Нортланд, я даже не думала об этом. Более того, я ненавидела его до онемения сильно. Я не представляла, что с ним можно сделать хоть что-нибудь, он был константой, как биение сердца или цвет неба.

Так что за всю неделю, вплоть до последнего вечера перед встречей с кенигом, я разгадала одну единственную бытийную загадку — парфюм Рейнхарда.

Всякий раз, когда Рейнхард являлся в дом Ханса, где я скрывалась, мы оказывались в постели. Когда Рейнхарда не было, я всегда находила, чем заняться (хотя следует заметить, что чаще всего мы с Отто жаловались друг другу на беспокойную жизнь), однако как только Рейнхард приходил, я забывала о том, что в мире есть занятия альтернативные сексу.

Его запах почти стал моим собственным, и когда Рейнхард оставлял меня, я ловила его на своих запястьях, на волосах, на пальцах. Мне нравилось решать бессмысленные загадки.

В аромате его парфюма, несмотря на его явную дороговизну и близость к искусству, имелась одна неприятнейшая нота — железная, сходная с кровью, жестко обрывавшаяся симфонию из пряностей во всей ее возвышенной красоте. В этом аромате было все: самовлюбленная роскошь, преклонение перед богатством, ненасытная сексуальность. Великолепная, горячая амбра и горьковатый сандал, капля ванильной сладости и бергамотовая строгость, столько прекрасных аккордов.

Но все это прерывалось железной, земной до предела, кровавой нотой. Искусство приравнивалось к нулю, оказываясь на поверку жестокостью. Богатство становилось способом приносить смерть.

Это был прекрасный парфюм, почти страшный. И я наслаждалась им, как частенько приходила в восторг от самых чудовищных вещей.

В тот вечер, после того, как мы занялись любовью, я припала губами к его шее и долго целовала его, вдыхая аромат. А потом, неожиданно для себя, спросила:

— Ты уже убивал людей?

Он кивнул.

— И как это?

Рейнхард потянулся к тумбочке, не глядя нашарил портсигар. Лицо его совершенно не изменилось. И я подумала, что будь он человеком, то отреагировал бы как-то на этот вопрос.

Пусть на лице его отразилось бы не отвращение, но удовлетворение — он не остался бы таким равнодушным.

— Помнишь ты говорила мне, — начал он. — Что специально давила муравьев, из какого-то страшного чувства жестокости, как ты его описывала. И сначала тебе всегда было

очень больно, а потом, с каждым разом, чуть менее?

Я кивнула.

— Думаю, для человека, убивающего других людей, все происходит так же. Может быть, чуть более драматично.

Я подумала, что он прав. По крайней мере, что-то тревожащее настоящее в этой мысли было.

— Но для людей, не вдающихся в столь мучительные подробности своей мысленной жизни, раздавить муравья ничего не стоит, так? Они забывают об этом через пару минут.

Я снова кивнула. И Рейнхард сказал:

— Для меня это скорее так.

И он поцеловал меня, словно это была всего лишь одна из множества тем, на которые мы говорили в постели между занятиями любовью. Я отстранилась и посмотрела на него:

— Сколько людей вы убиваете? Вы, солдаты, сколько людей вы ежедневно убиваете?

— Ежедневно? Ты нас переоцениваешь.

Он коснулся пальцем моего носа, чуть надавил, словно я была игрушкой, у которой имелась кнопка. Но это не было правдой. Игрушкой был Рейнхард.

— Ты боишься, — сказал он. — Что люди пострадают от нашей маленькой аферы?

— Я боюсь, что вы получите слишком много власти.

— Да-да, и мы будем куда более чудовищными, чем Себби, так? Потому что мы не совсем люди. Мне нравится твой настрой.

Палец Рейнхарда скользнул к моим губам.

— На мой взгляд, к примеру, Маркус человечнее человека, потому что после встречи с фройляйн Кляйн, ему хочется найти в себе нечто, способное чувствовать в привычном вам понимании этого слова. Ханс, в принципе, не жесток от природы. Ему, как и всем нам, нужно питание. Но процесс его получения личностный, завязанный на диссоциацию жертвы с собственным телом. Он не имеет отношения к большому террору.

— Ты пытаешься успокоить меня?

— Не совсем. Что касается меня, у меня нет образца, к которому я мог бы стремиться. Я никогда не обладал этическими категориями, которые были у Маркуса или Ханса.

— Ты считаешь, что для них возможен откат?

Я и не заметила, как мы свернули со скользкой политической темы к более или менее нейтральной, личной.

Рейнхард пожал плечами.

— Помнишь, мы что-то говорили о колонизированном сознании, Эрика? Так вот, размышляя об этом за обедом, я вдруг пришел к выводу, что деколонизация — это миф о золотом веке, в ней нет ничего реального. Все следствия, все последствия.

— То есть, нам всем придется жить с грузом набранного опыта, никакого обнуления травмы не случится, и все попытки вернуть нечто исконное — саботаж реальности.

— Да. Я, в этом плане, нахожусь в гораздо более выгодной позиции. Я готов двигаться прямо, не пытаюсь свернуть, при условии, что путь назад невозможен, возможно только бесконечное кружение вокруг с целью найти тропинку, которая ведет к изначальному.

— Мы говорили о Себби Зауэре, а не о тебе. О том, что вы хотите сделать с ним.

— Прости, не могу говорить не о себе больше пяти минут подряд. А что тебя, собственно, волнует? Ты не спрашивала об этом всю неделю. Мы хотим защитить кенига, наше призвание, грубо говоря, в том и состоит. Если у нас и появится какая-то власть, то это

не цель, а следствие. Некоторое прибавочное бытие. Побочный продукт.

Я нахмурилась. Мне нравилось то, что он говорит. Это было в должной степени туманно и успокаивающе.

— И каков ваш план?

— Завтра кениг будет на показе мод. Народа будет много, не протолкнуться. Мы сделаем все при свидетелях. Это публичная акция. Никаких закрытых дверей и темных кабинетов. Все максимально безопасно. Бойни не будет, и вы можете не бояться. Я даже выторговал для вас официальные приглашения. К слову!

Он быстро встал, прошел к своему кожаному плащу и запустил руку в карман. Я увидела, что Рейнхард извлек оттуда золотистый конверт. Он вручил его мне, и я некоторое время смотрела на конверт с сомнением и благоговением, затем, наоборот, быстро и неаккуратно его открыла. В нем был всего один ламинированный прямоугольник с золотым шрифтом. Никакого адреса, видимо, его полагалось знать, раз уж получившему оказана подобная честь. Приглашение блестело в свете лампы. На нем было написано всего два слова: летний зной.

Они вызвали в моей голове поток образов — от феерически ярких до измученно тоскливых. Рейнхард сказал:

— Такого ты еще не видела. Да и я, если честно, не видел. С радостью посмотрю.

Он казался невероятно спокойным. И я подумала, неужели Рейнхард ничуть не волнуется? А потом вспомнила, что он устроен совсем по-другому. Волнение — крайне непродуктивная эмоция.

И все же один раз он испытал его. Когда Себби отравил меня. С точки зрения каузальной природы мира, его последовательной, находящейся в вечном развитии структуры, деколонизация сознания, безусловно, невозможна.

Но была другая парадигма, иррациональная, теплая, человеческая. И в ней возможно все.

В ту ночь я была по-особенному нежна с Рейнхардом, и хотя я так и не сказала ему, как люблю его, чувство мое было велико, как никогда.

А потом мне снился летний зной, какая-то затаенная тревожность в жужжании пчел, и в то же время прекрасное солнце, и прохладное журчание реки, касавшееся слуха, и какой-то бесконечный луг.

Я проснулась после полудня, и практически в эту безусловно радостную минуту ко мне в комнату ворвалась не менее радостная Лиза. На ней было короткое, но пышное платье. Она еще больше напоминала принцессу, чем обычно. Ее волосы были уложены в высокую прическу, в которой, как насекомые, крылись многочисленные заколки со спинками, украшенными блестящими камушками.

Лиза то и дело разглаживала кружева, озабоченная видом каждой складочки на платье. Ей по-детски хотелось быть идеальной, и отчасти я ее понимала.

— Доброе утро, Эрика!

Я засунула голову под подушку, произнесла нечто даже мне самой неясное.

— Собирайся, скоро Ханс заберет нас. Рейнхард оставил тебе платье! Потому что все должны выглядеть невероятно красиво!

Я снова посмотрела на Лизу. Она поставила пакет рядом с моей кроватью и улыбнулась мне.

— Ты очень красиво выглядишь, — сказала я.

— Ты тоже будешь очень красиво выглядеть. Ханс говорит, чтобы я оставила тебя и не мешала тебе приводить себя в порядок.

Да, подумала я, Ханс правильно говорит. Лиза оказалась у двери так быстро, что ее движение полностью смазлось. У порога она остановилась, повернулась ко мне и вдруг выдула большой, розовый пузырь из жвачки.

— Ты думаешь, я дурочка?

— Не думаю, — сказала я. Но Лиза только засмеялась.

— Ты когда-нибудь голодала долго? Не голодала, я знаю. И не надо! Никогда, пожалуйста, не голодай. Но дело в том, что в какой-то момент все это становится очень приятным. Такая непомерная легкость, словно тебя почти нет, такая радость и всемогущество, потому что ты можешь контролировать себя, а значит как будто весь мир. Самодисциплина так сносит крышу!

Лиза скрылась прежде, чем я что-либо ответила. И я подумала: Лизе важно, что я думаю о ней. Она человечнее, чем Рейнхард с его фратрией.

Ах да, она ведь теперь состояла в ней, делая бессмысленным само это слово.

В пакете оказалось неопишуемой красоты бархатное платье, черное, строгое и длинное, с белым кружевным воротником и жемчужными пуговицами. Рейнхард ни на миллиметр не отступил от того, что я люблю. Это платье было абсолютно моим, словно я его выбирала.

Однако, в отличии от всей моей одежды, оно было по-настоящему дорогим. Честно говоря, я была уверена, что если продать весь мой гардероб, купить такое платье не получится. Пуговицы были сделаны из настоящего жемчуга. В целом это платье, являясь абсолютным подражанием моему вкусу, выглядело совсем не так, как другие вещи, которые я носила. В качестве было стремление к идеалу, к бесконечности.

Пока я была в душе, пока одевалась, пока сосредоточенно красила губы, я все думала о том, что сказала Лиза, и о том, как она отличается от Рейнхарда, Маркуса и Ханса.

Мужское и женское становятся сверхмужским и сверхженским. Мужчина, способный утолить голод (во всяком смысле этого слова: от финансового до сексуального) в любой момент, и женщина, сдерживающая голод и получающая удовлетворение от некрофилической практики превращения себя во что-то неживое. Мужчина, позволяющий себе быть жестоким, и женщина, запрещающая себе это.

Они все были словно цветные картинки, яркие иллюстрации того, что обычно одето в серый.

Я долго смотрела на себя в зеркало, но не нашла ни единого недостатка. В этом платье я была красива, и я нравилась себе. С тумбочки я взяла приглашение, сжала в руке так, что уголки его впились в ладонь.

А через полчаса мы уже ехали в лимузине. На Лили было платье, о котором она, наверняка, мечтала, когда надвигался ее школьный выпускной. Сиропно-розовое, из легчайшей ткани, оно делало ее похожей на цветок. Ивонн с удовлетворением рассматривала себя, вспоминая, быть может, времена, когда она выступала на сцене. Платье у нее было длинное, но такое обтягивающее, что вполне могло считаться неуместным.

И даже на Отто был дорогой костюм. Я подумала, неужели Рейнхард и его не забыл? А может быть Отто обеспечил Ханс с его хитрыми законами гостеприимства?

Я обернулась, когда мы ехали по заросшей подъездной аллее. Кирстен Кляйн стояла на пороге. Она не махала нам, словно мы были добрыми друзьями. Просто смотрела.

А я подумала, не погибли ли Роми и Вальтер от голода в моей квартире? Наверное, нет.

Роми, в конце концов, прекрасно воровала.

Меня охватило сладчайшее предвкушение чего-то невероятного. Приглашение в моей руке интриговало меня. Я никогда, даже по телевизору, не видела настоящего модного показа. Это было зрелище редкое и мало мне интересное.

Но теперь, столкнувшись с этим событием так близко, я не могла его дождаться. Мне хотелось увидеть то, на что любит смотреть кениг. Приобщиться к его избранности.

Мы ехали долго, но это желание не тускнело. К тому моменту, как мы припарковались, наконец, у здания, которое я еще раньше безошибочно определила, как пункт назначения, меня трясло от нетерпения.

Это была одна из тех новых построек, неизменно удивлявших меня соотношением стекла и металла. Она словно состояла из окон. В отличие от небоскребов в центре Хильдесхайма, это здание было длинным, а не высоким, и все стекла здесь были тонированные. Больше всего постройка напоминала опрокинутый флакон из-под каких-нибудь духов.

Ханс открыл перед нами дверь, и мы вышли из машины. Лили сказала:

— Не думала, что когда-нибудь здесь окажусь.

Ивонн только пожала плечами, демонстрируя показное безразличие к местам, ей прежде недоступным. Была в ней особенная гордость низших классов, так восхищавшая меня. Лиза обняла Отто и поцеловала его в щеку.

— О, — сказал Отто. — Здание. Здорово-то как.

И я была бы рада солидаризироваться с Отто, однако меня вправду восхитило это место, его темный блеск.

— Пойдемте, — сказала Лиза. — Маркус и Рейнхард ждут нас внутри.

Лили сказала:

— Знаете, думаю ради этого стоило попасть в ужасную историю.

Я кивнула. Было нечто волшебное в пропуске, открывающем самые потаенные уголки Нортланда, и мы получили его, благодаря свалившимся на нас бедам.

— Надеюсь, тогда вы скажете мне «спасибо», — сказал Отто.

На входе наши приглашения не только посмотрели, но и забрали. Я расценила это, как акт бессмысленного варварства. Когда мы вошли внутрь, я глазам своим не поверила. Картинки в журнале призывали меня представлять модный показ, как нечто линейное — строго огороженная территория сцены, места для зрителей. Помещение, в котором мы оказались, больше всего напоминало лабиринт, и весь он был усеян живыми цветами. Их запах кружил голову самым волшебным образом.

Я видела людей, которые собирали растоптанные цветы с пола и заменяли их новыми. Ирисы, камелии, маки, мои драгоценные фиалки — сколько их погибло ради этой быстротечной красоты. Стены, потолок, пол, все было в цветах. Наверное, стоило указать это в приглашении, подумала я. А что если бы у меня была аллергия? Интересно, отсюда уже увезли кого-нибудь с отеком Квинке?

О стенах думать было гораздо приятнее. К слову, я не была уверена в том, имеют ли они твердую основу. Возможно, все это было сооружено из цветов, наподобие зеленого лабиринта. По крайней мере, с потолком большинство этих стен не смыкалось и направления имело самые причудливые. Было много столиков, за которыми люди курили и пили вино, разговаривали, словно бы атмосфера вокруг них не была странной. На потолок из цветов проецировались изображения солнца, луны и звезд, смешивавшие сутки, как

компоненты коктейля. По своему маршруту, словно призраки, ходили модели. Одинаково высокие, тощие девушки с отрешенными лицами. Они были лишены улыбок, и глаза их казались незрячими. Я подумала, что они на полпути от женщин к манекенам. На самом деле объяснение было не столь некрофилическим.

Они представляли одежду, а не себя. И как же она была прекрасна. Ткани на девушках, находившихся среди цветов, сами напоминали цветы. Такие яркие, невероятно нежные или наоборот, сооруженные в странные, вычурные линии. Эта одежда отличалась от всего, что я видела прежде и даже от того, что было сегодня на мне самой.

Она была искусством, но не просто картиной, заключенной в самой себе. Продолжением тела. Силуэты играли с линиями, присущими телу, иногда искажая их, иногда подтверждая, но всякий раз вступая с ними в странный резонанс. И в то же время, несмотря на эту странную, интимную особенность, они несли в себе образы. В основном, они были связаны с летом — морские волны, чайки, леденцы и лимонады. Столь разноплановые и столь близкие ассоциации. Летний зной.

Я почувствовала, что вдобавок к цветам прекрасно пахнет кремом для загара, песком и холодной водой. Все это было практически эротизированным удовольствием для всех органов чувств. Музыка плыла сквозь слух, где-то вдалеке шумел цифровой океан, обоняние и зрение услаждали образы прекрасного лета, гастрономические амбиции, судя по столикам, тоже были удовлетворены, кроме того любой желающий мог прикоснуться к моделям. Здесь не было бесчинств, свойственных Дому Жестокости. Наоборот, люди были так захвачены, загипнотизированы происходящим, что едва касались ткани, благоговейно и нежно, словно эта одежда была живым существом.

Мне отчего-то захотелось плакать. Лиза и Ханс вели нас, петляя вокруг столиков, а я думала только о том, чтобы скорее остановиться и принимать происходящее всем своим существом.

Рейнхард и Маркус сидели за столиком вместе с красивой девушкой, одетой поистине безупречно. На ней был классический мужской костюм, скроенный так хорошо, что ее право обладать им не оспорило бы ни одно эстетическое чувство. Волосы девушки были распущены, а галстук завязан, и этот контраст имел какой-то прекрасный, сексуальный смысл.

Кожа, волосы и глаза ее несли в себе золотистые искорки, в них тонуло представление о классической красоте, считавшейся драгоценностью. Лицо ее казалось холодным, но вместе с тем обаятельным. Она наблюдала за происходящим, раскуривая сигарету.

Рейнхард и Маркус встали при нашем приближении.

— О, мы не ожидали, что вы явитесь вовремя, — сказал Рейнхард. — Решили скоротать время за приятной беседой.

— Скоротать? И только-то? — спросила девушка. У нее был приятный голос, легко влившийся в музыку. Она вся имела некоторую гипнотическую природу, показавшуюся мне родной этому месту.

— Ни в коем случае, — сказал Маркус. — Рейнхард выразился таким образом исключительно от недостатка такта.

— И Рейнхард приносит свои извинения! Дорогие друзья, это Клаудия Келер. Затаите дыхание, потому что вы лицезреете автора этого грандиозного шоу. От крохотного шовчика до подбора музыки, это все она.

Клаудия улыбнулась. Мне показалось, что она смутилась. Это тут же сделало ее

человечнее. Я заметила, что она посмотрела на всех нас, но взгляд ее обошел Отто и Лизу, как пустое пространство.

Значит Отто, как его и просили, не привлекал внимания раньше времени.

— Что ж, — сказал Рейнхард. — Прекрасная Клаудия, нам следует откланяться. Дела-дела-дела.

Клаудия сдержанно улыбнулась, а я вдруг не выдержала и сказала:

— Вы прекрасны. То, что вы делаете — волшебство!

Я не ожидала, что эти слова вырвутся из меня помимо воли, мне вдруг стало неловко, но что самое интересное, Клаудия, чьему искусству сегодня отдавал дань сам кениг, кажется, смутилась сильнее меня. Я не глядя прошла вперед, едва не столкнувшись с одной из моделей в платье цвета океана, подол которого укладывался волнами и двигался, словно прилив, облизывающий берег.

Рейнхард развернул меня.

— Не сюда, Эрика.

Я посмотрела на него. Он выглядел таким экзальтированным, Маркус же наоборот казался очень задумчивым.

— Странно, — вдруг сказал он. — Что мы не разучились отличать красивое от уродливого.

Это и вправду было странно, но вселяло надежду того теплого толка, что пришла ко мне после разговора с Рейнхардом.

— И что, в таком составе мы и пойдем к кенигу? — спросила Ивонн. Она говорила спокойно, но на самом деле нервничала, как и мы все. Ханс сказал:

— Полагаю, чем больше свидетелей будет у нашего разговора, тем лучше.

Кениг сидел за одним из столиков, положив ноги на белоснежную скатерть. Щуплый, всевластный человечек. Его одежда снова удивила меня — чуждый крой, слишком яркие цвета.

Кениг пил шнапс, подливая туда какой-то синий, яркий сироп. Себби сидел рядом с ним. Я думала, что теперь, когда Себби отравил меня, когда я знала, что он стоит за всем, что происходит в Нортланде, он испугает меня больше. Но фигура кенига, тонкокостная, ничего не значившая, по-прежнему казалась мне скрывающей чудовищную силу, питающей государственную машину. Я отвела глаза, когда кениг сказал:

— О, добро пожаловать. Великолепное шоу в этом году, не правда ли? Богиня превзошла саму себя. Рейнхард, неужели ты привел моих маленьких пленниц? А где же Кирстен Кляйн?

— Не могу знать, мой кениг, — ответил Рейнхард.

— Маркус? Ханс?

Они оба покачали головами.

— Интересно, — сказал кениг, задумался на минуту, а потом вдруг вскочил на ноги.

— Как я соскучился по этим прелестным дамам! — он кивнул на Лили. Кениг взял недостающие стулья у столика каких-то, явно польщенных такой честью, солдат. Он усадил за один из них Лили, приподнял ее волосы, словно чтобы осмотреть застежку ее жемчужного ожерелья. Мы тоже сели. Лиза и Отто остались стоять, никто не предложил Лизе стул. Никто ее не видел.

— Так вот, — сказал кениг. — Не хочется портить этот приятный вечер. Рад, что вы нашли беглянок. Вы, должно быть, продвинулись и в поисках герра Брандта?

— Более чем, — ответил Маркус. Он закурил, надолго засмотрелся на пламя зажигалки.

— А что здесь делает фройляйн Байер? Я думал, ее свобода оговорена.

Мне снова стало неловко, я каждой косточкой почувствовала взгляд Ивонн, хотя теперь, я была уверена, она смущала меня ради развлечения.

— Симметрия, — сказал Рейнхард. — Мы подумали, что вам понравится, если они все явятся сюда, чтобы свидетельствовать перед вами об одном деле.

— Дела! Опять дела!

Кениг проводил взглядом одну из моделей, а затем сделал глоток шнапса. Себби не казался мне напряженным. Он не видел Отто. Это значило, что Отто куда могущественнее него. Может быть, Себби уже обвинил Рейнхарда и его фратрию в похищении Кирстен Кляйн. Может быть, он думал, что выиграл.

Я испытала удовольствие, представив, как ему пустят пулю в голову. Я вспомнила, как прекрасно дернулся Карл, выстрелив в себя. Красота в один момент покинувшей тело жизни. Так же было и с Хельгой.

Я закрыла глаза, слушая искусственный океан.

— Фройляйн Байер!

— Да, мой кениг?

— Вы боитесь?

Я открыла глаза. Его лицо было так близко от меня, что я чувствовала его дыхание.

— Безумно, мой кениг.

— Августин, я же говорил называть меня так. Почему же? Разве я плохой правитель?

Он смеялся над нами. Что мы могли ответить?

— Я не могу представить себе правителя лучше вас, — ответила я. Это не было ложью. Я вправду не могла и помыслить о ком-то другом на его месте. Я услышала, как засмеялся Себби. Кениг отстранился, и я почувствовала заметное облегчение. Океан снова обрел свою целительную силу. От запаха цветов закружилась голова.

— Но разве мы не стали жить лучше, фройляйн Бреннер?

— Вправду, Нортланд богат, как никогда, — ответила Лили.

— Фройляйн Лихте, а как считаете вы?

— Я считаю, что вы мудро распоряжаетесь нашей великой страной.

И я снова подумала: мы ведь чувствуем себя совершенно одинаково. Три женщины с такими разными судьбами, но страх один на всех.

Мы явно забавляли кенига. Он покачнулся на стуле и вдруг весело сказал:

— Я сделал для вас то же самое, что Дэн Сяопин для коммунистического Китая.

И я вдруг спросила, сама не понимая, откуда во мне столько наглости:

— Что такое Китай?

Но кениг только засмеялся.

— Такая страна из сказки, — сказал он, наконец. Но я не знала этой сказки. Кениг обернулся к Маркусу.

— Так вот, дорогой, о чем вы здесь хотели потолковать?

И я подумала, что фратрия Рейнхарда для кенига взаимозаменяема, он словно разговаривал с одним человеком. Это для меня фратрия принадлежала Рейнхарду, ведь я ближе всего к нему. Но кениг не считал их отдельными личностями.

— Вы, наверняка, хотели поговорить о Кирстен Кляйн, — сказал Рейнхард.

— Ты угадал. Но если у вас есть другие темы, то я готов внимать!

— О, — сказал Маркус. — То, о чем хотели рассказать мы, затрагивает и Кирстен Кляйн. Правда в самой малой степени. Когда вы арестовали меня, вы сразу решили сделать из меня солдата?

— Конечно, нет, Маркус. Более того, я имел против этого некоторое предубеждение.

Я посмотрела на Себби. Он со скучающим видом водил пальцем по стулу. И я поняла, отчего он так молчалив рядом с кенигом.

— Почему же?

— Сложно сказать. Мне не хотелось, думаю, впускать в самую интимную из структур Нортланда столь инородный элемент. Начальник управления проектом "Зигфрид", впрочем, был слишком заинтересован в увеличении количества людей, подвергнутых лоботомии, в проекте. Все риски еще не выявлены, все соки не выжаты. Представляешь, какие дороги это откроет нам, если ты и Ханс, и другие, докажете нам эффективность сотворения солдат из людей, прежде наделенных полноценной психической жизнью?

— Да, — сказал Маркус. — Безусловно, мой кениг. Дело в том, что Себби очень не хотел видеть меня в проекте "Зигфрид", потому что, когда Себби смотрел, как меня пытаются, он имел неосторожность сказать лишнее.

Я посмотрела на Себби. Он улыбнулся мне, и кениг не переспросил.

— Так вот о Кирстен Кляйн, — продолжил он, словно бы Маркус ничего не говорил. Я посмотрела на Отто. Он тяжело вздохнул, а затем поймал взгляд кенига, и больше кениг не отворачивался. Он вдруг зябко передернул плечами.

— Лишнего?

— Он сказал, что управляет всем в Нортланде.

— Он явно преувеличивает.

Кениг положил руку Себби на плечо, но Себби нервно стряхнул ее.

— Я тоже так подумал. И, видимо, Себби решил, что так полагал бы любой. Поэтому я все же оказался в проекте «Зигфрид». Поэтому я еще жив. Однако, после истории с герром Брандтом, мы пришли к выводу, что Себби, может быть, не так уж сильно преувеличивал.

Кениг одним махом опустошил стакан со шнапсом. Рейнхард подозвал одного из официантов, заказал еще бутылку, а кроме того — шампанское.

Продолжал Ханс.

— Так вот, мой кениг. Выяснив кое-что о прошлом герра Брандта, мы предположили, что Себби обладает набором тех же уникальных качеств.

А я подумала, как забавно, что они называют его именно Себби. Не герр Зауэр, не Себастьян. Детское прозвище капризного мальчишки.

Кениг вдруг прижал пальцы к вискам.

— Здесь шумно! Я едва слышу, что ты говоришь.

Рейнхард улыбнулся Отто. Он сказал:

— Сейчас все прояснится. Дайте себе минуту, мой кениг.

И действительно, под взглядом Отто глаза кенига стали чуть менее затуманенными. Казалось, он даже протрезвел. Когда официант принес две бутылки, Рейнхард налил кенигу ледяной шнапс, затем откупорил шампанское.

— Наши девицы, — сказал Рейнхард. — Расскажут, что именно умеет герр Брандт. И, если вам будет угодно, примеряйте это на Себби.

Ивонн и Лили стали говорить. Взгляд Отто бегал от одной к другой. Казалось, этот взгляд один проявлял их.

— Герр Брандт, без сомнения, опаснейший человек, — сказал кениг, выслушав абсолютно честную историю о побеге, о Лизе, обо всем, что умел Отто. — Его скорейшим образом нужно устранить.

Отто вздрогнул, но взгляд его остался неподвижным.

— Да-да, разумеется. Но что насчет Себби?

Себби вдруг вскочил из-за стола, выкрикнул:

— Ты понимаешь, Рейнхард, в чем ты хочешь меня обвинить?! Я ближайший соратник нашего кенига, и если ты надеешься, что...

— Я ни на что не надеюсь, Себби, — Рейнхард поставил шампанское на стол так, что оно расплескалось, золотые искорки сверкнули и погасли. — И ничего не боюсь. Все мы временны и смертны, Себби, дорогой.

В ответ он зашипел:

— Если ты не хочешь, чтобы твоё время кончилось слишком быстро...

Но что именно Рейнхард должен был сделать в таком случае, мы так и не узнали. Отто подошел к Себби, заглянул в его прекрасное лицо, и Себби вдруг сказал:

— Да! Да! Тысячу раз да! Или вы думали, что он сам додумался бы до того, что делать там, наверху!

Наверху? Я подумала, что ослышалась.

— Вы думаете, он бы справился там? Он бы справился хоть с чем-то? Достойный своих предков правитель! Я сделал из него что-то. Даже не кого-то!

Музыка стихла, солдаты и люди вокруг смотрели на нас. Даже модели остановились и были теперь похожи на статуи.

— Я заставил его дать Нортланду богатство! Что могла экспортировать эта нищая, отсталая страна, с середины сороковых пребывающая в неведении! Нищие люди, нищие города! Нортланд может экспортировать только покорность!

Казалось, Себби никогда не остановится. Это бы не слова Отто. Отто ничего ему не внушал. Он просто заставлял Себби говорить правду.

— Он взял меня, чтобы я был милым личиком с обложки. Но я оказался куда умнее, куда дальновиднее! Я сделал то, чего никогда не смог бы сделать ваш чокнувшийся вместе со всеми поколениями своего гнилого семейства, кениг. Да, я изменял его мысли! Но если бы я этого не делал, где были бы, по-вашему, вы? Были бы вы вообще?

Он говорил о великой патриотической акции, о небоскребах, о телевидении. И о смертях, сотнях, тысячах смертей. Я видела, что Себби боится. Он говорил против своей воли, и, в то же время, я была уверена, что он мечтал однажды сказать все это вслух.

Слишком уж Себби любил себя и свою нескромную роль в мироздании.

Только вот она подошла к концу. Мне казалось, я слышу шорох занавеса, готового опуститься. Кениг был очень спокоен, словно бы все эти слова проходили мимо него. Но это было не спокойствие неведения. Он слушал. Теперь в нем было то, чего я не замечала до этого. Самообладание. Казалось, что настоящий кениг куда менее взбалмошный, чем тот, которого представлял Себби. Отто казался бледным, он дрожал все сильнее. Наконец, Себби замолчал. Через пару секунд он выдохнул:

— Мой кениг.

Только кениг не обратил на него никакого внимания. Он отставил шнапс, сосредоточенно поискал что-то в кармане и вытащил оттуда пулю. Кениг положил ее на стол. Одну единственную, такую беспомощную без пистолета, куда ее можно было

поместить. В этот момент Рейнхард выхватил револьвер и выстрелил Себби в голову. Он дернулся, затем повалился назад, и это было все. Не осталось никакого Себби, и эта долгая интрига мгновенно показалась мне такой бессмысленной.

Так быстро.

Я слишком сильно ощутила запах крови, меня затошнило. Даже бесчисленные цветы не могли его заглушить.

Отто осел на пол вместе с Себби. Кениг посмотрел на него.

— Так это он заставил Себби говорить?

И я подумала, что явление Отто могло бы кого-нибудь удивить, если бы кениг только что не отдал приказ убить фактически свою ипостась.

Наверное, Отто слишком устал, чтобы удерживать внимание людей вокруг. Он слишком устал даже, чтобы испугаться. Рейнхард и Маркус переглянулись, Ханс сделал шаг к Отто. Кениг встал со стула, переступил через тело Себби с какой-то вычурной брезгливостью и подошел к Отто.

— И почему я должен верить, что ты не заставил его солгать? Почему я не должен судить твоих новых друзей и тебя за кражу Кирстен Кляйн?

Лили прошептала:

— Он не заставлял, он ничего не внушал!

Но ее слова услышала только я. О, этот слабый протест, вот бы мне быть способной хотя бы на него. Я была в силах только смотреть, но даже взгляд мой непременно соскальзывал с кенига на Себби.

С кенига на тем, кто фактически был кенигом. Вот теперь я могла назвать его просто Августином.

— Так почему? — спросил кениг. Отто зажмурился, и тут Лиза легко подняла его с пола, она крепко обнимала Отто, и я увидела — Лиза готова драться. Со своими братьями, со всеми солдатами здесь, сколько хватит сил и безо всякой надежды на победу. Наверное, это почувствовал и Отто.

— Почему? — повторил кениг в третий раз.

— Потому что я верен Нортланду. Потому что я хотел вам помочь, — прошептал Отто одними губами. Кениг вдруг расплылся в широкой улыбке и крепко обнял его.

Так я поняла, что Отто занял место Себби. Убивший дракона, сам стал драконом при сотне свидетелей. И никто больше не мог ему ничего противопоставить.

Рейнхард вытянул ногу, пнул тело Себби и крикнул:

— Что ж! Отпразднуем смерть врага нашего народа!

И тогда я поняла, что с меня хватит. Я думала, что выбегу из зала, как девочка-подросток в дурацком фильме. Но я встала, вежливо сказала:

— Прошу прощения, мне стало дурно.

И только тогда побежала. Никто меня не остановил. У всех были занятия поинтереснее, присутствие при смене мировой парадигмы, к примеру. Я выбежала из здания и щедро набрала в грудь свежего, ночного воздуха. Но и в нем мне чудился теперь запах крови.

Я вдруг, непонятно отчего, заплакала. Все ведь было хорошо, Отто справился. Но я заревела, словно какая-то раненная, отчаявшаяся от боли корова. Я плакала среди дорогих черных машин с тонированными окнами, окруживших меня, словно хищники, прибывшие на запах крови.

Не от меня, подумала я, он идет не от меня. Ответ пришел сразу же: этот запах исходит

ото всех нас.

Я почувствовала прикосновение Рейнхарда, он обхватил меня сзади, прижал к себе.

— Успокойся, — сказал он. — Что случилось? Теперь все изменится, Эрика. Все станет лучше. Все будет очень, очень хорошо. Нортланд изменится.

Но мне не стало легче от его слов. Еще неделю назад я бы почувствовала радость. Сейчас ее не было. Я вывернулась из его рук, закричала:

— Мы не могли выиграть! Мы не могли победить ни в какой войне! Потому что все это — зло! Это великое зло, во всем этом нет ничего человеческого! Здесь нет ничего, кроме зла! А зло никогда не победит, Рейнхард! Ты можешь быть сильнее, быстрее, умнее, но зло никогда не победит!

Я раскинула руки, словно пыталась обхватить весь Нортланд.

Рейнхард сказал спокойно и тихо:

— Мы и не побеждали. Мы проиграли. Самым позорным в истории образом.

— Что такое, мать его, Китай?! Что значит "наверху"? Куда мы экспортируем покорность?

Я выкрикивала каждое слово, они вырывались из меня с болью, и все же это были слова. Это был голос. У меня все-таки был голос.

Рейнхард сказал:

— Посмотри наверх.

И я запрокинула голову, со злостью посмотрела в небо.

— Там над нами целый мир. Он огромен и очень разнообразен. И это пока не Нортланд.

— Пока? — спросила я очень тихо. А потом закричала снова:

— Какого черта?! Эта проклятая земля полая?! Или все это искусственное?! Если в небо бросить камень, оно заискрит?!

Я ничему не удивлялась. Пусть бы все оказалось, как в брошюрках, которыми снабжали Роми ее друзья-шизофреники. Мы не могли победить. Мы никогда не побеждали.

Слава Богу, что мы никогда не побеждали.

Рейнхард обнял меня, и я зарыдала, уткнувшись носом в его кожаный плащ.

Глава 20. Пусть едят тексты

Я стояла перед темной, тяжелой дверью его кабинета, и все вдруг стало казаться мне таким чужим. Уже два месяца я ходила в канцелярию свободно и без страха. Практически стерся из памяти мой первый визит сюда, полный ужаса, пахнувший смертью.

Здесь почти не осталось закрытых для меня дверей.

Теперь, когда Отто управлял кенигом, Рейнхард и его фратрия стали ключевым узлом в сложной сети коммуникативной власти Нортланда. И я вправду могла не бояться. Впервые за свою жизнь я не думала о том, что могу оказаться в Доме Милосердия или в могиле.

Будущее мое было чистым, как небо после дождя, свежим, посветлевшим. Ощущение подобное тому, которое испытываешь, когда отступает долгая болезнь. А ты уже и не знал, как это — дышать без боли, или как ясна может быть голова без чада головокружения.

Рейнхард не солгал. Нортланд и вправду менялся.

Они объявили нам, что расскажут правду о мире, в котором мы живем. Кениг лично выступил перед народом, так давно не видевшим его. Он говорил о том, что Нортланд был частью программы расширения жизненного пространства, которая стала единственным успешным проектом его предка.

Из нации победителей, мы стали сбежавшими, спрятавшимися под землей крысами. Но какое это было облегчение.

Как хорошо было знать, что победило все-таки добро, хотя бы в том его смысле, который может существовать в реальности. Добро, в конечном итоге, возможно лишь как отрицание зла.

Как хорошо было знать, что наверху существует мир, живущий совсем по другим законам.

Кениг сказал, что над нами надежные льды Антарктиды, что мы можем ничего не бояться, потому как защищены и спрятаны. Но важным было не это.

За снежными полями, которых я и представить себе не могла, высоко-высоко наверху есть другие люди, и, может быть, да нет, совершенно точно, у них все по-другому.

И хотя мы все еще не знали, как устроен Нортланд, и какими путями мы можем из него выбраться, я верила в то, что однажды окажусь в каком-то совсем ином месте. Быть может, кто-нибудь еще говорит на нашем языке.

Рейнхард никогда не говорил мне о мире снаружи. Желание знать, отвечал он, превышает наличную возможность жить с этим знанием.

Рейнхард теперь был одним из главных функционеров обновленного, честного Нортланда. И все причастные к нему сохранили жизни и свободу. Отто исполнял свою молчаливую роль рядом с кенигом, Лиза осталась с ним и со своей фратрией. Я жила с Роми и Вальтером, но теперь далеко от проекта "Зигфрид".

Я, Лили и Ивонн общались куда больше, чем прежде. И хотя мы ничего не решали в обновленном Нортланде, мы создали тех, кто решает. В этом была наша заслуга и наша вина, а кроме того — определяющая нас ответственность.

Мы были пародией на них. Они заседали в кабинетах, и слова их становились высказываниями. Мы сидели на кухне и жадно крошили эти слова, пытаюсь выяснить, что идет не так.

Нортланд стал честнее. Информация из архивов попала в газеты, преступление Кирстен Кляйн связали с деятельностью Себби, теперь утверждалось, что он управлял ей. И хотя это не было правдой, Кирстен Кляйн могла жить дальше. Я не знала, предпримет ли она что-то снова.

Я бы не предприняла. Мне казалось, что человека хватает чаще всего на один единственный значимый поступок. Рейнхард говорил, что Кирстен общается с Маркусом. Ему это явно не нравилось. Лиза же наоборот отзывалась о Кирстен с теплом. Она утверждала, что Маркус становится чуть больше похож на нее.

А это то, о чем мечтает любой человек, говорила Лиза. Еще она думала, что Отто может сделать Маркуса более цельным, но, как в сказках, само его стремление отчасти придавало ему того, что Маркус искал. Лили говорила, что Маркус не хочет войны.

А война, так говорил Рейнхард, была совершенно необходима новому Нортланду. Я знала, почему. У меня был ответ столь очевидный, что Рейнхарду даже не нужно было объяснять. Каннибалистическая суть Нортланда требовала войны или крови собственного народа. Война могла спасти нас от собственных солдат.

С определенной точки зрения не стоило даже заботиться об этом. Пусть Нортланд пожирает нечто другое, пусть, наконец, перестанет вгрызаться сам в себя. Я по-всякому крутила эту мысль, пока она не стала просто безделушкой.

Война была чем-то большим, страшным, она пахла кровью, и с этим ничего нельзя было сделать, всякая мысль оказалась бессильна. Рейнхард и Ханс подстегивали всю эту военную машину, и ее уже было не остановить. Даже Отто не мог бы этого сделать, потому что он не умел влиять на солдат, которые окружали кенига.

Однажды мы с Ивонн встречали рассвет на балконе. Мы сидели на плетеных стульях, вытянув ноги, и смотрели на то, как восходит солнце. А я думала: это большая лампа или ядро земли? И что вообще происходит?

Солнце показалось мне таким красивым. Первые его лучи тонули в бокале вина, который держала Ивонн. Она покачивала им, смотря на маленькие волны.

— Ты знаешь, что война будет из-за нас? — спросила Ивонн. А я подумала, что ее благородство всегда застаёт меня врасплох. Мы курили, и сигаретный дым проникал в комнату, где спала Лили.

— Знаю, — ответила я. — И все время об этом думаю. Представляешь, сколько людей умрут?

— Да. У нас невероятно выносливые солдаты, и мы практически недосыгаемых для атак. У них, наверное, какие-то технологии. Это будет не быстро.

— Ты думаешь, что лучше было, когда всем заправлял Себби?

Ивонн пожала плечами.

— Для нас хуже. Но ты никогда не задумывалась, почему он сменил символику? Он хотел порвать с прошлым.

— Теперь прошлое наступит, — сказала я задумчиво, смотря на золотистое вино в бокале Ивонн. — Как будущее.

Ивонн вдруг схватила меня за запястье, так что стало больно.

— И мы должны сделать с этим что-то. Пока не стало слишком поздно. Ты сможешь жить с этим? То, что ты сотворила, сотворило войну.

— Не то, — сказала я. — Кто.

— Так ты сможешь с этим жить?

Я не смогла бы. Поэтому я была здесь. Сегодня должен был совершиться (словно бы сам по себе, да?) мой единственный значимый поступок. Я не волновалась, все было серым, бесчувственным. Я должна была быть такой, чтобы суметь сделать все правильно.

Когда Рейнхард открыл мне дверь, я улыбнулась ему вместо того, чтобы поцеловать. Я чувствовала себя такой слабой. Но у меня был всего один шанс.

Я переступила порог его кабинета. Над дверью больше не было дагаза, это место пустовало. Они возвращали старую символику. Скоро здесь всюду будут знаки войны, а затем они, словно инфекция, разойдутся по стране, заразят нас всех.

Не нужно было этого допускать. Нельзя.

— У тебя тоскливый вид.

Он закрыл за мной дверь и словно весь мир захлопнул. Я подумала, нет ведь еще никакой войны. Покачнулась, прикрыла глаза и прислонилась к стене. От пульсирующей боли в голове было тяжело смотреть на что-либо.

— Я беременна.

Он смотрел на меня, а я смотрела на него. Некоторое время эти взгляды ничего не значили. Затем он улыбнулся.

— Это чудесно.

Я говорила ему правду. И это была не последняя, далеко не последняя причина, по которой то, что я собиралась сделать, представлялось необходимым. Приводить в мир новое существо, зная, что его ждет посткатастрофическая реальность, неправильно. И это не любовь.

Рейнхард опустился передо мной на колени, прижался щекой к моему животу.

— Ты рад? — спросила я. Он кивнул.

— Это нарциссическое, — сказал он. — Что может быть более сладким для эго, чем его символическое продолжение, проникновение из Я в не-Я?

— Место в истории, — ответила я. — Так?

Он поцеловал меня в живот. Я снова закрыла глаза. Все это очень хорошо мне представлялось: он, я, наш ребенок. Жизнь без запретов, свободное творчество, привилегированное положение. Любовь. Это было возможно. Это уже принципиальное существовало.

Я запустила пальцы ему в волосы, погладила. Я подумала: а будет у нас сын или дочь? А какие у этого человека будут глаза? Чьи черты?

— Останови войну, — сказала я. — Ты ведь рад? Ты хочешь, чтобы у нас с тобой была жизнь здесь?

— Здесь жизни не будет, — сказал он. И его физическая нежность удивительно контрастировала с его голосом. Он широко улыбнулся:

— Но будет там.

Я смотрела на него, гладила его волосы.

— Рейнхард, — сказала я. — Ничего уже не будет. Нигде. Останови войну.

Я повторила эти два слова с нажимом. Я могла сказать их еще тысячу раз, если бы только они имели для него смысл.

— Мы победим. Эрика, их этические и идеологические системы не подразумевают того, что есть у нас. Они не способны создать солдат, которые будут воевать до конца, что бы ни случилось. А мы способны. Это, собственно говоря, главный урок поражения, которое мы потерпели.

— Отчего-то мне кажется, что урок был другой.

Боль в голове отступила. Я запрокинула голову, посмотрела в потолок. Он медленно кружился передо мной. Такая красивая люстра. Вот бы вынести ее на солнце, и там смотреть, смотреть, смотреть. О, кстати, как теперь называть солнце?

— Мы вырастили народ, — продолжал Рейнхард. — Подходящий только для войны. Они абсолютно искусственные. Мы выкормили их текстами. И это все, что им нужно. Понимаешь? Они готовы на любые лишения, лишь бы выбраться отсюда. Они будут поддерживать войну, будут клепать нам оружие, словно это дело их жизни. А мы построим для них... нечто грандиозное. Я построю для тебя то, что ты сможешь полюбить.

Я дернула его за воротник плаща.

— Встань! — сказала я. — Сейчас же встань и послушай!

Он осторожно встал, его близость вдруг показалась мне угрожающей, когда он поднимался, мы на секунду соприкоснулись губами.

— У каждого из них будет имя! Там множество живых людей, как и здесь. Матерей, отцов, дочерей, сыновей, сестер, братьев, друзей! Там много тех, кто как ты и я, близки и хотят жить дальше. Ты уже составил на этот счет необходимые циркуляры? Там фигурируют цифры? Сколько в них нулей?

Последняя цифра всегда ноль, говорил Вальтер.

— Это все будут живые люди! За всеми этими бумагами, которые вы посылаете из министерства в министерство, стоят страшные вещи. Придет время, и эти цифры станут мертвецами. Ты превратишь чернила на бумаге в море крови. Рейнхард, подумай об этом.

— Почему я должен об этом думать? Война — это существование. Война — это пища государства. Меня не волнуют люди. Я не человек. Ты, должно быть, об этом забыла.

— Не забыла. Я говорю не о тебе. Я говорю о себе. Я не хочу, чтобы ты совершал это. Забудь о том, что люди будут умирать. Забудь о том, что мы все хотим жить. Забудь о том, что ты будешь корезить человеческие судьбы с той и с другой стороны планеты. Черт бы с ними, со всеми этими людьми, правда? Но единственный человек, который был тебе когда-либо небезразличен — это я. И я умоляю тебя, потому что об этих людях буду думать я. Потому что я в этом виновата. Потому что я создала тебя.

Он сделал шаг назад.

— Я убивал людей. Для тебя это было чем-то вроде афродизиака.

Я густо покраснела. Мне показалось, что земля уходит у меня из-под ног. Даже мысли о войне, грядущей, грязной, кровавой войне вызывали у меня желание. Но человек — это не только то, что приносит ему удовольствие.

Это и то, что приносит горе.

— У тебя не было выбора. А сейчас он впервые есть. Ты — субъект, Рейнхард. У тебя есть голос. И любое твоё высказывание станет перформативом. Ты сделаешь его реальностью, Рейнхард.

— Хорошо, ты тоже знаешь, как меня завести.

И я ударила его по щеке. Как в первый раз, когда мы оказались в постели.

— Прошу тебя, Рейнхард. Ты не понимаешь, как это важно!

Он не понимал. Рейнхард засмеялся.

— Я делаю только самое необходимое. Я создан, чтобы поступать во благо этого государства. Мы столько раз говорили об этом.

— Больше не будем, — пообещала я. Он коснулся рукой моей щеки, неторопливо

погладил. Я поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы.

— Я знаю, что ты не хочешь этого, — сказал он. — Но я делаю это и для тебя тоже. И для нашего ребенка. Для Нортланда. Я был создан тобой, чтобы делать то, что нужно Нортланду. А Нортланд это и ты тоже. Я думаю о тебе, когда думаю о Нортланде.

— Политически верное решение.

— Почему ты плачешь?

Я утерла слезы.

— От любви, — сказала я. — Рейнхард, я так люблю тебя.

Я впервые говорила о любви, и это оказалось легко-легко. Правильно. Словно никаких других слов никогда и говорить не стоило. Я поцеловала его снова.

— Я люблю тебя, как никого и никогда больше не люблю.

Он ответил мне, обнял, прижал к себе.

— Я тоже, — сказал он. — И я не имею в виду, что в этой же невозможной степени люблю самого себя. Спасибо тебе за все, Эрика.

Он говорил так, словно знал, что я сделаю. Но Рейнхард не знал, иначе он остановил бы меня.

Ивонн сказала, что с Хансом она разберется сама. Что это ее работа. Моя работа была здесь. Голова так кружилась. Ивонн выкрала несколько пузырьков с препаратом, но шанс у нас был всего один.

— Я люблю тебя, — повторила я. — Посмотри на меня, Рейнхард, любимый.

Я могла это сделать. Если я могла разорвать его разум, я могла и соединить его. Это было бы даже правильнее. Он посмотрел на меня, и я поймала его взгляд, как насекомое в банку. Он был мой. Я нырнула в его разум так быстро, что даже не почувствовала прилив горя. Мы попрощались. Он сказал мне самые последние слова. Почему все оказалось так удивительно просто? Я не ждала ответа, но он пришел. Рейнхард доверял мне. Я вспомнила, как однажды он говорил, что я никогда не причиню ему вреда по своей воле. Теперь он был беззащитен передо мной, как и всякий любящий мужчина перед женщиной, которой он так доверяет. Сама возможность обмануть его, предоставленная мне, роднила Рейнхарда с людьми.

Все внутри него было аккуратно и прибрано. Теперь это была комната, которую заполняли стеллажи с книгами. Как ты изменился, мой милый.

Красивые, совершенно одинаковые кожаные переплеты, надписи, тесненные на корешках. На каждой полке — название темы и множество книг по ней.

Власть. Война. Государство. Исторический нарратив. Массы. Система. Удовольствие.

Тексты, тексты, тексты. Что можно дать людям, когда они отчаялись? Пусть едят тексты. Весь мир — скопление представлений, бесконечный, как покрытое звездами небо, контекст.

Я увидела и полку с надписью "Эрика". Я взяла оттуда первую попавшуюся книгу и открыла случайную страницу. Там была большая, выцветшая фотография, словно дело происходило давным-давно. Мы вместе сидели на полу, и я сосредоточенно выдавливала клубничный соус на три кружочка пломбира, чтобы они его заинтересовали. Я улыбалась. Наверное, я что-то ему рассказывала. Он катал свою дурацкую машинку, о которой теперь позабыл, наверное.

Я утерла слезы. Это был ненастоящий мир, и слезы были ненастоящие. Реальной была только любовь.

Я листала книгу, одну из многих, и видела десятки нас. Мы гуляли, я читала ему, ухаживала за ним, когда он болел. Я вправду была для него кем-то, кого было за что любить. Я посмотрела на себя его глазами, и я впервые понравилась себе.

Я была доброй, я была заботливой. Пусть только с ним одним, но я была человеком в этом нечеловеческом государстве. Под каждой из фотографий были надписи:

"Никто не свободен, пока все не свободны. Понимаешь, Рейнхард? Это какая-то известная цитата".

"Мне кажется, что между любовью и политикой может не быть разницы. Я думаю, что это принципиально возможно. К этому нужно стремиться".

"Не знаю насчет рецепта спасения, но у меня есть рецепт отличного шницеля. Хочешь приготовить?".

"Мне за тебя страшно. Никто не спросил тебя, чего ты хочешь. Никто не помог. Но я буду рядом, сколько смогу".

"Свободомыслящие всегда противопоставляют себя нормативной культуре. Вот как мы, когда игнорируем праздники и сидим дома."

Мои слезы падали на хорошо пропечатанные буквы, они, однако, не расплывались. Этот текст не уничтожил бы и смертный огонь.

Я закрыла книгу и нежно поцеловала ее. Ах, крошка Эрика Байер, и твоя любовь тоже имеет нарциссическую природу. Вы с ним похожи.

Я достала еще одну книгу с противоположной полки под названием "Власть". В ней не было никаких картинок. Цифры, в том числе и подсчеты тех, кто будет убит. Пункты плана.

"1. Вербализация культуры."

Пусть едят тексты, снова подумала я.

"2. Прощай, пространство."

Довольно загадочный пункт. Его мысли, неужели я проникла в них настолько глубоко, что они перестали быть мне понятными, как и всякий текст, разбросанный на его элементарные части.

"3. Овеществление и репродукция. Производство тел."

В этой точке рождение и смерть сходились очень тесно. В конце концов, тела производит и женщина, и смерть. Я положила эту книгу к той, с моим именем, что уже лежала на полу.

А затем я начала вытаскивать их все. Я разрушала то, что сама построила. Я больше не читала. Социальные проекты, формуляры, законы, знания, тайные желания, и я сама. Все нужно было слить воедино, до полной неразличимости.

Я должна была вернуть его к тому человеку, каким он был когда-то. Я должна была нарушить его желание говорить, действовать, управлять.

У меня не было иллюзий о том, что я делаю нечто ему во благо.

Но не было иллюзий и о том, что Рейнхард делает нечто во благо мира.

Я навела беспорядок остервенело, скидывая книги с полки в большую кучу на полу. Никаких текстов, больше никаких текстов.

Никаких слов.

Ты хочешь вербализовать культуру, мой дорогой, потому что ты так долго не мог говорить?

Когда на полке не осталось ни одной книги, я села на пол и зарыдала. А потом оказалось, что я сижу на дурацком, дорогом красном ковре в его кабинете. Рейнхард стоял

надо мной, и я подумала, что ничего не получилось. Он, в своей устрашающей униформе, казался ровно таким же властным, как и когда я пришла сюда.

— Рейнхард, — позвала я. Он не откликнулся, прошел к окну. А я подумала: это все может стоить жизни мне и моему нерожденному ребенку.

— Посмотри на меня, — попросила я. Он не оглянулся. Когда я подошла к нему, то увидела его взгляд. Туманный, лишенный слов. Никакой вербализации культуры. Он чуть склонил голову набок, словно мой взгляд был прикосновением, которым он был недоволен.

Войны не будет. Маркус и Отто справятся с этим, если только у Ивонн все получилось с Хансом.

Снаружи были люди. Они устанавливали старый, нагруженный войной символ на постамент перед канцелярией. Это значило: никогда не забывай благодарить за то, что тебе позволено жить.

Это значило: скоро мы все сгорим, но даже у апокалипсиса есть экономика.

Это много чего значило, но такого больше не будет.

Я села на пол и засмеялась громко, как никогда прежде. Я смеялась и плакала, потому что было ужасно забавным то, как они пытаются возродить прошлое. Все равно что вынести к ужину труп дедушки, одев его в свежий, надушенный фрак.

Все было просто уморительно.

Рейнхард словно бы не слышал меня.

Больше книг на сайте - Knigolub.net